

Петровский Ю. М.

История экономики  
русской истории  
средневековой Европы

СОУНЬ ИМ. В. Г. БЕЛИНСКОГО  
<http://book.ugraic.ru/>

20 АЕК 2001 с 317

02.0

24 НОЯ 2003 06'

26 АПР 2004

0011'

СОУНЬ ИМ. В. Г. БЕЛИНСКОГО  
<http://book.ugaic.ru/>

СОУНБ им. В. Г. Белинского  
<http://book.ugraic.ru/>

СОУНЬ ИМ. В. Г. БЕЛИНСКОГО  
<http://book.ugraic.ru/>

Проф. Д. М. ПЕТРУШЕВСКИЙ

ОЧЕРКИ  
ИЗ  
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ  
СРЕДНЕВЕКОВОЙ ЕВРОПЫ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ОБЩЕДоступная  
БИБЛИОТЕКА  
ИМЕНИ  
В. Г. БЕЛИНСКОГО  
гор. Свердловск,  
улица Карла Либкнехта № 8.  
Телефон 10-14.

КНИГОХРАНИЛИЩЕ  
ОБЛ. БИБЛИОТЕКИ  
В СВЕРДЛОВСК

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО  
МОСКВА \* 1928 \* ЛЕНИНГРАД

1944 г.

АРХИВ

Г. 8.



ИВ. 1930 г.

2

9/4): 33

5

ОТПЕЧАТАНО  
в 1-й Образцовой типографии  
Гиза, Москва, Пятницкая, 71.  
Главлит № 92606. Гиз № 20727  
Тир. 3000 экз. Зак. № 3326.

СОУНЬ ИМ. В. И. ШУЛИНСКОГО  
<http://book.shulinc.ru/>

## ОГЛАВЛЕНИЕ

---

	<i>Стр.</i>
Предисловие от издательства . . . . .	5
» » автора . . . . .	16
<i>Введение.</i> О некоторых логических проблемах современной исторической науки . . . . .	19
<i>Глава первая.</i> О некоторых предрассудках и суевериях, тормозящих развитие науки средневековой истории . . . . .	62
<i>Глава вторая.</i> Рим и германцы . . . . .	81
<i>Глава третья.</i> Древне-германское общество в изображении Цезаря и Тацита . . . . .	139
<i>Глава четвертая.</i> <u>Средневековое поместье</u> . . . . .	151
<i>Глава пятая.</i> Эволюция средневекового поместья . . . . .	222
<i>Глава шестая.</i> Средневековый город и его „городское хозяйство“ . . . . .	277

---

СОУНЬ ИМ. В. Г. БЕЛИНСКОГО  
<http://book.uigaic.ru/>

## ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА.

Выпускаемая нами в свет книга проф. Д. М. Петрушевского «Очерки из экономической истории средневековой Европы» представляет большой интерес для русского читателя. Написанная историком-немарксистом, она представляет собой попытку изложить современное состояние взглядов западно-европейской науки на затрагиваемые в ней вопросы. На ней заметно влияние взглядов Альфонса Дюпша и Макса Вебера, едва ли не наиболее выдающихся из современных западно-европейских буржуазных историков-экономистов. Автор снабдил свою книгу Введением, в котором рассматривает логические основы исторической науки.

И в самой книге, и особенно во Введении к ней, автор развивает ряд взглядов, с которыми мы решительным образом не можем согласиться. Мы считаем, поэтому, своею обязанностью в настоящем предисловии указать на основные, принципиальные свои разногласия с автором книги.

\* \* \*

Остановимся, прежде всего, на наших разногласиях с автором в области логики исторической науки, которой посвящено Введение, носящее подзаголовок: «О некоторых логических проблемах исторической науки».

Автор здесь вполне определенно становится на точку зрения критической философии или неокантианства, в лице представителей фрейбургской философской школы. Констатируя серьезный методологический «кризис», якобы переживаемый в настоящее время социальными науками, он приглашает читателя для преодоления этого «кризиса» опереться, вслед за автором, на то, что уже сделано в трудах Виндельбанда, Риккерта и Макса Вебера. Почему

же, однако, следует обращаться именно к этим представителям неокантианства, искать помощи именно в недрах идеалистической философии? Ответа на это мы у автора не находим. С своей стороны, мы полагаем, что методологический кризис историческая наука действительно переживает лишь постольку, поскольку она отказывается решительно и определенно стать на точку зрения марксизма, единственной последовательно-научной методологии. Не репаясь на это, историческая наука долго еще будет осуждена пребывать в перманентном состоянии методологического кризиса, и никакое новое возрождение неокантианства не выведет ее из этого состояния. В частности, и Введение нашего автора ни в малой мере не уничтожает такого методологического кризиса.

Вслед за другими представителями той философской школы, к которой он примыкает, автор считает конкретную действительность абсолютно индивидуальной, неповторяемой и бесконечно многообразной, беспредельной во времени и пространстве и необозримо сложной. Поэтому он отождествляет конкретное и индивидуальное. Поэтому же, по его мнению, между стремящейся к установлению общих понятий наукой (генерализирующее естествознание) и действительностью «разверзается пропасть, все более и более широкая и глубокая». «Общее понятие ведь никогда не есть сама действительность, а лишь результат логической переработки ее, устраняющей из нее все, данное нам в нашем непосредственном опыте, все конкретное и индивидуальное, все то, что как раз и есть сама действительность... Оно не есть ни в какой мере сама действительность» (стр. 8). Таким образом, «общее», составляющее содержание понятий, оказывается вне действительности.

Отметим противоречие, в какое впадает при этом автор. С одной стороны, действительность абсолютно индивидуальна, многообразна и неповторяема. С другой стороны, генерализирующее (номографическое) знание интересуется в явлениях только общим в них с другими явлениями того же порядка, что делает возможным подведение данного явления под то или иное общее понятие, «улавливает постоянные, неизменные, безусловно необходимые соотношения между возможно более простыми явлениями, выделенными мысленно или экспериментальным путем из живых сложных комплексов взаимно обусловленных явлений, какими они представляются нашему непосредственному опыту» (стр. 9). Другими словами, «общее» оказывается здесь уже свойством самих же явлений действительности, наравне с их индивидуальностью; иначе как было

бы возможно обобщающее (генерализирующее) знание, если бы действительность была абсолютно индивидуальна? А если конкретной действительности свойственно и общее, и индивидуальное, то ясно, что нельзя противопоставлять друг другу знание обобщающее, якобы не представляющее собою ни в какой мере знания действительности, и знание индивидуализирующее, идиографическое, как науку о самой действительности.

Нам кажется, что выйти из указанного противоречия автор мог бы лишь в том случае, если бы, вопреки своим «критическим» учителям, признал вместе с нами, что конкретная действительность представляет собою синтез общего и индивидуального, иначе «единство в многообразии», и что поэтому естествознание представляет собою такую же науку о действительности, как и история.

Следует указать, что автор в этом пункте отступает и от Риккерта, поскольку мы будем изучать его по более поздним, а потому и более зрелым его произведениям. Для Риккерта история вовсе не есть наука об индивидуальном, совпадающем с самой действительностью. Следует «различать два рода индивидуального: простую разнородность (*Andersartigkeit*) и индивидуальность в узком смысле слова. Одна индивидуальность совпадает с самой действительностью и не входит ни в какую науку. Другая представляет собою определенное понимание действительности»; это — индивидуальности, или сами воплощающие в себе культурные ценности, или стоящие к ним в некотором отношении. Только индивидуальное в этом последнем смысле, культурно-индивидуальное, значение которого покоится не на индивидуальном многообразии, присущем всякой действительности и вследствие своей необозримости недоступном никакому познанию и изображению, но на отнесении к культурным ценностям, — только такая индивидуальность, по Риккерту, и составляет предмет истории, или, иначе, наук о культуре<sup>1)</sup>. Это — принципиально два различных понимания индивидуального, как возможного предмета истории, и напрасно автор их смешивает.

Риккерт обходит это затруднение, как мы видели, тем, что считает историю, или, иначе, науку о культуре, имеющей своим пред-

---

<sup>1)</sup> Риккерт. Науки о природе и науки о культуре. СПб, 1911. (стр. 122—123). Поэтому Риккерт допускает лишь относительную правомерность за названием истории „наукой о действительности“, так как история, подобно искусству, все же, по его мнению, стоит к действительности ближе, чем естествознание (там же, стр. 115).

метом «культурно-индивидуальное», то в явлениях действительности, что делает их индивидуумами в силу отнесения к культурным ценностям. Автор вполне присоединяется и к этой точке зрения Риккерта, не замечая в этом противоречия с только что разобраным взглядом своим на индивидуальное в истории, как многообразии непосредственно самой действительности. Мы, напротив, решительно возражаем против внесения в научную область таких моральных категорий, как «ценности», хотя бы и в замаскированной и ослабленной форме метода «отнесения» к ним явлений действительности.

Прежде всего, внесение понятия «ценностей» в социальную науку, действительно, вполне последовательно с точки зрения того направления в неокантианстве, которое можно было бы назвать канто-фихтеанством, и для которого характерно провозглашение примата практического разума над разумом «чистым», нравственности над теоретическим познанием, мира «ценностей» над миром бытия. Но какое значение может иметь это привнесение чуждых науке элементов для историка-эмпирика, каким считает себя проф. Петрушевский? Ровно никакого. Разве применяет такой историк на практике при выборе материала для своих исследований пресловутый риккертовский метод «отнесения к культурным ценностям»?

Возьмем пример. В своих известных «Очерках из истории средневекового общества и государства» Д. М. Петрушевский, изображая общество и государство Римской империи, у древних германцев и в так называемых варварских государствах, ничего не говорит о религии, о происхождении христианства и христианской церкви, о распространении христианства среди варваров. С другой стороны, в своей не менее известной работе «Восстание Уота Тайлера» тот же Д. М. Петрушевский упоминает и об Уиклифе, и о лоллардах, и о Дж. Болле. Значит ли это, что в первом случае автор не «относил» религию к числу «культурных благ», воплощающих в себе «культурные ценности», а во втором — переменил свою точку зрения на религию и, «отнеся» ее к «культурным благам», ввел ее поэтому в круг своего исследования? Конечно, нет. В восстании Уота Тайлера религиозная идеология играла заметную объективную роль, и потому автор принужден был, независимо от своих философских взглядов, оставаясь объективным исследователем, остановить свое внимание и на религиозной идеологии. Наоборот, при изображении общества и государства раннего средневековья

значение религии, очевидно, казалось автору объективно несущественным, и его можно было поэтому игнорировать.

Поэтому, мы думаем, что руководящую роль при выборе материала в исторической науке играет объективное значение того или иного явления, а не момент «отнесения» его к таким субъективным категориям, каковы моральные «ценности». И внесение в историческую науку понятия «ценностей» вовсе не представляется нам таким великим научным завоеванием, каким кажется оно Д. М. Петрушевскому. Внесение в науку субъективного момента на место момента объективного, апелляция, вслед за Максом Вебером, в последней инстанции к «во всех нас в той или иной форме живущей вере в сверхэмпирическое значение последних, и самых высших ценностных идей, на которых мы укрепляем смысл нашего существования» (стр. 17), — с нашей точки зрения знаменует собою шаг далеко назад, а не вперед.

С другой стороны, самое «отнесение» к культурным «ценностям», которому автор, вслед за Риккертом, придает такое большое значение, представляется нам, если отбросить идеалистические очки, простым актом выбора материала для определенной, заранее заданной темы, имеющим место в любой научной работе, в том числе и в естествознании. Ведь, если определить историю, как науку о культуре, то совершенно ясно, что, совершенно независимо от идеалистического (связанного с конечными «ценностями») или материалистического определения понятия «культуры», выбор материала будет связан с этим понятием, которое и определяет существенное и несущественное. Центр тяжести здесь лежит, следовательно, именно в идеалистическом понимании самой культуры. Однако наш автор нигде не пытается доказывать необходимости для нас именно идеалистического мировоззрения, как единственно приемлемого, и все его построение, особенно в современной нашей культурной обстановке, представляется нам, поэтому, по меньшей мере, необоснованным.

Изложенные нами положения развиваются автором на первых страницах его Введения. Здесь автор вполне разделяет точку зрения Риккерта на необходимость обосновать логическую природу «истории», как самостоятельной науки, имеющей свой самостоятельный (индивидуализирующий) метод, резко противоположный генерализирующему методу естествознания и совершенно от него независимый. Последние страницы Введения стоят в полной противоположности к этому воззрению. Историчес-

кое исследование, с его чисто историческими понятиями, изображается здесь несамостоятельной, зависимой от социологии и ее общих понятий научной областью. Индивидуализирующий метод оказывается невозможным без метода генерализирующего, история без социологии.

«Генерализирующее изучение исторической жизни не только возможно, но и совершенно необходимо в интересах чисто идиографических... Без общих понятий историческое познание немислимо... Если генерализирующее изучение исторической жизни, приводящее к образованию общих исторических понятий, исторических и социологических категорий, признать задачей социологии, то из всего, о чем шла речь выше, ясно, что историк, чтобы стоять на высоте своей чисто индивидуализирующей задачи, должен быть в то же время и социологом... Каждая отдельная историческая дисциплина является, таким образом, и историей, и социологией. Другой истории и другой социологии нельзя себе представить...»<sup>1)</sup> (стр. 45—46). Автор говорит теперь об исторической науке, которая все более дифференцируется на все увеличивающийся ряд «отдельных исторических дисциплин с присущими каждой из них индивидуализирующими и генерализирующими, иначе—идиографическими и номографическими функциями»<sup>1)</sup> (стр. 47).

Разве это не есть полный отказ от признания за историей, в противоположность генерализирующему естествознанию, характера чисто индивидуализирующей науки? Разве это не есть признание за историей характера науки одновременно и генерализирующей и индивидуализирующей, идиографической и номографической? Разве это не полный разрыв с Риккертом?

Мало того. Для Риккерта и его последователей ту роль, какую играют в естествознании общие понятия, выполняют в истории, в науках о культуре, понятия «ценностей», «ценностные идеи»; в них, в конечном счете, видят они объективный смысл исторического индивидуализирующего знания, в противоположность номографическому естествознанию. Проф. Петрушевский приходит теперь к выводу, что индивидуализирующая по своим конечным задачам (а не по своему единственному методу!) историческая наука должна опереться на общие поня-

<sup>1)</sup> Курсив наш.

тия социологии, на генерализирующее знание, на «естествознание» в смысле Риккерта, поскольку оно изучает и социальные явления. Значит ли это, что «ценностные идеи», которые должны были бы заменить эти общие социологические понятия, оказываются, в конце концов, ненадежной опорой для научной истории? Такой вывод напрашивается сам собою. Нам кажется, что здоровое реалистическое чутье, которым в большой степени обладает наш автор, ставит теперь его в противоречие с ветхим идеалистическим одеянием, которое он, спасаясь от «кризиса», пытается все же на себя натянуть.

Ему остается теперь также отвергнуть и то ничем не оправдаемое резкое противопоставление истории и естествознания, наук о культуре с их «ценностными идеями» и наук о природе с их «общими понятиями», которое составляет основное положение Риккерта и его школы. Это противоположение исходит, в конце концов, из ошибочного представления об естествознании как прежде всего генерализирующем по своим задачам знании. Если такое представление и могло быть правильным для XVIII века, когда естествознание выступало преимущественно как математическое и механистическое, как абстрактное естествознание, то современное естествознание, особенно в связи с развитием биологии, все более и более становится естествознанием конкретным, мы сказали бы — историческим.

Идея исторического развития мира все более и более проникает собою естествознание, которое превращается, в конце концов, в диалектическое естествознание.

Мы, поэтому, не можем согласиться с перенесением автором всех черт этого абстрактного естествознания и на конструируемую им самим социологию. Для него «категория социологическая уж совсем выходит из пределов места и времени и высоко парит над индивидуальной исторической действительностью... являясь чистым предельным понятием, одинаково успешно применимым ко всем социальным явлениям данного порядка, где бы и когда бы они ни возникали, собирающим в себе признаки, присущие данному социальному образованию в его существе, в его основной природе, безотносительно к месту и времени... Социологическая категория есть самый идеальный тип, самая утопическая утопия...» (стр. 42). Такое понимание социологических категорий и позволяет проф. Петрушевскому, не признающему экономических формаций, как они характеризуются у Маркса, чрезмерно

расширять применение тех или иных социальных категорий и говорить, напр., о «вотчинном капитализме» в эпоху феодального средневековья на Западе, или о «типичном феодализме» в России в московский период, т. е. в эпоху уже торгового капитализма. Введение таких вневременных и внепространственных, абстрактных социологических категорий, применимых к любому периоду общественного развития, — разве не напоминает это позитивистическую социологию с ее установлением абстрактных социальных «законов», обязательных для всякого общества, на всех стадиях его развития, словом, для «общества вообще»?

Так сходятся крайности.

Для обеих точек зрения характерно отсутствие диалектического понимания действительности. Обеим чуждо представление об общественных формациях, объективно существующих в исторической действительности, каждая с ее особым специфическим типом социальных связей, особым типом социальных закономерностей, объективно существующих, и особым кругом социальных категорий, применимых только в пределах изучения соответствующих общественных формаций. И, конечно, вводимое Максом Вебером понятие «идеального типа», которое не есть изображение самой действительности, но лишь предельное понятие, не способно заменить собою это понятие об объективной общественной формации, несмотря на все сходство, какое принимают порой под рукою М. Вебера эти идеальные типы с общественными формациями К. Маркса.

\* \* \*

Переходя от «Введения», на котором пришлось остановиться более подробно, к содержанию самой книги, нельзя, прежде всего, не указать, что методологические взгляды автора, рассмотренные выше, сильно отразились и на его научной работе. Его основные положения имеют значение только при признании правильности его основных методологических предпосылок, оказываясь неприемлемыми в случае их отрицания. В первую голову это касается выдвигаемого М. Вебером и автором настоящей книги метода пользования идеально-типическими понятиями, имеющими вневременный и внепространственный, абстрактный характер.

В полном согласии с общими социологическими воззрениями Макса Вебера, полагает автор, и нет принципиальных отличий между отдельными историческими периодами, составляю-

щами, с точки зрения марксизма, своеобразные общественные формации. Почти все основные элементы экономики и значала, — по крайней мере, в пределах доступных нашему непосредственному знанию периодов истории человечества, — находятся налицо, в дальнейшем лишь развиваясь и получая более полное выражение. В частности, капитализм является, в этом смысле, извечной экономической категорией. «Капитализм возможен в самой различной социальной обстановке. Мы наблюдаем его в разные эпохи римской истории: и в эпоху царей (!), и в разные периоды республики и в императорскую эпоху... Несомненно, капиталистическим является и вотчинное хозяйство средних веков» (глава IV, стр. 198). Это действительно вневременная и внепространственная, всеобщая категория, «самая утопическая утопия»! Однако эта «утопия» отнимает у экономической истории ее исторический характер, если на всем почти ее протяжении мы только и имеем перед собою категорию капитализма.

Такое безгранично-расширительное применение понятия капитализма стоит в связи с субъективно-психологическим его определением: для капитализма характерна лишь наличность предприятий, имеющих коммерческие цели, — извлечение прибыли от продажи хозяйственных благ, в нем производящихся. Нет надобности долго распространяться о неприемлемости для нас такого «понимания» капитализма.

Так же произвольно и расширительно употребляет автор и другие социальные категории. Описывая позднеримское общество, автор применяет к нему понятие «государственного социализма». «Атмосфера произвола и насилия, созданная безответственной бюрократией, безмерно разросшейся, недобросовестной и жадной, была лишь естественным последствием этого превращения общества в пассивный объект прежде всего фискальной политики государства. Государственный социализм, которого мы не можем не видеть во всей этой системе, не являлся в результате какой-нибудь теоретической программы, отправлявшейся от идеологических предпосылок, но был вызван суровыми требованиями жизни, далекими от теоретических мудрствований и социальных мечтаний». «Теперь, с наступлением и дальнейшим расширением и углублением государственного социалистического порядка в его беспощадно резких формах государственного рабства, капитализму, как и общему хозяйственному развитию империи, глянула в глаза смертельная опасность» (глава II, стр. 118 и 119). С такой точки

зрения, очевидно, всякая «абсолютная монархия» является государственным «социализмом»!

Такое же своеобразное толкование придает автор и понятию феодализма. Так как, ввиду всеобщего распространения капитализма, не остается места для каких-либо других экономических форм, приходится перенести понятие феодализма исключительно в область политики. Для автора это — определенная форма государственного устройства и управления, которая опирается на организованную государственную властью систему политически соподчиненных государственных тяглых сословий. Нам кажется, что такое определение характеризует скорее политический строй эпохи торгового капитализма, крепостническое государство, «старый режим», чем собственно феодализм. Возникает даже вопрос, не подходит ли под это понятие и социально-политический строй позднеримской империи, который автор охарактеризовал ранее, как «государственный социализм»?

Такой же всеобщей экономической категорией, как капитализм, является для автора и понятие «города». Историю средневекового города, как центра своеобразной экономической жизни, следует начинать гораздо раньше XI—XII веков; ее приходится «вести непрерывно<sup>1)</sup> от римских времен, имея в виду как римские города, с ликвидацией империи не прекращавшие своего существования и в экономическом смысле, так и города чисто германские, существовавшие у германцев едва ли не с незапамятных времен<sup>1)</sup> (глава I, стр. 58).

Мы видим, что для автора основные экономические категории изначальны, приложимы ко всем почти эпохам известной нам экономической истории; на протяжении ее не появляется ничего принципиально нового, все изменения носят лишь количественный, некачественный характер. Благодаря такому недиалектическому представлению история приобретает какой-то застывший, статический характер. Только диалектическое познание, только изучение исторической действительности помощью понятия «общественных формаций» может вернуть истории ее исторический характер, придать больше своеобразия и индивидуальности отдельным ее периодам. «Идеальные типы», «предельные понятия», «самые утопические утопии», наоборот, лишают историю этого своеобразия.

---

<sup>1)</sup> Курсив везде наш.

Таковы основные принципиальные наши разногласия с автором. Мы не согласны с ним и по существу некоторых отдельных его утверждений, однако не считаем уместным расширять рамки нашего предисловия и в этом направлении.

Написанная выдающимся историком-немарксистом, стоящим во всеоружии современной западно-европейской буржуазной науки, книга весьма поучительна для нашего современного русского читателя-марксиста. Он увидит здесь все сильные и слабые стороны этой науки, ее успехи в области освещения отдельных вопросов исторического знания и то состояние «методологического кризиса», который она переживает. Сообщаемый в книге богатый фактический материал поможет читателю критически отнестись к ряду выводов автора и даст ему в руки средство для самостоятельных выводов и обобщений.

## ПРЕДИСЛОВИЕ.

В процессе специальной научной работы очень важно бывает осмотреться вокруг себя, разглядеть основные линии и тенденции развития в данной научной области и по возможности отчетливо их формулировать: это уясняет и углубляет смысл отдельных изысканий и дает им более целесообразную постановку и общей научной работе сообщает большую организованность и плодотворность.

Особенно настоятельной бывает эта потребность в общей ориентировке в тех случаях, когда та или иная научная область переживает кризис, когда основные ее концепции и точки зрения утрачивают прежнюю убедительность, и рядом с ними начинают завоевывать признание иные взгляды и иные построения, более соответствующие и более тонким и сложным приемам исследования, и более утонченному и углубленному пониманию общественных соотношений (мы имеем в виду общественные дисциплины).

В таком именно положении находится в настоящее время хозяйственная история средневековой Европы. Когда-то, и даже нельзя сказать, чтобы очень давно, это была едва ли не самая мирная территория во всей исторической науке, на которой царил ничем не нарушимое единомыслие по самым основным вопросам хозяйственного строя и хозяйственной жизни средневекового общества. Вотчинная, натурально-хозяйственная концепция средневековой культуры и ее эволюции была для всех обязательным догматом научной веры, и все признавали этот догмат с полным убеждением и с чистой научной совестью и под сенью его мирно вели свои специальные изучения, освещая заимствованным от него светом и другие стороны средневековой жизни. Лишь с конца восьмидесятых годов прошлого столетия и в этом мирном уголке начались несогла-

сия, все более и более принимавшие резкий и даже временами ожесточенный характер, превращавший его в настоящее поле сражения. Атака была направлена на главные твердыни до тех пор безраздельно господствовавшей концепции — на средневековое поместье и средневековый город, и в результате от всего этого построения, столь долго удовлетворявшего и научным и эстетическим вкусам (нельзя ведь отрицать его выдержанности и эстетической законченности), остались одни лишь развалины. Открылись новые, более широкие перспективы, показывающие средневековую жизнь в иных очертаниях, более близкую нам и по своим хозяйственным мотивам и формам, и по своей подвижности и широте, столь далеких от приписывавшейся ей связанности и замкнутости.

Нам бы хотелось подвести общие итоги этому научному сдвигу и, главным образом, подчеркнуть те пункты его, которыми намечаются именно эти новые концепции и новые постановки основных проблем хозяйственной истории средневековой Европы, и сделать попытку нарисовать общую картину средневекового хозяйственного строя, каким он представляется нам в результате этого сдвига. Картина эта имеет именно общий, идеально-типический характер, намечает лишь общие линии хозяйственных форм, их генезиса и их эволюции. Если иногда нам приходится уклоняться в сторону специального рассмотрения того или иного вопроса, то к этому вынуждает нас лишь крайняя необходимость. В частности, нам пришлось (в главе IV) сделать специальный экскурс о *Capitulare de villis*, что было вызвано тем, что старая концепция средневекового хозяйственного строя видела в этом памятнике один из главных своих опорных пунктов, а между тем обстоятельного анализа этого памятника мы не находим ни у сторонников этой концепции, ни у их противников, так как они считают возможным довольствоваться отдельными, чтобы не сказать случайными, указаниями на те или иные его пункты, подтверждающие, на их взгляд, те или иные их точки зрения по тому или иному вопросу. Может быть, несколько специальный характер носят и страницы (в главе VI), посвященные вопросу о причинах связи этико-экономической доктрины Фомы Аквинского, разработанной впоследствии канонистами, с принципами хозяйственной политики средневекового города эпохи «городского хозяйства». Но оправданием для нас был исключительный интерес этой проблемы, к тому же до сих пор в научной литературе не освещенной. «Как объясняется эта общность идей, —

говорит Белов, — вопрос этот пока еще остается без ответа» (Probleme der Wirtschaftsgeschichte, 248), и нам кажется, что сделанная нами попытка его осветить намечает тот путь, по которому следует идти к его разрешению. Введение едва ли нуждается в оправдании: важность рассматриваемых в нем логических и методологических проблем исторической науки и настоятельность их сильного освещения именно в настоящее время для всех ясны.

20/III — 27.

Москва.

---

СОУНБ им. В. Г. Белинского  
<http://book.ugaiс.ru/>

## ВВЕДЕНИЕ.

### О НЕКОТОРЫХ ЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМАХ СОВРЕМЕННОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКИ.

Ясность и определенность в представлении о логической природе целей и средств данной научной дисциплины являются необходимым условием успешности каждой отдельной работы, плодотворности усилий, затрачиваемых на ее выполнение, гарантируя правильную постановку научных проблем и правильный выбор путей и средств для их разрешения. Поистине злободневным вопросом это основное положение научной методологии становится в области социальных наук, переживающих в настоящее время серьезный методологический кризис, который должен в конце концов отразиться на самых основах их логической структуры. Возродившаяся с новой силой критическая философия, естественно, сделала вопросы логики и методологии наук предметом особенного внимания и, в частности, вопросы логики и методологии наук социальных; в результате безраздельно господствовавший до тех пор во всех областях научного знания методологический натурализм, естественно-научный метод был ограничен в своей компетенции, и трудами Виндельбанда, Риккерта, Макса Вебера была выяснена общая логическая природа наук о культуре, их целей и средств, далеко не совпадающих с целями и средствами наук о природе.

Если философы выяснили общие основы логики наук о культуре, то представителям отдельных научных дисциплин, изучающих явления культурного развития, предстоит разработать те логические и методологические проблемы, которые связаны с их специальными научными областями, заняться выяснением логической структуры тех научных проблем, которые составляют содержание их специальных дисциплин. Это тем более необходимо, что общее фи-

лософское преодоление методологического натурализма только наметило общий путь для разработки логики отдельных наук о культуре, в которых все еще господствует большой разброд общих понятий в самых основных вопросах их ведения, сводящийся в конце концов к невыясненности самой логической природы этих вопросов и еще более усилившийся благодаря общей их логической перестановке, требующей усиленной работы над выяснением логической природы специальных орудий и способов для их разрешения в каждой специальной научной дисциплине. Ввиду этого нам бы хотелось предпослать основному содержанию нашей работы ряд соображений, представляющих попытку разобраться в основных вопросах логики исторической науки, опираясь на то, что уже сделано для этого в трудах Виндельбанда, Риккерта и Макса Вебера, при этом обратив внимание на такие пункты, какие еще недостаточно освещены, а между тем настоятельно нуждаются в выяснении и своею невыясненностью тормозят правильную постановку очередных вопросов исторического изучения.

## I

Логическая природа каждого данного научно-познавательного акта определяется характером того интереса, с каким подходит ищущий научного знания человек к тому или иному явлению действительности. Интерес этот может быть направлен или на то общее, что имеется у этого явления с явлениями одного с ним порядка, или на то, что представляет собою индивидуальную физиономию данного явления, отличающую его от всех остальных явлений одного с ним порядка. В первом случае обратившее на себя внимание изучающего явление интересно для него не само по себе, но лишь как экземпляр ему подобных, дающий ему лишнюю возможность, в качестве нового материала, построить общее понятие об явлениях этого порядка; во втором случае явление это интересно для изучающего непосредственно само по себе, своею неповторяющею индивидуальностью, которую он и стремится познать. Научный интерес, направленный в сторону общего, приводит к построению систем общих понятий, охватывающих то постоянное и неизменное, что характеризует самое существо, самую природу явлений того или иного порядка, тогда как интерес, направленный на индивидуальное, довольствуется уловлением того, что есть в явлениях проходящего, что обусловлено обстоятельствами данного места и

времени. Конечной целью в первом случае, логическим идеалом, к которому стремится знание, направленное на общее, является установление законов, таких общих понятий, которые схватывали бы соотношения между явлениями, остающиеся в силе всегда и везде, безусловно необходимые соотношения.

Чем ближе подходит к этой своей конечной цели данная научная отрасль, тем все дальше и дальше отодвигается она от действительности с ее бесконечным экстенсивным и интенсивным многообразием, с конкретностью и неповторяемой индивидуальностью всех ее явлений. Между стремящейся к установлению общих понятий и вечных законов наукой и действительностью разверзается пропасть, все более и более широкая и глубокая. Чем совершеннее становятся общие понятия и законы (общие понятия, которым свойственна безусловная обязательность), тем все более и более они выражают то, что никогда не происходит в действительности. Общее понятие ведь никогда не есть сама действительность, а лишь результат логической обработки ее, устраняющей из нее, данное нам в нашем непосредственном опыте, все конкретное и индивидуальное, все то, что как раз и есть сама действительность; оно вовсе не претендует на то, чтобы быть отображением действительности, не в этом его назначение, смысл и сила. Оно не есть ни в какой мере сама действительность; но оно имеет силу над действительностью: оно является орудием, средством для ее научного познания в ее конкретности и индивидуальности.

Логическая обработка сырого, воспринимаемого нами в нашем непосредственном опыте материала конкретных и индивидуальных явлений, составляющих содержание действительности, в систему или по крайней мере в совокупность общих понятий и даже законов есть преодоление мыслью бесконечного многообразия действительности, ее беспредельности во времени и пространстве и ее необозримой сложности путем упрощения, схематизации, стилизации действительности, которая таким только путем становится доступной научному познанию. Этот вид упрощения действительности, упрощение ее путем переработки ее в систему или совокупность общих понятий и законов составляет основную задачу номографического, иначе генерализирующего знания.

Но этим знанием не исчерпывается научный интерес к действительности и не может исчерпываться. Ведь это номографическое знание отменяет все конкретное и индивидуальное в явлениях, интересуясь только общим у них с явлениями того же порядка, и

образуемые им общие понятия не являются изображением самой действительности, какой она является нашему непосредственному опыту, в ее конкретном и индивидуальном облике, а все более и более отдаляются от нее по мере расширения своего объема. Являясь в высшей своей форме, в форме закона, общее понятие к тому же улавливает постоянные, неизменные, безусловно необходимые соотношения лишь между возможно более простыми явлениями, выделенными мысленно или экспериментальным путем из живых сложных комплексов взаимно обусловленных явлений, какими они представляются нашему непосредственному опыту.

Не удивительно, что, «высказывая положения, которые вечно и везде имеют силу», законы «ни слова не говорят о том, что происходит перед нашими глазами», «сами по себе не в силах объяснить малейшего явления в окружающей нас действительности» <sup>1)</sup> в ее сложной конкретности и индивидуальности. Имея в своем распоряжении одни лишь общие понятия, т. е. понятия о том, что существует всегда и везде при наличности известных условий, что вне временно и внепространственно в явлениях и их соотношениях, мы совершенно не в состоянии разобраться в живой жизни, в реальной действительности, в том, что в своей конкретности и индивидуальности происходит в определенных пределах пространства и времени, с чем мы находимся в непосредственном жизненном соприкосновении, что имеет для нас непосредственный жизненный и культурный интерес. Кроме знания об общем, знания генерализирующего, номографического, науки о понятиях, науки о законах (Gesetzeswissenschaft), должно существовать знание об индивидуальном, знание индивидуализирующее, идиографическое, наука о действительности (Wirklichkeitswissenschaft). Кроме знания того, что не приурочено ни к какому определенному времени, но имеет силу всюду и везде, необходимо знание того, что существует или существовало в определенных пунктах пространства и времени и что произошло во всей своей индивидуальности и конкретности лишь один раз в том или ином месте, в тот или иной момент, и о чем номографическое знание, как таковое, не способно высказать решительно ничего.

Но ведь действительность, как она есть во всем необъятном экстенсивном и интенсивном многообразии своего индивидуального и конкретного существа, недоступна нашему конечному разуму.

<sup>1)</sup> А. А. Чупров. Очерки по теории статистики. Второе издание, пересмотренное и дополненное. СПб, 1910, стр. 62.

Ему поневоле приходится ограничивать себя, суживать свои познавательные задачи, довольствоваться возможным и необходимым. Наряду с номографическим упрощением действительности, в котором находит свое удовлетворение научный интерес, направленный на общее в явлениях, перерабатывающий материал конкретных и индивидуальных явлений в систему общих понятий, должно иметь место и ее идиографическое упрощение, дающее выход научному интересу к индивидуальному и конкретному. Если в первом случае внимание было направлено лишь на то в явлениях, что есть у них общего с явлениями того же порядка, то во втором существенным для познания должно быть как раз то, что характерно для неповторяемой живой и конкретной индивидуальности того или иного явления в его единственности и однократности.

На вопрос о том: на каких именно индивидуальных явлениях из необъятной их массы, составляющей содержание действительности, и на каких именно конкретных чертах этих явлений из столь же необъятной массы их, составляющей конкретный облик этих явлений, может и должно останавливаться научное внимание стремящегося к идиографическому знанию, — на этот вопрос в самой общей форме можно ответить весьма коротко: на тех, которые вызывают к себе наш практический или теоретический интерес, как имеющие для нас ту или иную культурную ценность. Не будет, может быть, ошибкой сказать, что связь с культурными ценностями тех или иных явлений действительности служит основной движущей пружиной и чисто номографического интереса к ним, но только здесь этот психологический момент не так непосредственно и откровенно дает себя знать, затуманенный и отодвинутый в глубину подсознательного чисто абстрактно-логическим характером номографического изучения, все же тем не менее направленного на те явления, которые по той или иной причине имеют для нас ту или иную культурную ценность, хотя бы эта ценность заключалась лишь в их способности удовлетворять нашу научную любознательность, наш познавательный интерес. Те общие понятия, которые строит номографическое знание, довлеют себе, лишь поскольку они удовлетворяют наш чисто познавательный интерес: здесь они являются самоцелью.

Но этим их роль и значение не исчерпываются. Подобно лучам физического солнца эти лучи чистого, высоко парящего над конкретной и индивидуальной действительностью, совершенно абстрактного знания не только восхищают умственный взор созерца-

теля своей красотой, но и бросают свет на мир, находящийся под ними, и дают возможность ориентироваться в этом необъятном лабиринте конкретного и индивидуального, что и было основным мотивом их создания. Являясь в пределах чисто номографического интереса самоцелью, общие понятия являются руководящими нитями для идиографического познания, служат для него средствами, орудиями в его стремлении понять самую действительность в ее конкретности и индивидуальности. Но здесь они только средства и орудия.

Задачи, цели здесь иные. Здесь живой, непосредственный интерес к явлениям жизни в их конкретности и индивидуальности и обусловленной этим их культурной ценности выступает на первый план, будут ли то явления текущей жизни или явления прошлого в их конкретном и индивидуальном существовании или в их тенезисе из столь же конкретных и индивидуальных причин и в их не менее конкретной и индивидуальной и, следовательно, однократной эволюции. Если законы причинно-зависимых явлений представляют собою имеющие безусловную обязательность общие понятия, безотносительно к месту и времени, и имеют применение лишь к явлениям самого элементарного порядка, выделенным искусственно из живой связи с другими явлениями, с которыми они составляли живой индивидуальный комплекс большей или меньшей сложности, то причины индивидуальных явлений — нечто совсем иное по своей логической структуре: они представляют собою индивидуальную совокупность конкретных, индивидуальных и однократных явлений, вызвавших к бытию то или иное конкретное, индивидуальное и однократное явление или их индивидуальную совокупность. В первом случае мы имеем дело с законами причинных соотношений, во втором — с индивидуальной причинностью.

В то время, как переработанная номографическим знанием конкретная и индивидуальная действительность превращается в систему общих понятий более или менее широкого объема, та переработка, которой подвергает ее идиографическое знание, дает совсем другие результаты, и если их можно назвать понятиями, то это будут понятия совсем иного порядка. Риккерт называет их понятиями с индивидуальным содержанием, а также историческими понятиями<sup>1)</sup>, разумея под историей «все то, что сообщает нам о процессах в определенных пунктах про-

<sup>1)</sup> Риккерт. Границы естественно-исторического образования понятий. Перевод с нем. А. Водена. СПб, 1903, стр. 291.

странства и времени», и науку об этих процессах, «подлинную науку о действительности», иначе говоря, все идиографическое знание; он думает, что «в логическом смысле правомерно называть понятиями как те строяемые мышлением образования, в которых находит свое выражение общая природа вещей, так равным образом и те, в которых схвачена историческая сущность действительности<sup>1)</sup>, т. е. ее конкретность и индивидуальность, так как логическое существо всякого понятия заключается в том, что в нем об'единено, в том или ином смысле, существенное и характерное, выделенное для той или иной цели из всей массы признаков, составляющих содержание данного явления или ряда их. В то время, как общие понятия образуются путем выделения из ряда конкретных и индивидуальных явлений только тех признаков, которые общи всем им, понятия с индивидуальным содержанием, иначе называемые Риккертом историческими понятиями, образуются путем выделения из многообразия единичного индивидуума, под которым Риккерт понимает «любую однократную и особливую действительность», ограниченного числа признаков, которые и об'единяются в понятие, содержание которого оказывается таким образом не общим, но индивидуальным<sup>2)</sup>, заключающая в себе не то, что называется общим у ряда явлений, но лишь то, что характерно для индивидуальности данного единичного и однократного явления. Если содержание номографического знания по мере своего совершенствования все более и более удаляется от действительности в ее конкретности и индивидуальности, то знание идиографическое чем дальше, тем все больше и больше конкретизирует и индивидуализирует свое содержание, сообщая своим понятиям все больше и больше индивидуальных оттенков по мере выяснения всей сложности изучаемых им индивидуальных явлений и соотношений.

## II

Выясняя логическую природу, с одной стороны, номографического знания, а с другой — знания идиографического, мы этим вовсе не устанавливали принцип для классификации наук по их содержанию, а лишь характеризовали два основных направления научно-познавательного интереса, устремленного на любую область

<sup>1)</sup> Риккерт. Границы естественно-исторического образования понятий, ст. 284—285.

<sup>2)</sup> Там же, стр. 265.

действительности. Несомненно, в науках о природе преобладание принадлежит номографическому направлению, стремлению установить безусловно обязательные законы природы, хотя и в них интерес к конкретному и индивидуальному играет далеко не последнюю роль, а в некоторых из них едва ли не главную (география, геология и др.), тогда как в социальных науках, которые принято называть также науками о культуре, преобладает интерес к индивидуальному, что не освобождает их и каждую в отдельности от необходимости, как это мы увидим в дальнейшем, много усилий прилагать к выработке отчетливых и ясных общих понятий, без которых немислима успешная индивидуализирующая работа.

Преобладание в науке о культуре индивидуализирующего, иначе — идиографического метода, имеет, несомненно, свое основание в самой природе объектов этих наук. Социальные науки интересуются самой действительностью в ее конкретности и индивидуальности. «Мы хотим понять окружающую нас действительность жизни, в которую мы поставлены, в ее своеобразии — связь и культурное значение ее отдельных явлений в их сегодняшнем виде, с одной стороны, причины их исторического возникновения — с другой». «Точкой отправления социально-научного интереса является, несомненно, действительный, следовательно, индивидуальный облик окружающей нас социальной культурной жизни в ее универсальной, но от этого, конечно, не менее индивидуальный облик имеющей связи и в ее возникновении из других, само собою разумеется, опять же индивидуальный характер имеющих социальных культурных условий». Так определяет общий характер социальных наук Макс Вебер<sup>1)</sup>, сам являющийся одним из самых блестящих их представителей, в ряде своих замечательных статей ярким светом осветивший и их логическую природу.

Бесконечное многообразие явлений культурной жизни в их сосуществовании и следовании друг за другом и здесь должно быть преодолено путем упрощения, стилизации. Если в науках о природе это упрощение бесконечного многообразия явлений действительности производится путем переработки массы индивидуальных явлений в общие понятия, и в этом состоит основная

---

<sup>1)</sup> Max Weber. Die Objektivität sozialwissenschaftlicher und sozialpolitischer Erkenntnis (в сборнике его философских статей *Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre*. Tübingen. 1921, стр. 170—171 и 172—173).

задача этих наук, как наук прежде всего и главным образом генерализирующих, номографических, то в науках о культуре стилизация действительности для непосредственных целей этих наук производится по другому принципу. Риккерт, говоря об образовании исторических понятий, под которыми он разумеет понятия с индивидуальным содержанием, выражает в такой общей форме логическое существо этих понятий: «В исторические понятия должно входить именно то, что благодаря простому лишь отнесению к общепризнанным ценностям выделяется из действительности и сочетается в индивидуальные единства». В науках о культуре, которые Риккерт предпочитает называть историческими науками и которые он противопоставляет наукам о природе, как науки индивидуализирующие наукам генерализирующим, момент отнесения к общепризнанным ценностям играет в глазах Риккерта и его последователей и единомышленников определяющую роль: если в науках о природе нам дают возможность ориентироваться в бесконечном многообразии действительности общие понятия и в особенности безусловно общие, безусловно обязательные общие понятия, законы природы, направляя наше внимание на то в явлениях, что общее у них с остальными явлениями того же порядка и что делает возможным подведение данного явления под то или иное общее понятие, и сообщая и обеспечивая нашему познанию об'ективный характер, то в науках о культуре, ту же роль играют общепризнанные ценности, направляя наше внимание на то в явлениях, что имеет для нас значение по своей связи с теми или иными ценностями, привлекая на поле нашего зрения те явления, которые связаны с ценностями в том или ином отношении, и сообщая об'ективную силу нашему знанию, мыслью ушорядочивающему хаотическую действительность приемлемым для всех образом.

Можно сказать, что мысль об особой логической природе об'ектов наук о культуре, об их особенно тесной связи с ценностями, вызывающей к ним прежде всего и главным образом индивидуализирующий интерес, лежит в центре того понимания логической природы наук о культуре, или социальных наук, которое все более и более вытесняет до тех пор безраздельно господствовавший в них методологический натурализм, тормозивший их нормальное развитие, направлявший научный интерес по ложным путям и к призрачным целям, и указывает им их собственные пути и их собственные цели.

Если в своей ректорской речи, озаглавленной «История и естествознание», Виндельбанд<sup>1)</sup> более тридцати лет назад поставил вполне определенно самый вопрос об особой логической природе социальных наук (он их называет историческими науками) и уже вполне определенно в общей форме ответил на него, то в книге, посвященной выяснению «Границ естественно-научного образования понятий», Риккерт подвергает детальной и углубленной разработке основные точки зрения Виндельбанда, и это его «Логическое введение в исторические науки» становится настольной книгой для всякого представителя общественных наук, не чуждого логическим и методологическим проблемам своей дисциплины. Но представители общественных дисциплин должны и с своей стороны прилагать усилия к тому, чтобы эти проблемы получили более специальную разработку применительно к каждой отдельной дисциплине. В этом отношении особенно велики заслуги Макса Вебера, соединявшего в своем лице тонкого и глубокого мыслителя в области логических и методологических вопросов социального знания и первоклассного специалиста в разных областях этого знания. Если для Виндельбанда и Риккерта эти вопросы являлись предметом чисто отвлеченного, философского, теоретического интереса, то Максом Вебером они, можно сказать, переживались в процессе специальных изучений самого конкретного материала социальных дисциплин, и это делало для него более возможным, чем для чистых философов, выяснить более детально такие стороны этих проблем, какие, естественно, не могли выступать на поле их зрения, занятого общими их очертаниями. Все работы Макса Вебера этого порядка собраны в большом томе, озаглавленном «Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre» (1922).

Мысль об особой логической природе наук о культуре, обусловленной особенно тесной связью их объектов с идеями ценности (Wertideen), получила у Макса Вебера чрезвычайно обстоятельную и блестящую разработку. Разумею прежде всего его знаменитую статью об «Объективности социально-научного и социально-политического познания» (Die Objektivität sozialwissenschaftlicher und sozialpolitischer Erkenntnis), которой и воспользуемся для приведения в полную ясность основных точек зрения всего научно-философского направления, возглавляемого Виндельбандом, Риккертом и Максом Вебером.

<sup>1)</sup> Проф. В. Виндельбанд. Прелюдии. Перев. со 2-го нем. изд. С. Франка, стр. 313—333.

Даже самая скромная попытка описать всего лишь какой-либо отдельный «объект» исчерпывающим образом во всех его индивидуальных составных частях, не говоря уже о его причинной обусловленности, наталкивается на непреодолимое препятствие, каким является абсолютно бесконечное экстенсивное и интенсивное многообразие действительности. Конечному человеческому духу приходится раз навсегда отказаться от таких попыток и утвердиться на той мысли, что предметом научного познания всегда является лишь конечная часть бесконечной действительности, что только она «существенна» («wesentlich») в смысле «стоящей знания» («wissenswert»).

Является вопрос: на основании каких принципов из бесконечного множества явлений действительности или признаков данного явления или комплекса явлений выделяется та или иная их часть? В самих объектах, независимо от нас, мы напрасно стали бы искать признака, на основании которого следует выделить ту или иную часть их как единственно идущую в расчет. Не найдем мы руководящих указаний и с номографической стороны: «существенным, стоящим знания» для чисто идиографического интереса, интереса к индивидуальному в явлении, не может быть то, что закономерно повторяется во всех остальных явлениях того же порядка. Всегда только та часть индивидуальной действительности обращает на себя наше внимание, раз мы хотим познавать эту действительность идиографически, которая имеет для нас значение по своей культурной ценности, по своей связи с идеями культурной ценности (Kulturwertideen), с которыми мы подходим к действительности. Науки о культуре (Kulturwissenschaften) стремятся познать явления жизни именно с этой их стороны, со стороны их культурного значения.

Но «значение культурного явления в той или иной его форме и основание этого его значения не может быть заимствовано ни из какой самой совершенной системы понятий-законов, не может быть обосновано на ней и сделано понятным благодаря ей, потому что оно предполагает отнесение явлений культуры к ценностным идеям. Понятие культуры есть ценностное понятие (ein Wertbegriff). Эмпирическая действительность есть для нас «культура», потому что и поскольку мы ставим ее в отношение с ценностными идеями она обнимает те составные части действительности, которые через это отношение к ценностным идеям приобретают для нас значение, и только их. Малейшая часть рассматри-

ваемой нами в каждый данный момент индивидуальной действительности окрашивается нашим обусловленным этими ценностными идеями интересом, она одна имеет для нас значение, имеет его потому, что указывает на отношения, которые вследствие своей связи с ценностными идеями важны для нас; только потому, что это так, и поскольку это так, она в своем индивидуальном своеобразии имеет для нас научную ценность (ist... für uns wissenschaftlich).

«Но что имеет для нас значение, этого, конечно, не может раскрыть никакое «непредвзятое» (voraussetzungslos) исследование эмпирически данного, но его установление есть предпосылка к тому, что нечто становится предметом исследования. То, что имеет значение, и как таковое, конечно, не совпадает ни с каким законом, как таковым, и тем меньше, чем более общее значение (je allgemeingültiger) имеет этот закон. Ибо специфическое значение, какое имеет для нас та или иная составная часть действительности, находится, конечно, как раз не в тех из ее отношений, которые она делит с наиболее возможно более многими другими. Отнесение действительности к ценностным идеям, которые сообщают ей значение, и выделение и упорядочение окрашенных этим составных частей действительности с точки зрения их культурного значения есть совсем гетерогенная и диспаратная точка зрения наряду с анализом действительности на законы и упорядочением ее в общих понятиях»<sup>1</sup>).

Когда речь идет об обусловленности познания культурных явлений ценностными идеями, то это вовсе не значит, что культурное значение приписывается только имеющим ценность (wertvoll) явлениям, или что те или иные явления рассматриваются нами с точки зрения какой-нибудь определенной культуры. Здесь речь идет о чисто формально-логическом моменте. «Трансцендентальной предпосылкой всякой науки о культуре (Kulturwissenschaft) является ведь не то, что мы какую-либо определенную или вообще какую-либо «культуру» находим ценной (wertvoll), но то, что мы являемся культурными людьми (Kulturmenschen), одаренными способностью и волей сознательно становиться к миру в определенное отношение (bewusst zur Welt Stellung nehmen) и сообщать ему тот или иной смысл. Какой бы ни был этот смысл, он будет вести к тому, что мы в жизни определенные явления человеческого совместного существования оцениваем (beurteilen), исходя из него, к ним, как к имеющим

<sup>1</sup>) Max Weber. Die Objektivität sozialwissenschaftlicher und sozialpolitische Erkenntnis, стр. 175—176.

значение (положительное или отрицательное), становимся в определенное отношение. Каково бы ни было содержание этого отношения, эти явления имеют для нас культурное значение, на этом значении только и покоится их научный интерес»<sup>1)</sup>.

Как видно из сказанного, ценностные идеи «субъективны» и с ходом истории изменяются в связи с изменением характера культуры и владеющих людьми мыслей. «Но из этого все же, само собою разумеется, не следует, что и культурно-научное исследование может давать только результаты, которые субъективны» в том смысле, что для одного они имеют значение (gelten), для другого не имеют. То, что меняется, есть скорее степень, в какой они одного интересуют, а другого не интересуют. Другими словами: что становится предметом исследования, и как далеко это исследование простирается в бесконечность причинных связей, это определяют господствующие над исследователем и его временем ценностные идеи; в том, как в методе исследования руководящая «точка зрения» является, правда, как мы еще увидим, определяющей для образования понятий, которые он применяет как вспомогательные средства, но в способе их применения исследователь, само собою разумеется, здесь, как и везде, связан нормами нашего мышления. Ибо научная истина есть лишь то, что желает иметь значение (gelten will) для всех, кто желает истины»<sup>2)</sup>.

«Всякое познание культурной действительности всегда есть познание с какой-нибудь отдельной, специфически особой точки зрения (unter spezifisch besonderten Gesichtspunkten)» Всегда и везде сознательно или бессознательно производится выбор отдельных специальных «сторон» явления, ставшего предметом научного интереса, в соответствии с той или иной ценностной идеей, которая определяет этот интерес. Всякая попытка поставить наукам о культуре в виде конечной цели создание замкнутой системы понятий, в которую была бы заключена действительность, в каком-нибудь смысле окончательно расчлененная (in einer in irgendeiner Sinne endgültiger Gliederung) и из которой она затем могла бы быть опять дедуцирована, лишена смысла. «Бесконечный катится поток неизмеримого бытия (Geschehens) навстречу вечности. Все новые и иначе окрашенные возникают культурные проблемы, которые двигают людей, в связи с этим остается текучим круг того, что из того постоянно одинаково бесконечного потока индивидуаль-

<sup>1)</sup> Max Weber. Die Objektivität..., стр. 180—181.

<sup>2)</sup> Ibid, стр. 183—184.

ного получает для нас смысл и значение, становится «историческим индивидуумом». Меняются связи мыслей, с точки зрения которых он рассматривается и научно понимается. Исходные точки наук о культуре в связи с этим остаются изменчивыми и для безграничного будущего, пока китайское окостенение духовной жизни не отучит человечество ставить новые вопросы все одинаково неисчерпаемой жизни. Система наук о культуре даже только в смысле окончательного, имеющего объективное значение (*objektiv gültigen*), систематизирующего фиксирования вопросов и областей, заниматься которыми они должны бы были быть призваны, была бы сама по себе бессмыслицей (*ein Unsinn*): при такой попытке всегда может получиться лишь то, что окажутся рядом несколько специфически отдельных (*spezifisch besonderten*), между собою во многом гетерогенных и диспаратных точек зрения, с которых действительность каждый раз являлась или является для нас «культурой», т. е. в своем своеобразии полной значения» <sup>1</sup>).

«Объективное значение (*Gültigkeit*) всего опытного знания покоится на том, и только на том, что данная действительность упорядочивается с помощью категорий, которые в специфическом смысле субъективны, именно представляют собой предпосылку (*Voraussetzung*) нашего познания и связаны с предпосылкой ценности той истины, которую одно опытное знание могло нам дать. Для кого эта истина не представляет ценности (*nicht wertvoll ist*), — а вера в ценность научной истины есть продукт определенных культур, а не является чем-то, данным природой, — тому мы ничего не можем предложить средствами нашей науки. Конечно, он тщетно будет искать другой истины, которая заменила бы ему науку в том, что она одна может дать: в понятиях и суждениях, которые не представляют собою эмпирической действительности и не являются ее отображением, но позволяют мыслью упорядочить ее (*denkend ordnen*) приемлемым для всех образом (*in gültiger Weise*).

«В области эмпирических социальных наук о культуре, как мы видим, возможность осмысленного (*sinnvoller*) познания существенного для нас в бесконечном множестве (*Fülle*) совершающегося связана с беспрестанным применением точек зрения каждый раз специфически определенного характера (*spezifisch besonderten Charakters*), которые все в последней инстанции опираются на ценностные идеи (*ausgerichtet sind auf Wertideen*), которые, со своей стороны,

---

<sup>1</sup>) Max Weber. Die Objektivität, стр. 184—185.

правда, эмпирически констатируются и переживаются как элементы всякого осмысленного (sinnvollen) человеческого поступка (Handelns), но не могут быть обоснованы в своем значении (als geltend begründbar) из эмпирической материи. «Объективность» социально-научного познания гораздо больше зависит от того, что эмпирически данное постоянно ведь опирается (ausgerichtet) на те ценностные идеи, которые одни сообщают этому познанию его познавательную ценность, из них становится понятным в своем значении, но тем не менее никогда не делается пьедесталом для эмпирически невозможного доказательства его обязательного значения (ihrer Geltung). И во всех нас в той или иной форме живущая вера в сверхэмпирическое значение (Geltung) последних и самых высших ценностных идей, на которых мы укрепляем (verankern) смысл нашего существования, не исключает ведь беспрестанной изменчивости конкретных точек зрения, с которых эмпирическая действительность получает значение, но наоборот: жизнь в своей иррациональной действительности и ее богатства, в о з м о ж н ы м и значениями неисчерпаемы, те конкретные формы, какие принимает отношение к ценностям, остаются поэтому текучими, подверженными изменению и в скрытом от нас будущем человеческой культуры. Свет, который льют эти высочайшие ценностные идеи, падает каждый раз на постоянно меняющуюся конечную часть огромного хаотического потока происходящего (Geschehenissen), стремящегося через время»<sup>1)</sup>.

Из всего этого вовсе не следует, «чтобы в области наук о культуре не имело научного оправдания познание общего (des Allgemeinen), образование абстрактных родовых понятий, познание правильностей (Regelmässigkeiten) и попытка формулирования «закономерных» (gesetzlichen) связей. Как раз наоборот: если каузальное познание историка есть сведение (Zurechnung) конкретных следствий к конкретным причинам, то имеющее обязательную силу (gültige) сведение какого бы то ни было индивидуального следствия без применения «номологического» знания — знания правильностей причинных связей — вообще невозможно»<sup>2)</sup>.

Номологическое (номографическое) знание является необходимым средством при исследовании культурных явлений в их индивидуальности и, в частности, при выяснении причин каждого данного явления, но не целью. Причинное объяснение явления не

<sup>1)</sup> Max Weber. Die Objektivität, стр. 213—214.

<sup>2)</sup> Ibid., стр. 178—179.

есть, конечно, и с черпывающее причинное сведение (kausaler Regress) какого-либо конкретного явления в его полной действительности, что не только практически невозможно, но просто нелепо (Unding); «мы выбираем только те причины, к которым в каждом отдельном случае можно свести (zuzurechnen sind) «существенные» (wesentlichen) составные части явления: вопрос о причинах там, где речь идет об индивидуальности явления есть вопрос не о законах, но о конкретных причинных связях, вопрос не о том, под какую формулу подвести явление как экземпляр, но вопрос о том, к какой индивидуальной констелляции свести его (zuzurechnen) как результат; это — вопрос о сведении (Zurechnungsfrage)<sup>1)</sup>. Поскольку и лишь поскольку знание законов причинения (Verursachung) «облегчает и делает возможным это причинное сведение в своей индивидуальности имеющих культурное значение составных частей явлений к их конкретным причинам, постольку оно и ценно (wertvoll) для познания индивидуальных связей. И чем «общее» («allgemeiner), т. е. абстрактнее законы, тем меньше дают они для надобностей каузального сведения индивидуальных явлений и тем самым не прямо для понимания значения культурных явлений»<sup>2)</sup>. Для точной науки о природе «законы» тем важнее и ценнее, чем более общее значение они имеют (je allgemeingültiger sind sie), для познания же исторических явлений в их конкретности (in ihrer konkreten Voraussetzung) самые общие (allgemeinsten) законы, так как они самые бессодержательные (inhaltleersten), обыкновенно являются и самыми малоценными (wertlosesten). Ибо чем шире значение (die Geltung) родового понятия — его объем, тем более это понятие уводит нас от полноты действительности, потому что оно должно содержать в себе общее наивозможно большего числа явлений, должно быть наивозможно более абстрактным, следовательно, бедным содержанием (inhaltsarm). Познание общего (des Generellen) в науках о культуре никогда не имеет для нас ценности само по себе»<sup>3)</sup>.

Каждая наука работает с помощью понятий как своих орудий, с помощью которых она обрабатывает свой сырой материал. Является вопрос: какова логическая функция и структура понятий, с помощью которых обрабатывают свой материал науки о культуре?

<sup>1)</sup> Max Weber. Die Objektivität..., стр. 178.

<sup>2)</sup> Ibid., стр. 178.

<sup>3)</sup> Ibid., стр. 179—180.

Каково вообще значение теории и теоретических понятий для познания культурной действительности?

Если мы обратимся к абстрактной экономической теории, иначе теоретической экономии, то мы найдем там образцы построений (Synthesen), которые обыкновенно называют «идеями исторических явлений». Она дает нам идеальную картину (ein Idealbild) явлений на рынке при организации общества на почве менового хозяйства, свободной конкуренции и строго рациональной торговли. Этот мысленный образ соединяет определенные отношения и явления исторической жизни в свободный от противоречий космос мыслью строяемых связей. По своему содержанию эта конструкция носит характер утопии, которая получается путем мысленного выдвигания на первый план (durch gedankliche Steigerung) определенных элементов действительности <sup>1)</sup>.

Идеальный тип, каким является такая конструкция, дает нам возможность наглядно представить и понять в их своеобразии соотношения, которые в действительности констатированы нами или лишь предположены как в той или иной степени действующие. Благодаря этому идеальный тип может иметь цену, даже быть необходимым как в эвристических целях, так и в изобразительных. «Для исследования идеально-типическое понятие вышкочит способность сводить следствия к причинам (das Zurechnungsurteil schulen): оно не есть «гипотеза», но оно укажет направление образованию гипотез. Оно не есть изображение (eine Darstellung) действительного (des Wirklichen), но оно дает изображению средство однозначного выражения» <sup>2)</sup>.

По тем же совершенно логическим принципам, как и эта «идея» исторически данной современной организации общества на основе менового хозяйства, конструирована и идея «городского хозяйства» («Stadtwirtschaft») средних веков как «генетическое» понятие. Так построенное понятие «городского хозяйства» не есть среднее (Durchschnitt) во всех наблюдаемых городах фактически существовавших хозяйственных принципов, но также представляет собою идеальный тип (Idealtypus) и также «получается путем одностороннего выдвигания (Steigerung) одной или некоторых точек зрения и соединения множества рассеянных и раздельно существующих (diffus und diskret), здесь больше, здесь меньше, местами и вовсе не встречающихся отдельных

1) Max Weber. Die Objektivität..., стр. 190.

2) Ibid., стр. 190.

явлений (*Einzelerscheinungen*), которые подходят под эти односторонне выдвинутые точки зрения, в одну объединенную в себе мысленную картину (*Gedankenbild*). В его абстрактной чистоте (*in seiner begrifflichen Reinheit*) этот мысленный образ эмпирически нигде нельзя найти в действительности, он есть утопия, и для исторической работы возникает задача в каждом отдельном случае установить, как близко или как далеко от этого идеального образа стоит действительность, насколько, следовательно, характер экономических отношений определенного города может быть рассматриваем как типичный для понятия «городского хозяйства» (*als «stadtwirtschaftlich» im begrifflichen Sinn*)<sup>1)</sup>. Таким же точно образом можно конструировать «идею ремесла» как идеальный тип, «идею» капиталистического строя и даже капиталистической культуры.

Можно построить не один, но несколько и даже иногда очень много идеальных типов данного культурного явления или комплекса явлений, например, капиталистической культуры, и из этих утопий ни одна не окажется похожей на другую, не говоря уже о том, что ни одна из них не может быть наблюдаема в эмпирической действительности как фактически действующий (*geltende*) порядок общественных отношений, и в то же время каждая из них может претендовать на право считать себя изображением «идеи» капиталистической культуры, поскольку каждая из них фактически взяла известные в их своеобразии полные значения черты нашей культуры у действительности и создала из них единый идеальный образ.

И это вполне понятно: ведь те феномены, которые интересуют нас как культурные явления, могут иметь для нас это культурное значение в самых различных отношениях, говоря иначе, будучи относимы к самым различным ценностным идеям. Это разнообразие точек зрения, с которых мы можем рассматривать явления культуры, как имеющие для нас значение, и делает для нас возможным применять самые различные принципы выбора воспринимаемых в идеальный тип соотношений. Идеальный тип «есть мысленный образ, который не есть историческая действительность или даже «подлинная» (*«eigentliche»*) действительность, который еще гораздо меньше для того существует, чтобы служить в качестве схемы, в которую действительность в качестве экземпляра должна была

---

<sup>1)</sup> Max Weber. Die Objektivität..., стр. 191.

быть введена, но который имеет значение чисто идеального предельного понятия (*Grenzbegriffes*), к которому действительность для выяснения определенных имеющих значение составных частей ее эмпирического содержания примеривается, с которым она сравнивается. Такие понятия суть образы, в каких мы конструируем связи, применяя категорию объективной возможности, которые наша ориентированная и вышколенная на действительности фантазия рассматривает (*beurteilt*) как адекватные»<sup>1)</sup>.

Очень большую опасность представляет возникающее на почве натуралистических предрассудков смешение теории и истории, которое может принимать разные формы: теоретические построения, идеальные типы или рассматриваются как подлинное содержание, «сущность» исторической действительности, или служат в качестве Прокрустова ложа, на которое насильственно должна быть уложена история, или же «идеи» гипостазированы, как стоящая за потоком явлений «подлинная» действительность, как реальные «силы», которые проявляют себя в истории<sup>2)</sup>.

И эволюционные ряды (*Entwicklungen*) могут быть конструированы как идеальные типы, и эти конструкции могут иметь очень значительную эвристическую ценность. Но тут возникает еще большая опасность смешения идеального типа с действительностью, и нужно твердо помнить, что идеально-типическая конструкция развития и история суть строгому различию подлежащие вещи, и что конструкция является здесь лишь средством планомерно произвести имеющее обязательную силу сведение (*die gültige Zurechnung*) исторического явления (*Vorganges*) к его действительным причинам из круга по состоянию нашего знания возможных<sup>3)</sup>.

«Строгое соблюдение этого различения, как видно из опыта, часто необычайно затрудняется одним обстоятельством. В интересах наглядной демонстрации идеального типа или идеально-типического развития стараются их пояснить конкретным материалом из эмпирически-исторической действительности. Опасность этого самого по себе законного приема заключается в том, что историческое знание является здесь в роли слуги теории, а не наоборот. У теоретика является большое искушение или рассматривать

1) Max Weber. Die Objektivität..., стр. 194.

2) Ibid., стр. 195.

3) Ibid., стр. 204.

это отношение как нормальное, или, что еще хуже, смешивать теорию и историю и прямо заменять одну другою.

«Еще в более высокой мере это происходит тогда, когда идеальная конструкция развития с помощью теоретической (*begrifflichen*) классификации идеальных типов определенных культурных образований (например, форм промышленности, отправляющихся от «замкнутого домашнего хозяйства», или религиозных понятий, начинающихся с «минутных божеств», «*Augenblickgötter*») переребатывается в генетическую классификацию. По выбранным теоретическим признакам (*Begriffsmerkmalen*) возникающий последовательный ряд (*Reihenfolge*) типов является тогда как законом обусловленная необходимая историческая их последовательность. Логический порядок понятий, с одной стороны, и эмпирическое размещение (*Anordnung*) понятого (*des Begriffenen*) в пространстве, времени и причинной связи, с другой, являются тогда так связанными друг с другом, что искушение произвести насилье над действительностью, чтобы подтвердить реальное значение (*Geltung*) конструкции в действительности, становится почти непреодолимым»<sup>1)</sup>.

Ясно представляя себе логическую природу идеально-типических понятий и их функцию в науках о культуре, являющихся науками о культурной действительности, мы не можем не видеть, что «ни одна из этих мысленных систем (*Gedankensysteme*), без которых мы не можем обходиться, желая понять имеющие для нас в каждый данный момент значение составные части действительности, не может исчерпать ее бесконечного богатства. Ни одна из них не представляет собою ничего другого, как попытку на основе каждого данного состояния нашего знания и находящихся в данный момент в нашем распоряжении понятий (*begrifflichen Gebilde*) внести порядок в хаос тех фактов, которые мы привлекли в данный момент в круг нашего интереса. Мысленный аппарат (*der Gedankenapparat*), который развило прошедшее путем мысленной переработки, т. е. в действительности путем мысленного преобразования (*Umbildung*) непосредственно данной действительности и путем подведения ее (*Einordnung*) под те понятия, которые соответствовали состоянию ее познания и направлению его интереса, находится в постоянном расхождении с тем, что мы при новом познании можем и желаем получить из действительности.

<sup>1)</sup> Max Weber. Die Objektivität..., стр. 204.

В этой борьбе совершается движение вперед научной работы в области культуры. Ее результат есть постоянно совершающийся процесс преобразования тех понятий, в которые мы стремимся схватить действительность. История наук, занимающихся изучением социальной жизни, поэтому есть и остается постоянной сменой попытки путем образования понятий мысленно упорядочить факты — разложения таким путем полученных мысленных образов посредством расширения и сдвига научного горизонта — и образованием новых понятий на таком путем измененной основе. Здесь сказывается не ошибочность попытки вообще образовывать системы понятий — каждая наука, даже просто описательная история, работает с запасом понятий своей эпохи, — но в этом находит свое выражение то обстоятельство, что в науках о человеческой культуре образование понятий зависит от постановки проблем, а эта последняя меняется вместе с содержанием самой культуры. Отношение понятия к тому, что с его помощью становится понятным, в науках о культуре влечет за собою тленность (*Vergänglichkeit*) всякого такого построения (*Synthese*). Великие попытки конструкций в области понятий на территории нашей науки имели свою ценность обыкновенно как раз в том, что они раскрывали границы значения той самой точки зрения, которая лежала в их основе. Величайшие успехи в области социальных наук фактически (*sachlich*) связаны с перестановкой (*die Verschiebung*) практических культурных проблем и облекаются в форму критики образования понятий»<sup>1)</sup>.

Восходящая к Канту современная теория познания учит, что «понятия — скорее мысленные средства для цели духовного господства над эмпирически данным и только ими и могут быть»<sup>2)</sup>. Кто продумал до конца эту основную мысль этой теории, тот не может согласиться с теми историками, которые считают целью истории, как и всякой другой науки, переработку своего материала в систему понятий, содержание которых должно постепенно создаваться и совершенствоваться путем наблюдения эмпирических правильностей (*Regelmässigkeiten*), образования гипотез и их проверки, пока не возникнет когда-нибудь из этого «законченная» («*vollendete*») и поэтому дедуктивная наука, и поэтому видят в образовании и применении точных (*scharfer*) понятий лишь опрометчивое отодвигание этой цели в отдаленное будущее.

1) Max Weber. Die Objektivität..., стр. 207—208.

2) Ibid., стр. 208.

Не согласится он и с теми, в крови которых еще глубоко сидит антично-схоластическая теория познания, согласно которой понятия должны быть представляемыми отображениями (Abbilder) «объективной» действительности, и которые постоянно указывают на недействительность (die Unwirklichkeit) всех точных (scharfer) понятий. Для него то обстоятельство, что точные генетические понятия необходимо являются идеальными типами, не является возражением против их образования. Для него отношение между понятием и исторической работой представляется в обратном виде, для него понятия не цель, но средство к цели познания имеющих значение с индивидуальных точек зрения связей; как раз потому, что содержания исторических понятий необходимо изменчивы, они должны быть всякий раз необходимо точно (scharf) формулированы. Он только поставит требование, чтобы при их применении постоянно заботливо удерживался их характер как идеальных мысленных образований (Gedankengebilde), идеальный тип и история не смешивались бы между собою. Он будет верить, так как действительно окончательные (wirklich definitive) исторические понятия при неизбежной смене одних руководящих ценностных идей другими не могут быть принимаемы во внимание в качестве общей конечной цели (als generelles Endziel), что как раз тем, что для отдельной, в каждый данный момент руководящей точки зрения образуются точные и однозначные понятия, дана возможность в каждый данный момент ясно удерживать в сознании пределы их применимости (Geltung) <sup>1)</sup>.

### III

И Риккерт, и Макс Вебер слова «история», «исторический», «историческая наука» употребляют в очень широком значении. Всю действительность в самом широком, чисто логическом смысле можно назвать исторической, т. е. однократной и индивидуальной. Эмпирическая действительность, рассматриваемая с точки зрения общего, есть природа, а рассматриваемая с точки зрения частного — есть история. Все, что рассказывает нам о самой действительности, повествуя нам об однократном и индивидуальном, происшедшем в определенных пунктах пространства и времени, и называется историей, и если должна существовать наука об однократном и индивидуальном, она должна называться исторической наукой.

<sup>1)</sup> Max Weber. Die Objektivität, стр. 208—209.

Там, где наш интерес не удовлетворяется естествознанием в самом широком смысле слова, исключаящим, как мы знаем, из своих понятий все индивидуальное, мы обращаемся к истории. А ведь индивидуальное и однократное — это и есть сама действительность: действительно совершающееся (*wirklich geschehen*) есть лишь индивидуальное и однократное, и иным быть не может, и наука, которая говорит о самом однократном в действительности совершающемся, должна называться исторической наукой; если мы хотим что-нибудь знать об однократности, отдельности (*Besonderheit*) и индивидуальности действительно сущего (*des Wirklichen*), мы к ней должны и обращаться; она и есть наука о самой действительности (*Wirklichkeitswissenschaft*), как еще давно называл ее Зиммель.

Это чисто формальное определение истории и исторического Риккерт суживает, когда говорит о предметном содержании фактически существующей исторической науки, которая ведь занимается явлениями культурной действительности в ее индивидуальности и однократности. Не вся действительность является объектом исторической науки, а лишь та ее часть, которая может быть поставлена в ту или иную связь с культурными ценностями; не всякий «индивидуум», т. е. не «всякая однократная и особливая действительность», обращает на себя внимание исторической науки, а лишь «исторический индивидуум», т. е. такая однократная и особливая действительность, которая стоит в связи с теми или иными культурными ценностями. История есть индивидуализирующая наука о культуре, перерабатывающая свой материал, культурные явления в их индивидуальности, конкретности и однократности, «исторические индивидуумы» и в их индивидуальной связи с другими историческими индивидуумами в исторические понятия, т. е. понятия с индивидуальным содержанием, заключающим в себе как раз то, что характерно и существенно для индивидуальности данного исторического индивидуума и для его индивидуальных связей.

Если поставить вопрос о том: с помощью каких средств историческая наука достигает этой своей основной цели, то окажется, что чуть ли не единственным средством для Риккерта является отнесение изучаемых историком явлений к тем или иным культурным ценностям. В книге своей «Философия истории»<sup>1)</sup> он прямо говорит о методе отнесения к культурным ценностям как присущем наукам о культуре и отличающем их от наук о природе.

---

<sup>1)</sup> Г. Риккерт. Философия истории. Перев. с нем. С. Гессена. СПб, 1908.

Правда, он говорит, что и исторической науке необходимо пользоваться для своих индивидуализирующих надобностей общими понятиями как средствами, но он не входит в их рассмотрение, сосредоточивая все свое внимание на целях исторической науки, которые и определяют ее логическую природу.

Какое значение в науках о культуре имеет момент отнесения к культурным ценностям, об этом едва ли можно что-либо сказать в дополнение к тому, что, как мы видели, так блестяще выяснено Максом Вебером, который в то же время сделал не менее ясным, что господствующие в каждый данный момент и владеющие и исследователем ценностные идеи (Wertideen) определяют, что становится предметом исследования, и как далеко это исследование простирается в бесконечность каузальных связей, определяют и руководящую «точку зрения» для образования понятий, служащих вспомогательными средствами исследования, но в способе применения этих средств исследователь здесь, как и везде, само собой разумеется, связан общими нормами нашего мышления. Мы видели, как много внимания Макс Вебер посвятил этим вспомогательным средствам и к каким блестящим результатам он пришел, создав теорию идеальных типов.

Логическая природа исторической науки, ее целей и ее средств нам ясна теперь в ее основном существе. Индивидуализирующий и генерализирующий моменты представляются нам теперь в историческом исследовании в их соответствующем логической природе исторического и исторической науки соотношении. Индивидуализирующая по своим основным задачам и целям историческая наука, по своим средствам, является наукой генерализирующей. Ставя своей основной задачей познание культурной действительности в ее конкретности, индивидуальности и однократности, познание «исторических индивидуумов», она для достижения этой основной своей цели должна вырабатывать общие понятия, которые являются средствами, орудиями, необходимыми для познания индивидуальных явлений и процессов культурного развития.

Если называть понятиями и результаты исторического исследования, направленного на индивидуальное с целью познания его в его индивидуальном существе, то во всяком случае это не будут общие понятия, но понятия с иным, чисто индивидуальным содержанием, исторические понятия в подлинном смысле этого слова. Зато уж несомненно общими понятиями являются те понятия, с помощью которых сырая историческая действительность

перерабатывается историком в эти исторические понятия. Риккерт о них почти ничего не говорит, поглощенный всецело выяснением логического существа исторических понятий в подлинном смысле слова и их образования; Макс Вебер много на них останавливается и ярким светом освещает и их логическую природу, и их роль в исторической науке.

Идеальные типы Макса Вебера, как мы видели, находятся в близком родстве с построениями, так характерными для абстрактной экономической науки с ее изолирующим методом, рассматривающим явления и соотношения хозяйственной жизни данного типа вне связи с теми или иными индивидуализирующими историческими, конкретными условиями. Макс Вебер и сам вполне определенно на это указывает. Заслуга его состоит в том, что он ярко освещает логическую природу этих построений и подвергает их глубокой логической обработке, в результате которой домашнее средство абстрактной экономической теории превращается в тончайшее логическое орудие для самого широкого научно-культурного обихода, вносящее свет и методологическую ясность во все отрасли науки о культуре.

Идеальным типам Макса Вебера предстоит, несомненно, большая методологическая роль, и в настоящее время уже в достаточной мере заметная. Можно даже сказать, что творческое, а не пассивное только усвоение категории идеальных типов науками о культуре и сообщит им, наконец, ту методологическую ясность и определенность, в которой они так нуждаются, чтобы найти, наконец, себя, свое собственное лицо наряду с науками о природе, логический и методологический облик которых в достаточной мере ясен, и не тащиться больше в хвосте этих последних, наивно воображая себя их попутчиками и сотрудниками, призванными на материале человеческого общежития применять те же методы естественнонаучного исследования и открывать столь же непререкаемые законы общественной эволюции, фазисы и ступени, через которые обязательно должно проходить каждое человеческое общество.

Понятие закона было воспринято из естествознания, и без всякой критики усвоено представителями наук о культуре во всем его натуралистическом понимании и целиком перенесено на явления общественного развития в полной уверенности, что не может быть никаких принципиальных затруднений для «открытия» законов этого развития, его фазисов и ступеней, обязательных для каждого общества. При этом совсем не было принято во внимание,

что и в науках о природе безусловно необходимые соотношения между явлениями, т. е. законы в истинном смысле, могут быть констатированы лишь между возможно более простыми явлениями, к тому же искусственно выделенными экспериментальным путем из сложных индивидуальных комплексов, в состав которых они входят в живой действительности, что безусловно необходимым может быть вневременное и внепространственное, т. е. изолированное (в большинстве случаев, если не всегда, причинное) соотношение<sup>1)</sup>, что, следовательно, мысль «открыть» законы между явлениями такой колоссальной сложности, как явления социальные, и видеть их обязательно осуществляющимися, чтобы не сказать несущими свою обязательную службу во всяком человеческом обществе во всем его исторически обусловленном своеобразии, должна быть признана по меньшей мере опрометчивой.

Можно сказать, что до возрождения критической философии этот методологический натурализм господствовал во всех общественных науках, свою главную операционную базу имея в позитивной, по существу, натуралистической социологии, как она развивалась во Франции главным образом и в Англии в полной гносеологической невинности. Вторая половина прошлого столетия прошла для общественных наук под знаком эволюции и создала бесчисленное множество социологических построений, законов, фазисов, ступеней экономического, социального, политического, литературного, художественного, религиозного, лингвистического и всякого иного развития. Критическая философия и вдохновляемая ею историческая критика безжалостно разрушили и продолжают разрушать эти построения, наивно принимавшиеся за законы и в лучшем случае оказывающиеся более или менее удачными идеально-типическими понятиями, дававшими возможность разбираться в пестром и сложном материале исторической действительности, игравшими роль орудий для познания индивидуальной действительности тех или иных «исторических индивидуумов». Примером могут служить экономические ступени Карла Бюхера, о которых еще будет речь в дальнейшем.

Отказываясь от попыток искать законы, обязательные для каждого общества, и ступени, по которым обязательно движется развитие каждого общества, общественные науки все более и более

---

<sup>1)</sup> А. А. Чупров. Очерки по теории статистики. Второе изд. СПб, 1910, стр. 39—128 и Б. А. Кистяковский. Социальные науки и право. Москва, 1916, стр. 120—168.

склоняются к мысли, что те общие понятия, без которых не может обходиться в своем идиографическом обиходе ни одна общественная дисциплина как наука об общественной, культурной действительности, не могут претендовать на большее, как быть лишь идеальными типами, лишь орудиями для познания индивидуальной и однократной культурной действительности, для научного уразумения и истолкования «исторических индивидуумов».

Сама идея эволюции была в известной мере скомпрометирована в общественных науках после того, как самые, казалось, научные эволюционные схемы оказались в лучшем случае выстроенными в эволюционный ряд явлениями и формами, существовавшими одновременно (напр., работа на заказ и ремесло в собственном смысле в известной схеме Бюхера). Эволюционные построения, в таком изобилии появившиеся во всех областях обществоведения, были созданы в пылу увлечения эволюционной идеей и сравнительным методом, который представлялся волшебным средством, открывавшим все тайны общественной эволюции и устанавливающим ее незыблемые законы и ступени, особенно первобытные. Много здесь было веры и мало критики. В настоящее время и сама первобытность сильно скомпрометирована, будет ли это первобытность племен и народов, обитающих в разных частях Африки и Австралии и особенно популярных среди приверженцев сравнительного метода, или первобытность тех или иных форм аграрного, семейного, военного и всякого иного строя, существовавших в сравнительно ранний период истории европейских народов древнего и нового мира, не говоря уже о таких гораздо более поздних явлениях, как русская или индийская сельская община, когда-то служившие чуть ли не главным аргументом в пользу существования обязательного для всякого человеческого общества аграрного коммунизма как исходной точки его общественного развития.

Идея эволюции слишком прочно укоренилась в нашем сознании, стала чуть ли не одной из основных категорий нашего мышления, наряду с категориями пространства, времени, причинности, чтобы могла быть речь об отказе от нее в науках о культуре. Но мы уже более наших предшественников умудрены научно-историческим опытом, более осторожны в обращении с историческим материалом, применяем к нему более утонченные критические приемы, рассматриваем каждый факт в его индивидуальном контексте, в котором только он и имеет тот или иной живой смысл. Поэтому мы не так скоро, не так стремительно и не так охотно устанавливаем

между явлениями эволюционную связь, выстраиваем отдельные факты в эволюционные ряды, предпочитая этому кропотливую, строго методическую индивидуализирующую работу над самым материалом исторической действительности, с помощью нами же конструируемых общих понятий, имеющих характер всего лишь идеальных типов, этих поистине путеводных огней, освещающих путь в сложном и запутанном лабиринте совершающегося и ведущих нас к распознаванию и к познанию культурно-ценных для нас «исторических индивидуумов». Логическая структура идеальных типов, как она выяснена Максом Вебером, и их органическая связь с ценностными идеями, им же установленная, вполне гарантируют успешность этой задачи, раз мы будем приступать к ней вооруженные всеми приобретениями научной исследовательской техники и методологии и стоя на высоте культурных интересов и достижений своей эпохи.

Общественная наука, или наука о культуре, есть лишь общее название для целого ряда научных дисциплин, изучающих разные стороны культурной действительности, и число этих научных отраслей все увеличивается и будет увеличиваться с развитием культуры и ее ценностей, направляющих ученое внимание на все новые и новые явления и соотношения социальной жизни. Каждая из этих дисциплин, поскольку она является наукой о культурной действительности, ставящей своей основной задачей изучение тех или иных «исторических индивидуумов» в их индивидуальности и однократности, должна наряду с этой основной, чисто идиографической задачей, ставить себе и другую, чисто генерализирующую, номографическую в широком смысле, по существу побочную, но от этого не менее настоящую, задачу — образование общих понятий, без которых ее основная, чисто идиографическая задача является совершенно невыполнимой. Эти общие понятия являются для нее средствами, орудиями познания культурной действительности, распадающейся для нее на ряды тех или иных «исторических индивидуумов» в зависимости от тех определенных ценностных идей, с точки зрения которых данная научная отрасль интересуется культурной действительностью.

Дифференциация научных отраслей обществоведения может развиваться и в другом направлении, выделяя идиографическую и номографическую функции той или иной социальной дисциплины в самостоятельные отрасли (теоретическая экономика и история хозяйственного быта, этнология и этнография, история литературы

того или иного общества и наука о литературных формах, история государственных учреждений той или иной страны и политика в стиле политики Аристотеля, наука о государственных формах и их эволюции, история живописи или других изобразительных искусств того или иного общества и наука об эволюции художественных форм и т. п.). Но это чисто внешнее обстоятельство дела не меняет. Между разделившимися научными отраслями продолжает существовать и без вреда для каждой из них не может не существовать теснейшая формальная (логическая) и материальная (предметная) связь: ведь каждая из них мыслима только при наличии другой, и нормальное и плодотворное функционирование каждой из них возможно лишь при условии теснейшего общения их друг с другом, без которого им грозит опасность выродиться, с одной стороны, в бесформенную грудку бессвязных фактов, неизвестно, для какой надобности собранных кропотливым трудом лишенного всяких перспектив ученого, а с другой — в бесплодную итру абстракциями, лишь редко и случайно соприкасающимися с действительностью, вместо того, чтобы быть строго методической переработкой самой действительности в адекватные ей и ее объясняющие общие понятия.

Являясь по своему общему логическому существу идеальными типами, эти общие понятия социальной науки могут в то же время различаться между собой по степени своей абстрактности, своей удаленности от конкретной и индивидуальной действительности, по степени своей утопичности. Но прежде несколько слов о самом образовании идеальных типов.

Никто не станет отрицать той роли, которую сыграл изолирующий метод в развитии науки теоретической экономики и созданные с его помощью чисто дедуктивным путем идеально-типические конструкции. Поворот в сторону историзма, осуществленный исторической школой в политической экономике, расширил поле наблюдений у представителей экономической науки и приучил их глаз к индивидуальному, превращая их иногда почти что в подлинных историков, исследователей «исторических индивидуумов» экономического порядка. Но если мы обратимся к тем общим понятиям, с помощью которых они обрабатывали и до самого последнего времени продолжают обрабатывать исторический материал, то нетрудно заметить, что конструированы эти понятия все тем же дедуктивным путем, с помощью того же изолирующего метода; мы уже не говорим о приемах самой обработки исторического материала:

и в этом отношении знакомство экономистов с историками было очень далеко от интимности и дальше признания *de jure* не пошло; неудивительно, что и сами экономисты вполне определенно различают историков, изучающих хозяйственный быт, и экономистов, истолковывающих историческую действительность<sup>1)</sup>.

Подлинными историками экономисты, за очень редкими исключениями (самое блестящее из них — Макс Вебер, автор знаменитой «*Römische Argargeschichte*» и еще более замечательной «Аграрной истории древнего мира», не говоря о других его исторических работах), не стали, заняв довольно своеобразную позицию авторов «историко-систематических» трудов, в которых довольно случайно выбранный исторический материал, оставленный совсем без всякого критического рассмотрения и в совершенно сыром виде, должен иллюстрировать общие конструкции, долженствующие схватывать основное существо хозяйственного уклада той или иной исторической эпохи, построенные чисто априорным путем самим автором или взятые из арсенала ходячих общих понятий, чтобы не сказать общих мест, и вовсе не являющиеся результатом тщательной, строго методической обработки исторического материала, к данной эпохе относящегося, с помощью давно выработанных приемов исторической науки, в строго научные общие исторические понятия, вполне адекватные той исторической действительности, для истолкования которой они предназначены.

Экономисты выразили охоту вступить в ряды историков тогда, когда историческая наука в виде еще сравнительно слабо дифференцированной «истории», обнимавшей собою едва ли не все стороны исторической жизни того или иного народа или даже ряда народов, уже давно стала наукой, обладавшей очень тонкими приемами исследования своего материала, и могла гордиться очень славными именами на поприще изучения древнего и нового мира, и им было у кого и чему поучиться в новой для них области. Но для этого надо было совсем отрешиться от закоренелых привычек и приемов работы, которые, несомненно, вполне у места в области абстрактной экономической теории, но которые совсем не соответствовали задачам чисто исторического исследования, за которое они взялись, и для которого давно уже были выработаны свои приемы. Но, чтобы вполне овладеть этими приемами, весьма сложными и тонкими, надо было вплотную засесть за подлинную историческую

---

<sup>1)</sup> Петр Струве. Теория политической экономии и история хозяйственного быта. СПб, 1912.

подготовку, скромно пойти на выучку к историкам. Этого не произошло (за очень редкими, впрочем, исключениями).

Не удивительно, что между подлинными историками и принимающими за ремесло историков экономистами постоянно возникают недоразумения. Достаточно вспомнить полемику между Карлом Бюхером и Эдуардом Мейером и Беловым по вопросу о ступенях экономического развития древнего мира и средних веков, пререкания Зомбарта с Дюпшем по вопросу о средневековом вотчинном капитализме<sup>1)</sup>. В основе всех этих споров лежит столкновение между двумя совершенно различными по своей логической природе приемами разрешения одной и той же научной, чисто исторической задачи: выяснения индивидуального и однократного процесса экономического развития того или иного общества в тот или иной период его истории. В то время, как подлинные историки центр тяжести своей работы видят в тщательном исследовании памятников во всей индивидуальности каждого из них, с целью услышать индивидуальный голос каждого из них, чтобы нарисовать затем картину соответствующих явлений и процессов во всей их жизненной сложности и неповторяющемся своеобразии, экономисты не утруждают себя такими утомительными изысканиями, не проявляя ни интереса к ним, ни уменья их вести, да и не видя в сущности в них надобности, и предпочитают им общие схемы и конструкции, построенные чисто дедуктивным путем и принимаемые ими за подлинную историческую действительность, которую они должны были реконструировать и объяснить; схемы эти и конструкции из служебных орудий работы превращаются у них в ее главную цель; построенные не путем кропотливой, чисто исторической работы над источниками и над материалом, извлеченным из источников, они и в качестве вспомогательных средств исторического исследования не могут быть признаны удовлетворительными, неадекватные той исторической действительности, которую они должны объяснять. Конечно, у людей талантливых, вкладывающих в такую чисто дедуктивную работу, чаще всего бессознательно, свой конкретный, не методически воспринятый опыт, такие схемы и конструкции иногда (но далеко не всегда) оказываются ценными приобретениями исторической науки, конечно, лишь как схемы и конструкции, лишь как вспомогательные средства для научного исследования, лишь как более или менее удачные идеально-типич-

<sup>1)</sup> Grünberg's. Archiv für die Geschichte des Sozialismus und der Arbeiterbewegung, X Jahrg., 2—3 Heft. 1919, стр. 330—382.

ческие построения, которые, конечно, были бы гораздо ценнее, если бы они являлись результатом строго методической исследовательской исторической работы.

Примером могут служить категории Бюхера. Сам Бюхер видел и продолжает видеть в них ступени экономического развития обществ по крайней мере Западной Европы, и их истинная идеальность типическая природа ему недостаточно ясна; не говорим уже о размещении этих ступеней по историческим эпохам, очень уж пренебрежительно игнорирующем индивидуальное лицо каждой из этих эпох. Лишь после очень и очень серьезных отговорок и ограничений историческая наука признала известное научное значение за бюхеровскими категориями. Мы еще вернемся к ним. Не отрицая чисто абстрактного, дедуктивного момента в образовании общих понятий, которые необходимы как вспомогательные средства, орудия для исторического, по существу чисто индивидуализирующего, идиографического изучения, историческая наука хотела бы ввести его в скромные рамки чисто служебного приема, намекающего общее направление чисто индуктивному исследованию, дающего в руки исследователю руководящую нить, предварительного набрасывающего общий гипотетический рисунок того общего понятия, которое должно быть конструировано в результате строго методического изучения данного явления или соотношения в возможно большем количестве индивидуальных случаев.

Общие понятия в исторической науке, имеющие характер идеальных типов, различаются между собою по степени своей отвлеченности, своей удаленности от конкретной и индивидуальной действительности, по степени своей утопичности. И понятия с индивидуальным содержанием, образование которых является основной задачей исторической науки, как науки об индивидуальном и однократном, и в которых должна быть «схвачена историческая сущность действительности» (Риккерт), исторические понятия в собственном смысле, как бы ни было значительно количество конкретного и индивидуального, в них заключающегося, также в той или иной мере удалены от исторической действительности в ее необозримом многообразии, заключая в себе лишь ограниченное число, лишь некоторые из черт, совокупность которых составляет конкретное содержание «исторического индивидуума», являясь также результатом стилизации, упрощения исторической действительности, представляя собою также в той или иной мере абстракции. Самое простое и бесхитрое описание исторического факта

выбирает лишь самые характерные для него черты, оставляя в стороне все остальные, мало или вовсе ничего не дающие для понимания его в его культурно-ценной с той или иной стороны индивидуальности.

И понятия с индивидуальным содержанием, исторические понятия в собственном смысле, также различаются между собою по степени своей отвлеченности. Достаточно поставить рядом простое описание исторического факта и изображение его в его индивидуальном историческом контексте, в его индивидуальной каузальной (причинной) связи с другими «историческими индивидуумами», чтобы это стало совершенно очевидным. А если мы обратим внимание на такие исторические работы, которые ставят себе задачу дать общую картину эволюции, например, поместного или деревенского или городского строя той или иной страны в тот или иной период ее истории (назовем «Средневековое поместье в Англии» Виноградова или его Villainage in England») и для этого исследуют материал, относящийся к целому ряду поместий, деревень или городов каждой данной страны в соответствующий исторический период, то, не выходя еще за пределы индивидуального, исторического, оставаясь еще в определенных, хоть и широких, границах пространства и времени, мы в то же время поднимаемся уже на значительную высоту над непосредственно данной индивидуальной и конкретной исторической действительностью и прокладываем себе путь к общим историческим понятиям. Еще дальше мы подвижемся в этом направлении, если зададимся целью нарисовать общую картину хозяйственной, социальной или политической (да и всякой иной) эволюции Западной Европы, например, в средние века или в новое время, внося в эту картину то общее, что можно наблюдать в эволюции каждой из стран Западной Европы, и отмечая все индивидуальное (такую задачу ставит себе Зомбарт в «Современном капитализме» и отчетливо ее формулирует во введении к новому изданию своей книги; в какой мере удовлетворительно он ее разрешает, — это другой вопрос).

Идя таким путем, мы подходим вплотную к общим историческим понятиям. Феодализм средневековой Европы, феодальное поместье европейского средневековья, средневековый европейский город, греческий полис классической эпохи, — все это уже общие понятия, но еще не порвавшие связи с исторической, т. е. индивидуальной и однократной действительностью и поэтому продолжающие сохранять право на название понятий исторических, все

это уже общие исторические понятия; содержание их уже является общим, так как они применимы не к одному однократному и индивидуальному явлению, а к целому ряду явлений того же порядка, и в то же время они еще не перестали быть индивидуальными, так как эти понятия применимы лишь к совершенно определенным в смысле числа, места и времени случаям, к тому же в общей совокупности составляющим некий очень обширный и сложный исторический индивидуум, именуемый средневековой Европой или древним миром классической поры.

Такие общие исторические понятия можно называть также историческими категориями. Они представляют собой идеальные типы, но в отличие от отдельных типов экономистов, образующих свои идеально-типические конструкции чисто абстрактным путем, «путем мысленного выдвигания на первый план определенных элементов действительности», путем искусственного выделения их из живого индивидуального комплекса действительности и соединения их в свободный от всяких индивидуализирующих моментов и противоречий абстрактно чистый идеальный образ, они должны быть построены в виде завершения очень сложных строго методически поставленных исследований целого ряда «исторических индивидуумов», должны явиться результатом строго научной исторической работы, вооруженной всеми методологическими и техническими приобретениями исторической науки. В качестве идеальных типов исторические общие понятия, иначе исторические категории, имеют характер утопий, не соответствуя никакой исторической действительности во всем необозримом многообразии ее индивидуальных форм, разделяя, впрочем, общее качество утопий и с более близкими к живой индивидуальной и однократной действительности научными построениями, о которых выше была речь.

Выясняя основное содержание и смысл споров, которые велись и до сих пор ведутся между историками и экономистами о степенях хозяйственного развития и которые особенно ярко разгорелись с выходом известной книги Карла Бюхера «Возникновение народного хозяйства», П. Б. Струве видит причину победы Эдуарда Мейера, выступившего против Бюхера с не менее известной работой «Экономическое развитие древнего мира»; в том, что хозяйственные ступени Бюхера представляли собой исторические категории, которые к тому же ставились им и другими на место картин исторической действительности. «Очевидно, вообще противоречиво и несостоятельно понятие систематических категорий, носящих исторический характер..

И замечательно и, конечно, совершенно не случайно, что, будучи логически несостоятельно, оно совершенно безжизненно». Не удивительно, что созданные экономистами для истолкования разных исторических эпох особые категории, систематические и исторические в одно и то же время, «насилуют живую историческую действительность вместо того, чтобы объяснять ее», думает П. Б. Струве и стремится элиминировать самое понятие «исторических категорий», как вызывающее, по его мнению, недоразумения и вносящее в истолкование прошлого вместо прежних антиисторических предрассудков им противоположные «исторические предрассудки» вроде того, что первобытный человек есть существо антихозяйственное, и что даже средневековому производителю чужды те основные и весьма простые мотивы, которыми движется современная хозяйственная жизнь. Экономическая история, иначе история хозяйственного быта, — категорически заявляет он, — должна обрабатывать и истолковывать фактический материал истории экономических отношений при помощи основных систематических категорий политической экономии, потому что «именно эти не исторические, а систематические схемы гораздо более удобны и плодотворны для историка, чем чисто исторические схемы Бюхера; они более удобны и плодотворны именно потому, что, будучи чисто систематическими, они гораздо эластичнее и пластичнее всяких исторических схем»<sup>1)</sup>.

Едва ли можно согласиться с этой низкой оценкой методологического значения исторических категорий, и нам кажется, что вызвана она недостаточно внимательным отношением П. Б. Струве к логической структуре этих категорий. Не в том дефект бюхеровских ступеней хозяйственного развития, что они — исторические категории, а в том, что они недостаточно, чтобы не сказать псевдоисторические категории, что они вышли из лаборатории экономиста-теоретика, привыкшего к чисто дедуктивному мышлению и своими чисто логическими построениями, отправляющимися от единого принципа, стремившегося уловить общий характер хозяйственной эволюции по крайней мере народов Средней и Западной Европы в ее главных фазисах и уверенного, что «только таким путем можно установить общие черты, скажем смело — законы развития»<sup>2)</sup>, что они не продукт строго методического, чисто исторического исследо-

<sup>1)</sup> Петр Струве. Теория политической экономии и история хозяйственного быта. СПб, 1913.

<sup>2)</sup> К. Бюхер. Возникновение народного хозяйства. Перев. с 5 нем. изд. под ред. И. М. Кулишера. Вып. первый. СПб, 1907, стр. 79.

вания огромного материала, относящегося к целому ряду «исторических индивидуумов», что они не адекватны исторической действительности, не являются ее идеально-типическим образом и поэтому не могут служить пригодным средством для ее истолкования, а скорее насилуют ее и даже становятся на ее место.

Каждая логическая утопия — и историческая, и чисто систематическая — имеет каждая свою вполне определенную компетенцию, и из того, что ими пользуются неправильно, несоответственно их логической природе и их методологическому назначению, вовсе не следует, что их надо отвергнуть. Вопрос лишь в том, чтобы они были правильно построены и были адекватны той исторической действительности, из которой и для которой они построены, и чтобы при их применении к истолкованию исторической действительности их не выводили из пределов их компетенции. Методически правильно построенные и правильно применяемые исторические, как и чисто систематические, категории «пресекут в корне всякую возможность насилия теории над историей, идеально-типических понятий и конструкций над реальным многообразием и многоцветностью действительности», как и «предохранят от пагубного отождествления систематических идеальных схем с историческим заполнением их в конкретной действительности»<sup>1)</sup>. Элиминировать из научного обихода так называемой истории хозяйственного быта исторические категории вообще потому только, что оказались неудачными бюхеровские категории, претендовавшие на роль исторических категорий и недостаточно ясные самому их творцу со стороны их логической природы, нет достаточного основания. Ведь это значит лишить эту ищущую свое логическое лицо научную дисциплину одного из главных орудий познания.

Мы не думаем, чтобы для выполнения ею ее основной задачи как одной из отраслей исторической науки, вполне достаточным было иметь в своем распоряжении в качестве средств и орудий одни лишь систематические, чисто абстрактные и абстрактным лишь путем построенные категории абстрактной политической экономии: по своему происхождению они слишком тонкими нитями связаны с исторической действительностью, которую они должны истолковывать, и слишком универсально общи, чтобы давать возможность исследователю «исторических индивидуумов» вполне удовлетворительно справляться со своей научно-исторической, по существу

---

<sup>1)</sup> Петр Струве. Теория политической экономии и история хозяйственного быта. СПб, 1913.

чисто индивидуализирующей, идиографической задачей. Не отрицая их значения и в этой области, мы отводим главное место в арсенале научных орудий экономической истории, как и всех других отраслей исторической науки, историческим категориям, а также родственным им и по своему чисто научному историческому происхождению и по своей логической природе к а т е г о р и я м с о ц и о л о г и ч е с к и м.

Полюсом социологической категории является историческое понятие с индивидуальным содержанием, или историческое понятие в собственном смысле (вспомним Риккерта), применимое или относящееся к одному определенному «историческому индивидууму», ближе всего стоящее к исторической действительности, тогда как социологическая категория дальше всего от нее удалена. Между этими крайними точками расположен едва ли не бесконечный ряд переходных ступеней в порядке убывающей конкретности и возрастающей общности, удаленности от индивидуальной исторической действительности, утопичности. Если историческая категория при всей своей утопичности все же еще продолжает оставаться хотя и в очень уже широких, но все же еще достаточно определенных границах исторической действительности, то категория социологическая уж совсем выходит из пределов места и времени и высоко парит над индивидуальной исторической действительностью и в то же время ярким светом освещает ее индивидуальное своеобразие, являясь чистым предельным понятием, одинаково успешно применимым ко всем социальным явлениям данного порядка, где бы и когда бы они ни возникали, собирающем в себе признаки, присущие данному социальному образованию в его существовании, в его основной природе, безотносительно к месту и времени, в пределах которых оно возникло и развивалось каждый раз в качестве однократного исторического индивидуума.

Социологическая категория есть самый идеальный тип, самая утопическая утопия, и в то же время именно она возникает в результате научной переработки самого обширного и самого разнообразного конкретного исторического материала, относящегося к возможно большему количеству случаев, чтобы не сказать ко всем известным случаям, существования и развития данного социального явления или соотношения. В том-то и заключается максимальная познавательная сила социологических утопий, что они опираются на самый широкий фундамент опытного знания, имея под собою самую широкую основу тщательно методически исследо-

ванного исторического материала, и благодаря этому свет, от них исходящий, освещает самые широкие пространства и проникает в самую глубину индивидуального, исторического существования.

Формулируя наблюдаемые в массе случаев причинные соотношения социального порядка (поскольку они их формулируют), социологические понятия могут приближаться к социологическим законам. Логически эта возможность вполне допустима; но к осуществлению ее путь трудный и тернистый; ее можно лелеять лишь как мечту, в виде светлой точки, мерцающей вдали и указывающей общее направление, в котором должна вестись сложная работа исторического исследования, трезвого и реалистического, ясно различающего свои цели и свои средства, свои орудия, которые оно само должно для себя вырабатывать из своего собственного материала в виде идеальных типов, общих понятий разной степени отвлеченности, но в равной мере ясных и отчетливых, со строго ограниченной компетенцией.

Современная историческая наука очень нуждается в таких ясных и отчетливых общих понятиях со строго определенной компетенцией. Недостаточное внимание исследователей к логической природе применяемых ими общих понятий тормозит научную работу и порождает частые недоразумения и споры, не приводящие к удовлетворяющим спорящих результатам. Спорящие как будто говорят на одном и том же языке, употребляют одни и те же слова, но обозначают ими не одни и те же понятия. Нередко наблюдается при этом как раз недостаточно ясное разграничение социологических категорий и категорий исторических, к тому же часто очень далеких от ясности и отчетливости; историческим категориям навязывается «непосильная для них теоретическая служба», иными словами, их заставляют играть роль категорий социологических, отрывая их от той, хотя и широкой, но все же вполне определенно ограниченной в смысле времени и места среды, в пределах которой они возникли и в пределах которой они только и применимы, и перенося их в другую, столь же, а то и еще более индивидуальную историческую обстановку.

Едва ли будет большим преувеличением, если мы скажем, что это обстоятельство является одним из главных источников недоразумений и споров по основным вопросам исторического развития, затрудняя правильную их постановку и их приемлемое для всех решение. Те общие понятия, которыми пользуется современная историческая наука, вообще мало удовлетворяют тем требованиям,

которые следует пред'являть к ним, как к орудиям строго научного исторического познания, и они должны быть подвергнуты самой тщательной критической проверке и логической обработке, которая и выяснит их логическую природу и их методологическую ценность.

Тогда и станет ясным, что, например, понятие «капитализм» может иметь не только то содержание, с каким оно циркулирует в широком ученом обороте, нося в себе все признаки чисто исторической категории, адекватной лишь капиталистическому строю Европы и внеевропейских стран XIX и XX веков в его индивидуальности, но и более широкое, считающееся с капиталистическим развитием и средневековой Европы, и древнего мира и со всеми другими случаями капиталистического хозяйства, какие только поддаются нашему наблюдению, и тем сообщающее понятию «капитализм» совершенно определенный характер социологической категории с присущими ей вневременностью и внепространственностью; тогда перестанет вызывать недоумение и «вотчинный капитализм» (*der grundherrliche Kapitalismus*) средневековой Европы, которым Дюпш так шокировал экономистов (да и не их одних) и дал им повод усомниться в его знакомстве с элементами теоретической экономики. И понятие «феодализм» перестанет быть ребусом, который каждый толкует на свой лад, чем-то чрезвычайно широким и чрезвычайно неопределенным, во что каждый, в меру своего разумения, вкладывает то или иное содержание, и приобретет все качества строго научного понятия с вполне определенным содержанием; все неправомерно осложняющие его и затемняющие его существо, чуждые его государственно-правовой природе элементы отпадут; с другой стороны, будут надлежащим образом учтены многочисленные случаи феодального развития, далеко выходящие за пределы средневековой Европы и свидетельствующие о том, что едва ли можно назвать такое общество в древнем мире и в новое время, которое не переживало бы в том или ином виде феодализма, и «феодализм» из категории чисто исторической, к тому же логически необработанной и загроможденной совершенно посторонними элементами, превратится в категорию определенно социологическую с вполне ясным содержанием, в качестве чистого идеально-типического понятия вполне пригодную для цели научного познания индивидуальных явлений феодального порядка. Тогда и изучение русского феодализма быстро двинулось бы вперед, и исчезли бы все те недоразумения, которые стоят в теснейшей связи с отсутствием определенности и ясности в понятии «феодализм», как оно обычно применяется в ученом обиходе.

Нуждается в такой же переработке и понятие «городского хозяйства» (Stadtwirtschaft). Не говоря уже о том, что и как чисто историческая категория это понятие далеко от определенности и ясности, — а та ясность и определенность, с какими оно является у самого Бюхера, делает его мало пригодным для сколько-нибудь широкого употребления для научно-исторических надобностей, суживая его до значения бледного силуэта мелко-провинциального немецкого города, слишком захолустного и для средневековой Европы, — еще дальше оно от этого и тогда, когда его применяют, выходя за пределы средневековых отношений и тем сообщая ему характер категории социологической или во всяком случае заставляя его играть социологическую роль. А между тем в науке имеется уже не мало исторических наблюдений, которые могли бы быть обработаны в более строгие идеально-типические понятия, как исторического, так и социологического типа. Укажу, в частности, на очень тонкие и глубокие наблюдения Рицлера над явлениями городского хозяйственного развития древней Греции, раздвигающие рамки понятия городского хозяйства как исторической категории, адекватной городским отношениям средневековой Европы (поскольку она им адекватна) в направлении социологическом. Этими примерами далеко, конечно, не исчерпывается совокупность тех общих понятий, которые крайне нуждаются в строгой логической обработке, чтобы служить вполне пригодными орудиями для исторического познания в качестве ли категорий исторических, или в качестве категорий социологических. А ведь без этих общих понятий историческое познание совершенно немыслимо, как бы ни были разработаны чисто технические приемы исторического исследования.

#### IV

Предшествующее изложение с достаточной, как нам кажется, ясностью поставило проблему так называемой социологии в ее отношении к истории и в то же время и проблему самой истории, как особой, имеющей будто бы свою собственную определенную сферу ведения науки в отличие от специальных исторических дисциплин, проблему так называемой чистой истории. Генерализирующее изучение исторической жизни не только возможно, но и совершенно необходимо в интересах чисто идиографических, в интересах познания «исторических индивидуумов» в их индивидуальности и однократности, что и является основной задачей исторической науки. Без об-

щих понятий историческое познание немыслимо, и историку приходится вырабатывать их в своей собственной лаборатории, вооружившись всеми приемами и методами исторического исследования.

Если генерализирующее изучение исторической жизни, приводящее к образованию общих исторических понятий, исторических и социологических категорий, признать задачей социологии, то из всего, о чем шла речь выше, ясно, что историк, чтобы стоять на высоте своей чисто индивидуализирующей задачи, должен быть в то же время и социологом. Если история есть общее название для все увеличивающегося ряда специальных исторических дисциплин в их идиографическом аспекте, поскольку, следовательно, они преследуют свою основную задачу — научное познание «исторических индивидуумов» в их индивидуальности и однократности, то социология есть общее название для тех же исторических дисциплин в их генерализирующем, иначе номографическом аспекте, поскольку, следовательно, они вырабатывают орудия, средства, необходимые для их основной цели, т. е. общие понятия, необходимые им для их идиографических надобностей. Каждая отдельная историческая дисциплина является, таким образом, и историей, и социологией. Другой истории и другой социологии нельзя себе представить, строго держась занятой нами общей логической позиции в отношении к наукам о культуре.

Освобождаясь от диктатуры методологического натурализма, подорванной критическим выяснением их логической природы, исторические науки все более и более проникаются сознанием пределов своих генерализирующих возможностей и ясно видят всю беспочвенность и иллюзорную претенциозность неоднократно делавшихся и делаемых и теперь попыток теперь же создать науку об обществе, о законах и ступенях его развития или по крайней мере заложить ее основы в твердой уверенности, что на этом фундаменте не в далеком будущем будет высится стройное здание науки, ничем не уступающей в общеобязательности своих законов любой науке о природе. Логически идея такой общественной науки вполне допустима, но лишь как отдаленнейшая цель, как идеал, направляющий кропотливую, строго методическую исследовательскую работу, ставящую себе вполне определенные и вполне достижимые цели, направленную на выяснение генезиса и развития тех или иных «исторических индивидуумов» в их однократности и индивидуальности и на образование общих понятий, необходимых в качестве орудий для этой индивидуализирующей работы. Эти общие понятия

исторической науки не могут претендовать на большее, как быть лишь идеальными типами изучаемых явлений, предельными понятиями, к которым должна быть примеряема индивидуальная, однократная и конкретная историческая действительность, чтобы стать понятной в своей индивидуальности, конкретности, однократности.

В таком самоограничении исторической науки, проистекающем из ясного сознания ею своей логической природы и, следовательно, и своих генерализирующих возможностей, залог ее успехов в познании социальной действительности в ее историческом, индивидуальном и однократном облике и гарантия возможного для нее ее номографического уразумения.

Все более и более дифференцируясь на все увеличивающийся ряд отдельных исторических дисциплин с присущими каждой из них индивидуализирующими и генерализирующими, иначе — идиографическими и номографическими функциями, историческая наука, правильно развиваясь в раз'ясненном выше направлении, должна тем самым ввести в свои пределы и ассимилировать себе, приобщить к своим давно выработанным ею строгим приемам научного исследования, научить критике и анализу источников, осторожности и осмотрительности в пользовании ими для конструирования и истолкования исторической действительности те отрасли социального знания, которые возникли и развивались в стороне от исторической науки, вдали от всех ее формальных (методических и методологических) и предметных достижений, по-своему ставили и разрешали проблемы познания социальной действительности, но, рано или поздно почувствовав и даже в той или иной мере сознав свою историческую основу, должны были стать на путь исторического изучения и идти по этому незнакомому трудному пути неуверенными, а чаще слишком смелыми шагами.

Все растущая дифференциация исторической науки в то же время не может являться отрицанием широких исторических построений, охватывающих самые различные стороны жизни таких «исторических индивидуумов», как нация, государство, та или иная эпоха человеческой культуры и т. п. Как раз наоборот: она делает их еще более возможными и более соответствующими строгим научным требованиям, подводя под них прочный фундамент результатов целого ряда специальных изучений отдельных сторон жизни того или иного «исторического индивидуума». История древнего Востока, история Египта в ту или иную эпоху его истории, история

Ассирии или Вавилона, история Персии, история древнего Израиля, история Греции, история Рима, история средневековой Европы, история Англии, Франции, Германии, история России и т. д. и т. д., все эти столь привычные для нас «истории» ничуть не страдают в результате естественной дифференциации исторической науки, а лишь станут на еще более научную почву, широко пользуясь всеми и формальными (методическими), и предметными достижениями отдельных исторических дисциплин, в их индивидуализирующем и в их генерализирующем аспекте.

СОУНБ им. В. Г. Белинского  
<http://book.ugraic.ru/>

## ГЛАВА ПЕРВАЯ.

### *О НЕКОТОРЫХ ПРЕДРАССУДКАХ И СУЕВЕРИЯХ, ТОРМОЗЯЩИХ РАЗВИТИЕ НАУКИ СРЕДНЕВЕКОВОЙ ИСТОРИИ.*

Едва ли можно назвать другую отрасль исторической науки, которая бы переживала в настоящее время такой острый кризис, какой переживает средневековая история и, прежде всего, хозяйственная и социальная история средневековой Европы. Без преувеличения можно сказать, что самые основы господствовавших в ней долгое время концепций вконец расшатаны критической работой последних десятилетий, и некогда, еще не так давно, казавшееся незабываемым ее общее построение уже лежит в развалинах. Когда-то оно в полной мере удовлетворяло научную пылкость, вполне соответствуя тем общим точкам зрения, которые были выдвинуты наукой и жизнью еще в первую половину девятнадцатого века и определили основные линии научного развития на все столетие. Вот его основные пункты.

С падением Западной Римской империи древний мир кончился, и на его развалинах началась новая жизнь на новых, принесенных германцами, началах. Чрезвычайно резко выраженные социальное расслоение и социальное и политическое порабощение сменились свободой и равенством экономическим, социальным и политическим.

Лежавший в основе господствовавшего в римском мире социального неравенства принцип частной индивидуальной собственности на землю уступил свое место принципу коллективной собственности, нашедшему свое конкретное воплощение в принесенной германцами сельской общине, марке, обеспечивавшей каждому свободному германцу равную долю в земле и ее благах и равное положение и равную роль в обществе и государстве.

«Записки» Цезаря и «Германия» Тацита не оставляют на этот счет никаких сомнений, рисуя нам яркую картину едва ли не земного рая, осуществленного германцами по соседству с римским миром и в его назидание. Лишь мало-по-малу, на протяжении длинных веков, картина эта стала меняться. Но эти перемены дали себя знать лишь в каролингскую эпоху, к девятому веку, и то благодаря особым обстоятельствам, приключившимся в правление каролингской династии и произведшим резкие изменения в социальном и хозяйственном строе восстановленной в 800 году империи, создавшим и в ней крупное землевладение, тот поместный строй, который имел такое огромное значение и в подлинной Римской империи в IV и V столетиях, как, впрочем, и во все другие периоды ее существования. Раз возникнув, поместный строй средневековой Европы стал играть определяющую роль и в хозяйственной, и в социальной, и в политической ее жизни, перестроив ее совершенно по-новому. Общинная Европа стала вотчинной, свободная и равноправная масса стала крепостной; центральная власть распалась, и наступило феодальное многовластие.

Не удивительно, что при таком понимании хода средневекового развития центром научного внимания стала феодальная вотчина, ее генезис, ее хозяйственная, социальная и политическая организация и ее роль в истории западно-европейского общества и государства. Раз вотчина заняла всю территорию каждого государства и вобрала в себя едва ли не весь его социальный материал, то вся дальнейшая эволюция Европы представлялась прежде всего как эволюция феодальной вотчины, ее разложение или перерождение с той или иной ее стороны. Не говоря уже об истории крестьянства, хозяйственной и социальной, история городского развития понималась в тесной связи с историей феодального поместья, и не только в смысле освободительной роли города, вбиравшего в свой гражданский состав крепостных феодальных вотчин, но и в смысле эволюции городского права и городских учреждений из вотчинного права и вотчинных учреждений, по существу, как думали, крепостных. И само государство, и его организация понимались как видоизменение и расширение вотчинного, по существу крепостного режима. Не удивительно, что аграрная история, история землевладения, прежде всего и главным образом крупного, выдвинулась на первый план: ведь в ней видели ключ к пониманию всего процесса общественного и политического развития средневековой Европы — сначала всему давала тон и все определяла свободная община, а затем ее сменила в этой роли крепостная вотчина.

К тому же городская жизнь, город лишь с XI — XII века начинает давать о себе знать. До тех пор если город и существовал, то в экономическом смысле существование его не имело никакого значения, не внося никаких изменений в структуру и жизнь вотчины, которая обладала полным хозяйственным самодовлением, не нуждаясь в городе, сама нужная ему как лишь потребительному центру, неспособному еще отвечать ей экономически, продуктами городской промышленности, тогда еще не существовавшей. Город был тогда административным центром, светским и церковным, резиденцией графа и епископа, местопребыванием соборного капитула или монастыря. Население его было разнообразно по своему составу, но все его элементы были так или иначе связаны, лично или служебно, с представителями светской или церковной администрации, с теми или иными церковными или светскими учреждениями; если и были здесь ремесленники, то они были крепостными, обслуживавшими лишь своих господ ровно так же, как это делали крепостные ремесленники в деревенских вотчинах. Деревенские вотчины и в этом отношении обладали полным хозяйственным самодовлением, располагая целыми кадрами крепостных ремесленников самых различных специальностей, объединенных в соответственные группы, будущие цехи.

Отсутствие обмена являлось естественным следствием этого самодовления и характерной и основной особенностью хозяйственного строя средневековой Европы в течение ряда столетий, по крайней мере в том смысле, что хозяйственная жизнь вотчины (а ведь она сосредоточила в своих пределах всю хозяйственную жизнь любой страны) направлялась не интересами обмена, а исключительно интересами потребления, носила характер натурального, безобменного, потребительного хозяйства, безотносительно к тому было ли это хозяйство крестьянское, или хозяйство барское. Если вотчина снабжала продуктами сельского хозяйства город, то происходило это не в порядке обмена, а на совсем иных основаниях: все эти продукты доставлялись из вотчин, принадлежавших графу, епископу, соборному капитулу, монастырю и другим жившим в городе сеньерам. Хозяйственное самодовление вотчины являлось основой и ее политической независимости, как вотчины феодальной, над населением которой ее владелец осуществлял также и права политического верховенства, судебную, фискальную и административную власть, видя в короле, стоявшем во главе всего государства, лишь первого между равными и не более того.

Итак, господство натурального и безобменного хозяйства, хозяйственная и политическая независимость вотчин, в которых сосредоточилась вся хозяйственная жизнь средневековой Европы, отсутствие до XI — XII века городов, как центров промышленности и торговли, крепостное порабощение вотчинной крестьянской массы, политическое, феодальное раздробление страны, как результат ее хозяйственной, натурально-хозяйственной раздробленности, — вот основные пункты постепенно сложившейся общей концепции средневекового строя, долгое время ни в ком не вызывавшие сомнений и превратившиеся в непоколебимые догматы научной веры. Один из этих догматов — господство в средневековой Европе натурального и замкнутого хозяйства — стал ключом чуть ли не ко всем проблемам средневековой истории, светочем, освещавшим все стороны строя и жизни средневекового общества. Натуральное хозяйство было признано крупнейшими представителями исторической науки «широкой основой, на которой были построены все учреждения эпохи», эпохи, когда «местные силы общества стремились к непосредственному потреблению продукта на месте», когда «торговый обмен и денежные сделки играли совершенно подчиненную роль»; казалось ясным, что «натуральное хозяйство на своей земледельческой стадии ведет к аристократической военной системе, так как оно влечет за собою отделение класса, постоянно занятого земледельческим трудом, от класса, постоянно занятого военным делом. Профессиональный солдат, естественно, становится лордом профессионального рабочего»<sup>1)</sup>.

Любопытно и характерно, что приведенные утверждения взяты из книги, стоящей на очень далеком расстоянии от ныне господствующего у нас философско-исторического течения, а между тем автор ее говорит, как видим, языком, близким и понятным именно этому течению. Совершенно независимо от этого течения складывавшаяся общая концепция средневекового строя и средневекового развития подошла, и не подозревая того, совсем близко к чистейшему экономизму в своем понимании средневековых отношений, и произошло это, как мы видели, без влияния какой-либо философско-исторической теории, которая бы объединяла всех, кто содействовал возникновению этой концепции, а в результате органического срастания отдельных моментов научного развития в общую картину. Только уже после того, как эта общая

<sup>1)</sup> Paul Vinogradoff. *Englisch Society in the Eleventh Century*. Oxford, 1908, стр. 87—89.

концепция окончательно сложилась, под нее была подведена обща- теоретическая основа, но также, впрочем, далекая от философско- экономической доктрины, хотя и исходившая из экономически- кругов, и тогда она стала достоянием широкой публики, войдя в качестве одного из элементов в историко-экономическую схему Бюхера, столь популярную и далеко за пределами экономической науки. Хозяйственный строй средневековой Европы, как он был истолкован историографией XIX века, явился для Бюхера типиче- ской картиной замкнутого домашнего хозяйства, представлявшего собою первую ступень в его трехчленной схеме экономического раз- вития, проходящего через стадии замкнутого домашнего хозяйства, городского хозяйства и хозяйства народного. Правда, «городско- хозяйство» также находит свои самые отчетливые и самые типиче- ские черты в средневековом городе; но в изображении Бюхера это «городское хозяйство» средних веков совсем недалеко ушло от зам- кнутого домашнего хозяйства, в котором оно к тому же, в его пред- ставлении, находится в прямом и близком родстве

Благодаря Бюхеру натурально-хозяйственная концепция средне- вековой Европы стала достоянием широких кругов и еще более укреп- пилась в своем значении научного догмата и стала обязательно- предпосылкой для всякого специального исследования, имевшего в виду выяснить то или иное явление средневекового развития. О популярной литературе нечего уже и говорить. Элементарность хозяйственной жизни и хозяйственного строя средневековой Евро- пы уже не вызывала сомнений, как и резкое своеобразие всего ее обще- ственного и политического уклада, сводившееся к этой ее хозяй- ственной примитивности, находившей свое об'яснение в катастрофе случившейся с древним миром, который пал под ударами германцев, разрушивших древнюю культуру и утвердивших на ее развалинах свой первобытный строй и характерные для него формы хозяйствен- ного, социального и политического существования.

Средневековая Европа представлялась каким-то совершенно- замкнутым в своем своеобразии миром, замкнутым в отношении к древнему, и к новому миру, вопреки прочно утвердившейся в умах идее эволюции, так смело и много говорившей о фазисах и ступенях культурного развития человечества и о преемственности создавае- мых им общественных форм. Переход от средневекового строя к строю нового времени представлялся в сущности радикальной ломкой все- сторон тогдашнего общественного и государственного уклада, резко- заменой одного порядка отношений другим, едва ли не прямо проти-

воположным ему: натуральное хозяйство сменялось денежным, хозяйственная замкнутость и самодовление уступали место широкому обмену, приводившему отдельные хозяйства в тесную связь с рынком и друг с другом, крепостная связанность крестьянской массы заменялась ее раскрепощением, свободой от барщины, переведенной на денежные платежи, и свободой личной. Наряду с поместьем, все более и более воздействуя на его хозяйственный и социальный строй, появляются город, как центр промышленности и торговли, вырабатывающий свой особый общественно-правовой политический порядок, прямую противоположность вотчинному строю. Феодалная раздробленность, являвшаяся полным отрицанием широкого государственного порядка, уступает место широким политическим образованиям бюрократического типа, представляющим собою полную противоположность средневековой, по существу вотчинной, государственности. Мы уже не будем говорить о резкой ломке психологии средневекового человека, до тех пор чуждого будто бы жизнерадостности и вечно погруженного в безотрадную тоску сокрушения о своей греховности, незнакомою будто бы с неудержимой жаждой обогащения, характерной для капиталистического духа нового времени, и потому и по этой причине неспособного создать капитализм и капиталистическую культуру, и вообще невозможную в замкнутой хозяйственной обстановке средних веков, теперь сразу почувствовавшего и оценившего красоту и благо земной юдоли и с неудержимой энергией направившего все проснувшиеся силы своей воскресшей к новой жизни души на создание и умножение материальных и духовных ценностей и на открытие и расширение новых путей к личному обогащению и к увеличению национального богатства.

Концепция эта далеко не утратила еще своего обаяния, и не только в популярной литературе. Достаточно назвать самое последнее, четырехтомное издание «Современного капитализма» Зомбарта, чтобы не оставалось сомнений, что даже авторы, имеющие в виду прокладывание новых путей в науке экономической истории, продолжают идти очень старыми путями, пренебрежительно игнорируя указания тех, кто предостерегает их, что пути эти давно пора оставить, что они могут привести лишь к старым заблуждениям, уже разоблаченным.

И действительно, все основные пункты этой концепции в результате критической работы последних десятилетий оказались заблуждениями, в свое время казавшимися совершенно беспспор-

ными достижениями исторической науки, опиравшимися на не вызывавшие сомнения общие предпосылки, но в настоящее время обнаружившими всю свою научную несостоятельность и иллюзорность. Начать с того, что сама проблема перехода от древнего мира к новому, и прежде всего к средневековому, получила совсем иную постановку, исключая мысль о катастрофе и о возникновении на развалинах древней культуры, культуры совершенно новой, вносящей в жизнь Европы чуждые древности «начала». О германцах более ранней поры мы уж мыслим более реально, освобождаясь все более и более от призраков, созданных определенно в социальном смысле настроенной фантазией ученых конца XVIII века и первой половины XIX столетия, увлекавшихся идеями равенства имущественного, социального и политического, проецированными в отдаленное прошлое. Германцы не уничтожали ни самого римского населения, ни его аграрных и социальных порядков. Они селились рядом и среди римского населения, размежевываясь с ним и не внося совершенно непохожих на римские аграрных и социальных порядков, связанных с общиной, маркой, потому что этих порядков не было и у них самих, и эта столь прославленная германская марка существовала лишь в ученом воображении историков, но не в аграрной и социальной действительности древних, описанных Цезарем и Тацитом германцев, которые вполне и давно были знакомы и с частной собственностью на землю, и с крупным землевладением, и с социальным неравенством, и были исконными земледельцами, а отнюдь не номадами и в общем далеки были от так называемой первобытности, какой она рисовалась воображению историков.

С другой стороны, и римской деревне были не чужды и аграрные порядки, которые считались неотъемлемой особенностью германского деревенского уклада и составляли будто бы характерные черты их общинного строя: и чересполосица, и общий выпас (comrasua), и та или иная доля деревенского общественного самоопределения и самоуправления. Римский мир и мир германский в течение ряда веков самыми различными способами и путями соприкасались друг с другом и воздействовали друг на друга, и новая европейская культура явилась не отрицанием древней, а продуктом развития, отправлявшегося от взаимодействия и взаимопроникновения культуры древней и культуры германской, той культуры, которую выработали германцы за долгие века своего существования перед тем, как они появились на осве-

ценной сцене европейской истории. Сравнительно с древней эта германская культура была, конечно, весьма элементарна, но во всяком случае она далека была от той первобытности, какую ей до самого последнего времени приписывало большинство исследователей, видевших в германцах, как они изображены у Цезаря и Тацита, носителей свободы, равенства и социальной справедливости, не ведавших частной собственности на землю и всех вытекающих из нее социальных и политических последствий.

В действительности древние германцы знали так называемое общественное неравенство во всех возможных тогда видах. В частности, знали они и неравенство экономическое и были хорошо знакомы с крупным землевладением и с крупным поместьем. Крупное землевладение и крупное поместье представляют собою исконное явление в хозяйственной жизни германцев, и, окончательно поселившись на римской территории и образовав здесь ряд так называемых варварских королевств, германцы лишь дальше пошли в направлении к социальной дифференциации, и крупное землевладение получило ряд новых могущественных стимулов к своему развитию, действовавших с полной силой во все периоды средневековой истории, не говоря уже о том, что и среди романского населения варварских королевств оно продолжало существовать и развиваться, не встречая никаких помех в новой государственной обстановке<sup>1)</sup>.

Приглядываясь более пристальным и незатемненным на веру принятыми доктринами взглядом к строению, к хозяйственным и социальным порядкам средневекового крупного поместья и к политической позиции его владельца, мы уже не видим здесь всего того, что представлялось в нем самым характерным и своеобразным приверженцам господствующей еще общей концепции средневекового строя. Ни о замкнутости поместья в хозяйственном отношении, ни о натуральном хозяйстве барского двора и дворов крестьянских не может быть и речи: и барский двор, и дворы крестьянские во все периоды средневековой истории в той или иной мере связаны с рынком, преследуют в своей хозяйственной деятельности коммерческие цели и работают на сбыт, и хлебная торговля занимает очень важное место в жизни средневекового общества, затрагивая очень важные интересы и производителей, и потребителей. Потребителями этими являются как жители деревень, не имеющие возможности иметь собственный хлеб, следовательно, люди, добывающие средства к суще-

<sup>1)</sup> Alf. Dopsch. Wirtschaftliche und soziale Grundlagen der europäischen Kulturentwicklung. I—II. 2-e Aufl. 1923.

ствованию неземледельческим трудом, — а таких было в те времена не мало, — а также жители городов, которые и в эпоху самого раннего средневековья играли вовсе не такую незначительную в экономическом смысле роль, какую им приписывали до самого последнего времени, и уже тогда имели в составе своего населения далеко не одних владельцев загородных вотчин и на их иждивении находящихся их зависимых людей, но также и работающих на заказ и на рынок ремесленников и торговцев. Крупное поместье предстало перед нами во всей широте и разнообразии своих хозяйственных задач и интересов, и стало возможным поднимать вопрос даже о «вотчинном капитализме».

Но и социальный облик крупного поместья оказался гораздо сложнее, чем его представляли. Крупное поместье вовсе не было тем жерновом, который перемалывал в однообразную крепостную массу все социальные элементы, которые попадали в сферу его влияния. Поскольку владелец его был наделен всеми ресурсами феодальной власти, власть эта, по существу чисто политическая, не производила никаких радикальных перемен в социальном строе подвластного ей населения и не меняла личного status'a (состояния) зависимых от нее людей, не превращала зависимых в политическом или земельном смысле людей в лично несвободных, крепостных, и на вотчинной территории мы находим самые разнообразные виды и разновидности зависимых отношений; с другой стороны, даже самые зависимые люди поместья, лично несвободные сервы, далеко не являются простыми хозяйственными орудиями владельца поместья, но несут достаточно определенные повинности барскому двору, оставляющие им весьма значительную меру хозяйственной свободы, им и членам их семей, и необходимой для этого свободы передвижения. О прикреплении к земле в смысле римского колоната не может быть здесь и речи: на территории любой вотчины мы постоянно встречаем крепостных чужих сеньеров, снимающих здесь землю на тех или иных условиях, а то и поступающих на службу на барский двор. Средневековой деревне присуща большая подвижность, ничего общего не имевшая с приписываемой ей крепостной окаменелостью.

Средневековая деревня, и попав в сферу влияния вотчинного режима, продолжала оставаться живым организмом, самыми разнообразными нитями связанным с внешним миром и его интересами. И политическая позиция владельца вотчины далеко не была так независима, как утверждали, и он, как общее правило, являлся не больше как служилым человеком, наделенным политическими

полномочиями лишь в качестве члена военного и правящего государственного сословия, одного из политически соподчиненных государственных сословий обширного государственного целого, между которыми центральная власть распределила государственное тягло. О политической независимости средневековой вотчины так же мало можно говорить, как и об ее экономическом, натурально-хозяйственном самодовлении.

Проблема генезиса средневекового города и городского строя приняла также совершенно иной характер. Не говоря уже о том, что историю средневекового города следует начинать гораздо раньше, чем ее начинали до сих пор, относя начало городского развития к XI — XII векам, и вести ее непрерывно от римских времен, имея в виду как римские города, и с ликвидацией империи не прекращавшие своего существования и в экономическом смысле, так и города чисто германские, существовавшие у германцев едва ли не с незапамятных времен в виде административных, судебных, военных, но также в той или иной мере и хозяйственных центров племенных территорий, и сама эта история представляется нам в совершенно иной перспективе, и социальной, и экономической.

Для представителей так называемой вотчинной теории (*hofrechtliche Theorie*), которые рисовали, как мы видели, социальный уклад средневекового поместья в терминах крепостного права, а его хозяйственную жизнь — в терминах натурального и замкнутого хозяйства, возникновение городов в средневековой Европе являлось экономической и социальной революцией, создавшей совершенно новые формы общественного существования, пробившей огромную брешь в крепостной твердыне, освободившей целые кадры крепостной массы и прежде всего вотчинных ремесленников, превративши их в свободных граждан вольных городов. Для представителей вотчинной теории ведь не существовало сомнения, что и городские кушцы, и ремесленники, и формы их организации, как и формы городского устройства и управления вообще, что все это берет свое начало в крепостной вотчине и из нее и из ее распорядков только и объяснимо. Для нас уже звучат чем-то архаическим ожесточенные споры, которые велись между адептами этой доктрины и их противниками, которые путем строгого анализа данных источников победоносно выбивали их из всех их позиций, успешно доказывая им, что их представления о ремесленном крепостном населении вотчинного двора крайне преувеличены, что крепостные ремесленники городского сеньера продолжали оставаться крепостными долго и после

того, как вполне уже сложился свободный город со всеми его хозяйственными, социальными и правовыми особенностями, что в источниках нет никаких данных, свидетельствующих о существовании организаций среди крепостных ремесленников барских дворов, из которых будто бы возникли городские ремесленные цехи, что городской административный строй никакой связи с организацией крепостных вотчин не имеет, как и городское хозяйство с замкнутым домашним хозяйством этих последних, к тому же никогда не существовавшим, что городское население возникло не из крепостных ремесленников городского сеньера, а из самых различных социальных элементов и прежде всего из свободных экономически и лично или только экономически зависимых людей и прежде всего ремесленников самых различных вотчин, которые поселялись в городе и становились его свободными гражданами. В настоящее время все это не вызывает уже никаких сомнений, вотчинная теория в ее целом отошла уже в прошлое, и мы должны отпираться, желая понять происхождение средневекового городского строя и его эволюцию, от тех представлений о средневековой деревне, которые рисуют деревенскую Европу раннего средневековья не каким-то мертвым царством, где все сковано мертвящей рукой феодальной власти, где невозможно никакое свободное движение, где все введено в неподвижные рамки, где деревня от деревни отделена китайской стеной.

Мы должны раз навсегда освободиться от совершенно нереальных представлений и об элементарности средневекового социального строя вообще и строя средневековой деревни в частности, далекой от той недифференцированности крестьянской, будто бы почти сплошь крепостной массы, какую находила в ней вотчинная теория, исходя из своего общего представления о нивеллирующей роли вотчинной власти в отношении к социальному материалу, который попадал в сферу ее влияния.

Средневековой город и в самые ранние периоды своего существования являлся органической частью живого и сложного по своему строению тела всего тогдашнего общества, и поэтому мы находим в нем все социальные элементы этого общества. И в самую раннюю пору мы находим здесь и церковных землевладельцев, и светскую знать, и простых свободных, и военных людей, и купцов, занимающих иногда целые кварталы (и не только иностранцев, но и туземцев), и ремесленников, и наемных рабочих, и несвободных. Перед тем, как появиться на страницах городских грамот XI — XII века, город уже прожил долгую и вовсе не бедную содержанием

жизнь, и то, что мы находим в нем в эпоху так называемого (и весьма неопределенно) «городского движения», есть результат и продукт очень нередко сложной и многообразной эволюции, связанной со всей внутренней и внешней историей каждой данной страны и области. Городское развитие средневековой Европы станет еще яснее, если мы воспользуемся тем, что дает нам городское развитие древнего мира. Достаточно сослаться на «Город» Макса Вебера и на его экскурс в его «Аграрной истории древнего мира», чтобы видно было, какой яркий свет проливает оно на средневековый город во всем разнообразии его форм и их особенностей.

Требуем пересмотра и давно поставленная в центре интереса к средневековому развитию проблема феодализма, претерпевшего немало перипетий в своей ученой судьбе и до сих пор их претерпевающего, в результате чего с понятием «феодализм» соединяется целый ряд нередко несогласуемых друг с другом признаков, в общей своей совокупности образующих некий комплекс, весьма далекий от ясности и определенности, столь необходимых для научного понятия. Слова «феодальный» и «средневековой» стали, можно сказать, синонимами и в ученом обиходе, и за его пределами, и трудно назвать такое явление из жизни средневековой Европы, на котором бы не нашли феодального отпечатка, будет ли это государственный порядок той или другой страны, ее социальный строй или хозяйственные распорядки, характерные для ее крупных поместий. Развивавшийся в последние десятилетия все более и более интерес к социальной и экономической истории в связи с традиционным аграрным уклоном историографии XIX века, изучавшей средневековое общественное и политическое развитие, дал проблеме феодализма социально-экономическую постановку, превратил ее в проблему социальной и хозяйственной истории, поставив феодализм в теснейшую связь с хозяйственным строем средневековой Европы, каким он представлялся и представляется последователям вотчинной концепции во всех ее разновидностях, но также и их противникам, несогласным с некоторыми сторонами их теории, но в главном в сущности стоящим с ними на одной плоскости и признающим вместе с ними определяющую роль поместья в строе и жизни средневекового общества. Феодализм оказался теснейшими узами связанным с господствовавшим будто бы в средневековом обществе натуральным хозяйством, нашедшим будто бы свое самое законченное выражение и самую совершенную организацию в феодальном поместье с его мнимой хозяйственной замкнутостью и самодовлечением.

Не удивительно, что все внимание исследователей направилось на изучение роста крупного землевладения в средневековой Европе и на хозяйственные распорядки поместья и на его социальный строй. Организация барского двора и барского хозяйства, наделная система, разновидности крестьянских держаний, система обработки земли, способы удобрения, барщинные повинности и оброки, общинные распорядки, чересполосица, система открытых полей, коммутация, деревенский сход, юридические и хозяйственные различия между разными группами зависимого населения поместья, — все эти и подобные им вопросы стали главными темами исследований по истории феодализма. Феодализм, можно сказать, всецело был передан в ведение экономической и социальной истории. «Феодальное хозяйство» явно стало базисом феодального общества и государства, и существо феодализма становилось понятным как продукт прежде всего экономической эволюции. При этом мы имеем в виду не популярные работы, исходящие от определенной историко-философской доктрины, а настоящие строго научные исследования, иногда очень высокой ценности. Выше мы приводили вполне определенные заявления в этом смысле одного из крупнейших представителей западно-европейской историографии, едва ли нуждающиеся в комментариях.

Тщательное изучение роста крупного землевладения и всестороннее исследование поместного строя средних веков и само по себе имеет огромное научное значение, и в то же время оно очень углубило наше понимание общего процесса средневекового развития. В немалой мере оно способствовало и выяснению феодализационного процесса на западе Европы, его социальных предпосылок, роста той социальной дифференциации, которая создала аристократическую структуру средневекового общества, сделавшую возможной его феодальную организацию, как своеобразную форму государственного устройства и управления, и привела к резкому расчленению общества на социальные группы, которые были затем организованы государством в систему политически соподчиненных государственных сословий, несших каждый свое государственное тягло, функцию, необходимую для существования государства и для выполнения им своих основных задач по обеспечению внешнего и внутреннего мира.

Аристократический строй общества в форме господства крупных землевладельцев над массой, связанной с ними узами частной власти (патроната) и частной зависимости и весьма нередко и зависимости земельной, еще не феодализм, а лишь та социальная обста-

новка, в которой при известных политических и общекультурных условиях может возникнуть феодализм как известная форма государственного устройства и управления, с своей стороны вызывающая те или иные социальные и даже хозяйственные последствия. Крупный землевладелец становится феодалом, а его поместья — феодальными поместьями только с того момента, когда он получает от верховного носителя государственной власти часть этой власти в отношении к сидящему на территории его владений населению, состоящему из весьма различных элементов, начиная от его крепостных, лично несвободных людей, живущих на барском дворе или на земельных наделах и несущих барщины и оброки, продолжая свободными арендаторами, связанными с ним еще и как со своим патроном, которому они коммендировались, и кончая совершенно независимыми мелкими землевладельцами, участки которых благодаря чересполосице соприкасаются с его землей. Изучение средневекового землевладения и хозяйства и, в частности, крупного поместья и его хозяйственной организации и социальной структуры в разные моменты их эволюции выясняет социальные предпосылки феодализма, но не самый феодализм в его существе и даже устраняет всякие сомнения относительно того, что, и став феодальным, крупное поместье очень мало изменилось и в своей хозяйственной организации, и в своей социальной структуре. Искать разгадки существования феодализма на территории экономической и социальной истории едва ли правильно: проблема феодализма не есть проблема экономической и социальной истории, как ни близко она с ней соприкасается.

Прочно укоренилось также представление с несовместимости феодализма с широкой государственной организацией, как двух исключających друг друга политических порядков. Феодализм привыкли понимать как результат разложения настоящей государственной организации, процесс феодализации — как болезнь, разъедающую государственное тело. Разложение монархии Карла Великого и государственное раздробление монархии первых Капетингов и других государственных образований, возникших в результате распада каролингской империи, обыкновенно приводятся в качестве ярких иллюстраций этой мысли. Несомненно, феодальная организация государства таит в себе, в своей социальной структуре, опасности для государственного единства и наряду с другими условиями и обстоятельствами может привести к ослаблению центральной власти и даже к ее упразднению, и указанные факты действительно

являются яркими к тому иллюстрациями, свидетельствующими о том, что феодализм при наличии известных условий может выродиться в политический партикуляризм, что при утрате равновесия между центральной властью и представителями так называемой (и весьма неточно) «частной» власти может произойти ослабление общих государственных связей и превращение представителей государственной власти на местах, и в том числе и носителей так называемой «частной» власти, по крайней мере самых могущественных из них, в почти или вполне самостоятельных князей, а их административных округов и феодальных владений в почти или вполне самостоятельные государственные территории. Феодализм есть определенная форма государственного устройства и управления, организуемая центральной государственной властью в восполнение своих административных, в широком смысле, ресурсов, путем привлечения к общей государственной работе представителей социально и экономической силы и кристаллизовавшихся вокруг них социальных образований, путем огосударствления сложившихся в сфере влияния подлинной частной власти общественных организаций.

Не разложение, а сплачивание государственного организма происходит в процессе феодализации. Все общественные силы в том виде, в каком они сложились в результате социальной дифференциации, были постепенно организованы государственной властью в систему политически соподчиненных государственных сословий, обязанных каждое нести свое тягло на пользу государственного целого, осуществляя таким образом путем сложного сотрудничества принцип разделения государственного труда. И система эта существовала и выполняла поставленные ей государственной властью задачи до тех пор, пока у государственной власти не оказывалось созданных жизнью новых возможностей, возможностей разрешать те же и того же характера задачи иными способами, с помощью иного по его социальной природе государственного аппарата. И более всего поучительной в этом отношении является история средневековой Англии, в которой чрезвычайно сильная центральная государственная власть, организовавшая после нормандского завоевания управление страной также и с помощью весьма выработанного феодального аппарата, постепенно заменяла феодальные способы управления иными по мере того, как жизнь создавала необходимые для этого возможности. Историю средневековой Англии следует признать нормальной историей феодального государства. Много поучительного в этом отношении

могла бы дать и русская история, в особенности своим московским периодом, создавшим самое подлинное феодальное государство, несравнимо более упрощенного типа, чем его западные параллели, но от этого еще более откровенно обнажающее публично-правовое существо и социальную структуру феодального государства как такового. Беда только в том, что эта сторона московской государственности мало интересует русских историков, не склонных трактовать свой материал в терминах общеевропейской исторической науки и ревниво оберегающих традиционную изолированность и самобытность своей территории<sup>1)</sup>.

В вопросе о разложении средневекового строя очень большое место отводили и отводят ликвидации барщинных повинностей, переводу их на денежные платежи, так называемой коммутации. Такое внимание к коммутации вполне понятно, особенно если принять в соображение, что барщина в глазах представителей традиционной концепции средневекового развития является едва ли не основной чертой натурально-хозяйственного порядка, по их взгляду господствовавшего в феодальном поместье, которое играло, по их мнению, такую все определяющую роль в средневековом обществе и государстве. Переход от барщины к денежным платежам является для них переходом от натурального хозяйства к денежному, а тем самым от средневекового строя к строю нового времени. Господство в поместье барщинного порядка представляется им чем-то изначальным, первобытным и тем самым натурально-хозяйственным, а ликвидация барщины — решительным шагом вперед в экономическом развитии Европы и вместе с тем одним из очень важных, а то и главным фактором в процессе разложения поместного, а вместе с тем и всего социального и политического строя средневекового общества.

Нам нет надобности повторять то, что уже было нами сказано о самой натурально-хозяйственной концепции средневековой культуры, о резком противоречии, в котором она находится со всем тем, что нам известно о подлинной хозяйственной жизни средневекового поместья и средневековой деревни вообще и о ее связи с городским, а иногда и с международным рынком. Нам хотелось бы обратить внимание лишь на то, что видеть в барщинной системе поместного хозяйства чуть ли не основной признак его натурально-хозяйственного характера есть чистейшее недоразумение, и что барщинная си-

<sup>1)</sup> См. еще нашу статью «Феодализм и современная историческая наука» в сборнике в честь проф. Н. И. Кареева «Из далекого и близкого прошлого». 1923.

стема в такой же малой мере, как и система оброчная, является показателем натурально-хозяйственных порядков поместья. Можно было бы привести из истории и Западной, и Восточной Европы не мало фактов, свидетельствующих о том, что барщинное хозяйство нередко получало особенно сильные импульсы для своего укрепления и роста как раз в связи с развитием денежного хозяйства, являясь средством интенсификации поместного хозяйства. Достаточно указать на такие факты, как развитие барщинных повинностей и крепостного права в восточных провинциях Пруссии в XVI и XVII веках, развитие крепостного хозяйства в России в XVIII и XIX веках. Мы очень склонны думать, что самый факт появления в поместье барского барщинного хозяйства свидетельствует о том, что поместная экономия стремилась таким путем стать более определено на почву коммерческих интересов, не чуждых ей и при господстве оброчного хозяйства, и для этого организовала вполне сознательно хозяйство-предприятие, рассчитанное на усилившийся спрос на хлеб и другие сельскохозяйственные продукты. Ликвидация барщинной системы могла иметь самую различную обусловленность, но во всяком случае ничего общего не имеющую с переходом от натурального хозяйства к денежному.

Категория «натуральное хозяйство» в достаточной мере обнаружила свою неприменимость к явлениям средневекового хозяйственного развития, и интересы научного уразумения всего индивидуального своеобразия средневековой жизни и средневекового строя настоятельно требуют ее полного устранения из научного оборота, так как только при этом условии станет возможной свободная от давно оказавшихся несостоятельными, но тем не менее с силою навязчивых идей продолжающих тормозить научное развитие и затемнять реальные перспективы точек зрения постановка самых основных проблем средневековой истории. Мы не говорим уже о том, что и вообще натуральное хозяйство принадлежит к числу тех научных утопий (вспомним Макса Вебера), которые не только нигде в реальной действительности не существовали и не существуют (на то они и утопии, и в этом отношении они ничем не отличаются от всех других научных утопий), но, в отличие от других необходимых для уразумения конкретного и индивидуального по логической своей природе вполне утопических общих понятий, ни к какой реальной действительности и не применимы, являясь продуктом больше научного недоразумения, чем строго согласованной с данными реальной действительности научной мысли. Средневековое развитие движется

не под знаком натурального хозяйства и его эволюции. Как оно ни своеобразно, тем не менее движущие его силы не представляют собою чего-либо далекого от нас и чужого нам. Основные формы тогдашней жизни, несмотря на резко выраженную индивидуальную печать, на них лежащую, мы находим и в следующую за средними веками эпоху, но лишь в развившемся в полной мере виде. Новая эпоха является подлинным органическим продолжением средневековой, а не ее отрицанием, чем-то вроде ее антитезиса. И нам кажется, что предшествующее изложение сделало для читателя не чуждой эту мысль, а изложение дальнейшее, надеемся, снабдит его данными, которые дадут ему возможность в ней разобраться.

В дальнейшем изложении нам бы и хотелось сделать попытку оглядеться вокруг себя и набросать картину средневекового строя и его эволюции, как она намечается в результате научного движения последних десятилетий, сосредоточивая внимание на типичных явлениях экономического порядка, как они развивались на общем фоне общественного и политического развития средневековой Европы. После всего, что было сказано выше, попытка эта является достаточно мотивированной. Остается лишь прибавить, что в пересмотре нуждаются не только конструкции конкретных явлений и процессов, но и те общие понятия, которые лежат в основании этих конструкций. Эти общие понятия очень далеки от ясности и определенности, необходимых для научной работы. Мы это видели, когда шла речь о феодализме и о тех совершенно несогласованных с данными исторической действительности представлениях о нем, какие до сих пор еще господствуют в исторической науке, например, об его обусловленности натуральным хозяйством или об его несовместимости с широким государственным порядком или — чтобы указать еще одно недоразумение, еще нами не отмеченное — о феодализме политическом и феодализме социальном, будто бы раздельно существовавших в исторической действительности, а на самом деле являющихся двумя сторонами одного и того же явления, определенной и своеобразной формы государственного устройства и управления, опирающейся на определенную социальную организацию. Неясности и неопределенности этих общих понятий способствует в очень большой мере и недостаточное внимание к их логической природе со стороны тех, кто их применяет, что стоит в связи с общим фактом недостаточной заинтересованности историков логическими проблемами исторической науки. Изучение конкретных проблем исторической науки и, в частности, и средневековой исто-

рии, много выиграло бы от строгого различения исследователями категорий исторических и категорий социологических. Тогда бы уменьшились значительно, если и не вовсе исчезли бы, столь частые случаи недоразумений и споров, вызываемых тем, что спорящие одними и теми же словами, нередко и не сознавая этого, обозначают далеко не одни и те же понятия, а еще чаще навязывают чисто историческим категориям «непосильную для них теоретическую службу», т. е. заставляют их исполнять роль социологических категорий, перенося их из индивидуальной, исторической обстановки, к которой только они и применимы, в другую, столь же индивидуальную обстановку. Одной из насущнейших потребностей современной исторической науки является пересмотр и тщательная логическая обработка ее общих понятий, в результате которой на место хаоса неясных и спутанных представлений явилась бы стройная система исторических и социологических категорий, адекватных той исторической действительности, в результате научной переработки которой они бы явились. Тогда такие понятия, как феодализм, капитализм, городское хозяйство и т. п., получили бы свою строго определенную как историческую, так и социологическую формулировку и ясно указанную в обоих случаях компетенцию, и конкретная историческая наука вообще и средневековая история в частности тем отчетливее могла бы ставить и тем успешнее могла бы разрешать свои идиографические проблемы, направленные к выяснению исторического процесса в его однократности и его индивидуальности.

---

## ГЛАВА ВТОРАЯ.

### РИМ И ГЕРМАНЦЫ.

#### I

При рассмотрении явлений средневекового хозяйственного развития нельзя обойти вопроса об отношении между древним миром и новым, в особенности в настоящее время, когда так много сделано для того, чтобы на место прежних более или менее общих соображений и конструкций, к тому же окрашенных в цвет той или иной национальной тенденции, в вопросе о переходе от древней культуры к новой была поставлена конкретная картина того, как этот переход в действительности совершался. Нечего и говорить, что картина эта никоим образом не может претендовать на полноту не только деталей, но и очень важных своих частей, но то, что в ней есть, говорит конкретным языком реальной жизни и дает возможность более реально представить и понять тот чрезвычайно сложный процесс, в результате которого Римская империя Диоклетиана и Константина сменилась монархией Меровингов и другими варварскими королевствами, а древняя культура — культурой средневековой.

А это был именно процесс, очень длительный и очень сложный, а не внезапная катастрофа, разразившаяся над древним миром и его цивилизацией и превратившая его в развалины, на которых разрушители заложили основы совершенно новой жизни и новой культуры. Один из самых крупных представителей современной исторической науки Допш со всем пылом патриотического чувства протестует против «самого неслыханного факта всемирной истории», каким представляется ему такая катастрофа, в которой германцы являются врагами культуры и ее погромщиками, и всю силу своих огромных и точных знаний и своего обширного и тонкого ума направляет на доказательство того, что никакой такой катастрофы и

погрома не было, что никакого перерыва в ходе всемирной истории (die weltgeschichtliche Zäsur) не происходило, что непрерывности культурного развития от древнего мира к новому дает себя знать везде, как в городе, так и в деревне, и это прежде всего становится ясным, когда мы обратим внимание на то, каким образом происходило самое поселение германцев на римской территории<sup>1)</sup>. И раньше и даже очень давно, еще в XVIII веке, не раз высказывалось мнение, близкое к этому, даже существовало целое направление в исторической науке, так называемое романистическое направление представители которого, так называемые романисты, также подчеркивали непрерывность римской традиции в новоевропейском развитии и даже отрицали самый факт катастрофы, противопоставляя ему факт медленного и постепенного проникновения германцев на римскую территорию, в противоположность так называемым германистам, которые принимали катастрофу, сводили римскую традицию к нулю и выводили новоевропейскую культуру из германских «начал». Достаточно назвать такие имена, как Фюстель-де-Куланж и Вайц. Надо сказать при этом, что взгляды романистов в общем находили сравнительно мало сочувствия, в особенности в германской исторической науке, и общая концепция средневекового развития, господствовавшая до последнего времени, мало считалась с взглядами даже такого блестящего защитника романистической точки зрения, каким был Фюстель-де-Куланж, знаменитый автор «Истории общественного строя древней Франции» и ряда отдельных изысканий в области средневековых отношений (мы не имеем здесь в виду его всемирно известной «Гражданской общины античного мира» и работ по греческой истории). А между тем археологические, лингвистические, историко-географические, историко-топографические и всякие иные специальные изыскания в области германской и римско-германской старины все более и более убеждали беспристрастного исследователя в тесной, совершенно осязательной связи между римским и средневековым развитием, прежде всего в области внешней культуры и хозяйственной жизни, и в то же время в совсем другом свете выставляли древних германцев, чем их обыкновенно изображали и их доброжелатели, и их враги. В своей работе о «Хозяйственных и социальных основах европейского культурного развития» Допш широко использовал все эти специальные и разнообразные изыскания, и не удивительно, что до

<sup>1)</sup> Alfons Dopsch. Wirtschaftliche und soziale Grundlagen der europäischen Kulturentwicklung, I—II, 1918—1920, есть и второе издание 1923 г.

сих пор так неугодно чувствовавший себя в обществе немецких историков Фюстель-де-Куланж был выдвинут на почетное место и окружен самым почтительным вниманием.

Допш прежде всего старается представить как можно более отчетливо, как происходило самое поселение германцев на римской территории. Прежде господствовавший в науке взгляд, что старые римские поселения были превращены в развалины и заросли травой, и германцам пришлось устраиваться на новых местах и выкорчевывать для этого леса, следует, по его мнению, совершенно оставить ввиду все более и более увеличивающегося числа фактов, не оставляющих сомнения, что германские поселения непосредственно примыкали к римским. Германцы не избегали при этом и городов, о чем свидетельствует весьма красноречиво то, что все расположение городов раннего средневековья, план города, расположение главных улиц, следует основным линиям римского города. И средоточия городского оборота в средние века находились как раз там, где уже в римскую эпоху были расположены города, возникшие возле римских лагерей (Вормс, Франкфурт-на-Майне, Страсбург, Зальцбург, Вена). Древнейшие христианские церкви в средневековых городах часто находятся на линии старых римских улиц и возведены на римском фундаменте с использованием материала римских стен. Могильные камни и надписи на них, как и самые кладбища, с своей стороны свидетельствуют о том, что то или иное поселение продолжало существовать от поздне-римской эпохи до каролингской включительно (Майнц, Вормс, Метц, Регенсбург). О том же свидетельствуют находки монет и штемпеля на глиняной посуде. Как показывают новейшие раскопки, германцы овладевали и римскими крепостными сооружениями, которые были им нужны для закрепления своего господства над той или иной частью римской территории, и поддерживали их дальше. Даже королевские пфальцы Меровингов и Каролингов, важное военное значение которых в настоящее время не подлежит сомнению, были воздвигнуты в тех местах, в которых, как показывают раскопки, были раньше римские сооружения. И административная организация раннего франкского периода непосредственно примыкает к поздне-римским местным округам.

Что касается аграрного устройства германцев, поселившихся на римской территории, то здесь римские порядки дают себя знать, пожалуй, еще более осязательно, и это становится понятным, когда мы примем во внимание, что еще задолго до ликвидации император-

ской власти на Западе, начиная с третьего века, германцы массами переселялись на римскую территорию и садились на землю среди римского населения. Мы имеем в виду и вольных, и невольных поселенцев. Под последними мы разумеем германцев, покорившихся римской власти и поселенных ею на землях крупных землевладельцев в качестве колонов и на границах империи в качестве так называемых летов, земледельцев-воинов, обязанных защищать границы от вражеских набегов. Еще большее значение в этой связи имели добровольные поселения целых племен, заключавших с римской властью договоры, поступивших в силу этих договоров на римскую военную службу, устраиваемых властью на римской территории по системе римского военного расквартирования (hospitalitas) и получавших в силу этого право на часть земельных доходов, а потом и земельных владений римских воевод, в которых которых они сначала поселялись. На положении таких федератов (foederati) устроились на римской территории и некоторые из тех германских народов, к которым перешла и власть над частями этой территории. Разумею бургундов, распространивших свое владычество по всей Роне, вестготов, основавших большое государство, занимавшее часть Галлии и Испании, остготов, с которыми Теодорих Великий занял Италию и основал здесь одну из великих держав той эпохи. Само собою разумеется, что земельные участки, выделявшиеся во всех этих случаях германцами из владений римских собственников (обыкновенно в виде трети, а иногда и двух третей их собственности), приводили германцев в близкое, непосредственное соприкосновение с римским населением и его культурой, так как германцы селились при этом не замкнутыми округами, в стороне от римских поселений, но как раз среди этих последних, причем леса и неразделенные пустоши даже оставались в общем пользовании римлян и германцев. Нечего и говорить, что получавшие наделы германцы становились такими же индивидуальными собственниками, какими были и те, кто должен был уступить им часть своих владений, и наделы их были так же далеки от равенства, как и владения римских possessores. Такое же расселение германцев среди римского населения происходило и там, где не производился форменный раздел земли (у франков, аллеманов, баваров) между римлянами и германцами, которые ведь вовсе не производили общей экспроприации среди населения переходивших под их власть территорий и не превращали в рабов все свободное население, как думали прежде.

Расселившись среди римского населения, сохранявшего свои прежние формы жизни, германцы должны были многому у него научиться, многое у него перенять, и, по мнению Дюпша, нигде нельзя так ясно это проследить, как именно на хозяйственном развитии, которое совершалось органически. Прежде всего это видно на землеустройстве раннего средневековья. Оказывается, что поздне-римское деление почвы и поля сохранилось в эту эпоху, в частности, римское измерение поля по центуриям (квадратам в сто югеров). Видим мы тогда и знакомое римлянам деление деревенского поля на конь и также знакомую им разбросанность участков по разным коням и вызываемую этим чересполосицу. Дюпш с особенной определенностью подчеркивает черты сходства между деревней этой поры и поздне-римской деревней в тех особенностях ее строя, которые ~~дерево~~ и теперь еще общинно считаются, самыми характерными для германской деревни как таковой. Германские г у ф ы, участки отдельных сосельчан, даже обозначаются в латинских источниках тем самым словом *sortes*, какое употреблялось римлянами для обозначения участков жителей римской деревни, которые тоже назывались *vicani*, как и жители ранне-средневековой деревни. И у римлян, затем, рядом с принадлежавшим отдельному жителю деревни правом индивидуальной собственности на пахотную землю существовало в качестве принадлежности его соответствующее размеру полевой земли право пользования в отношении к лесу и пустоши (пастбища, воды). Совокупность жителей деревни и у римлян образует общину (*convicani*), свидетельство которой необходимо при спорах о границах владений и о владении, как и при проведении межи, как это мы видим и в средневековой германской общине. Жителям римской деревни (*convicani*) принадлежало и право протеста против поселения чужаков, совершенно так же, как жителям франкской деревни, о чем идет речь в знаменитом 50-м титуле Салической Правды *De Migrantibus*. Жителям (*vicani*) свободных римских деревень (в восточной части империи деревни эти назывались метрокомиями) принадлежало и право наследовать землю тех их сосельчан, у которых не окажется потомства, столь напоминающее такое же право жителей франкских деревень, о котором говорит эдикт короля Хильпериха (561—84 г.).

Все эти черты, присущие деревенскому строю поздне-римской деревни, так же мало свидетельствуют о том, чтобы поздне-римская деревня была общинной, как это слово понимают представители

общинной теории, как и аналогичные черты, которые мы находим в строе средневековой деревни, свидетельствуют о том, что средневековая деревня была полным воплощением общинного принципа, той не знавшей частной земельной собственности маркой, которая играла такую роль в общих концепциях средневекового развития. И германская деревня, как и деревня римская, была общиной не в этом фантастическом смысле, а лишь в смысле организованной совокупности индивидуальных собственников и владельцев земельных участков, состоявших из полевых участков и права пользования нераздельными пустошами. Ни марки-деревни, ни марки-волости не знало германское средневековье, не знала их и римская древность, так как они являются продуктом романтически настроенного ученого воображения, а не фактами исторической действительности.

Зато германская деревня самой ранней поры, еще эпохи Тацита, хорошо была знакома не только с земельным, как и всяким иным, неравенством, но и с крупным землевладением и крупным поместьем и в этом отношении также имеет много сходства с поздне-римской деревней. А ведь еще не так давно было всеми признанным догматом мнение, что поместье было совершенно неизвестно воодушевленным идеями равенства германцам и окончательно сложилось лишь в эпоху Каролингов. Известное германцам с очень давних времен крупное поместье весьма напоминает своим аграрным и хозяйственным строем поздне-римское поместье с его барским двором и барщинными повинностями зависимых держателей и с его привилегированным положением, лишавшим обычных судей права вступать на его территорию для применения принудительной власти в отношении к его населению и обязывавшим их во всех процессах против людей поместья прежде всего обращаться к землевладельцу или к его должностным лицам.

Наконец самый способ ведения хозяйства в средние века, несмотря на значительные различия, вызванные внешними хозяйственными условиями, в основе тот же, что и в древности: и трехпольная система, считавшаяся особенностью германского сельского хозяйства, и плодoperемное хозяйство, и кормление скота в стойле, делавшее необходимым выгон весной скота на пастбище и огораживание ввиду этого засеянных полей, что обязывало каждого из жителей деревни ставить изгороди соответственно размеру владений каждого из них, но отнюдь не являлось общинной повинностью, свидетельствовавшей о существовании общинной собственности на

марку, — все это было знакомо поздне-римской деревне в такой же мере, как и средневековой.

Воздействие поздне-римских отношений далеко выходит за пределы сельского хозяйства. И в промышленности можно проследить подобное же. Ранне-средневековая керамика не только следует образцам поздне-римской; она и в орнаментике до такой степени похожа на эту последнюю, что при новых раскопках часто трудно было с уверенностью сказать, что надо признать римским и что относящимся к ранней германской эпохе. Фабрикация стекла также непрерывно продолжалась от римских времен, хотя и с более грубой техникой. И художественная промышленность от Константина Великого до Карла Великого имеет один и тот же характер. Даже домашняя утварь поздне-римской эпохи имеет большое сходство с утварью, еще и теперь распространенной в Западной Германии. Римские орудия культуры винограда в области Рейна и Мозеля имеют совершенно такие же формы, как и в средние века.

Более всего известны связи ранне-средневекового и античного хозяйства в области монеты, меры и веса. Германцы долгое время пользовались римской монетой, и даже, когда они стали (с VI в.) чеканить собственную монету, они всецело следовали римским образцам. Меры поверхности и вместимости, как и меры веса, также восходят к античности.

Широко захватывающими и всесторонними были, таким образом, воздействия римского хозяйства на ранне-германское средневековье. Но это не было простое копирование старого, но переработка его в новые формы, которые выросли на античной основе, но были приспособлены к потребностям новых носителей развития, переработка, которая давала ход германскому своеобразию, плодотворно сплетая заимствованное со своим на все последующее время. Благодаря именно этой связи были заложены зародыши новых форм существования. Это великое преобразование прежней культуры было возможно для германцев потому, что они вовсе не были какими-то первобытными дикарями, сжигаемыми жаждой разрушения, но издавна обладали собственной, с доисторических времен развивавшейся культурой и не имели никакого основания, оказавшись господами положения, отстраняться от положительных достижений римской эпохи, от той римской культуры, старинными знатоками и ценителями которой (alte Kenner und Wertschätzer) они были. Недаром римские писатели более поздней эпохи изображают гер-

манские народы, основавшие новые государства на римской территории, чрезвычайно способными и образованными.

Все это делает для Допша завоевание Римской империи германцами непохожим на другие завоевания, о которых повествует политическая история. Нельзя сказать, что германцы пронеслись по ней в диком натиске и разрушили ее, чтобы затем на ее развалинах с великим трудом заново строить свою первобытную культуру. «Римский мир был постепенно приобретен (gewonnen) германцами изнутри, так как они давно в течение столетий постепенно мирно проникали в него, переняли его культуру, даже его управление не раз уже к ним переходило, так что устранение политического господства римлян являлось больше лишь последним следствием этого медленного процесса преобразования (Wandlungsprozesses), в известной мере исправлением фирмы, старое имя которой фактически давно уже больше не обозначало действительного вершителя дел»<sup>1)</sup>. Германцы не были врагами римской культуры, и не разрушали они ее, но получили ее и повели дальше. Никакого перерыва (eine Cäsur) в культурном развитии Европы не произошло, и никакой катастрофы. Не в пустыне первобытного леса, как думали раньше, начинается положительная работа и творчество ее новых господ, а как раз там, где раньше римляне сделали свою работу. Чрезвычайно большое значение германцев для культурного развития всего последующего времени в том и состоит, что при завоевании Римской империи и основании своих новых государств на ее территории они были в состоянии без дальнейшего перенять те культурные блага, которые они нашли здесь, и сохранить их жизнеспособными, даже наполнить их новой жизненной силой (Triebkraft).

Таким образом, старая, много споров порождавшая проблема о роли романизма и германизма в процессе образования европейской культуры получает иную постановку. «Речь идет теперь уже не о том, сколько в средние века налицо культурных элементов, существование которых в римскую эпоху может быть доказано, а о том, как именно совершался самый переход их из римской эпохи в средневековую, и в чем заключалась внешняя возможность дальнейшего развития их в новый жизнеспособный синтез. Не о переходе от романизма к германизму может быть теперь речь. Германская культура, как и ее носители, давно существовала рядом

<sup>1)</sup> Dopsch. Grundlagen, I, стр. 399.

с римской, а романизм и после великого политического переворота (Umschwung) продолжал существовать и действовать. При основании своих новых государств германцы не просто перенесли в них или реципировали культуру Римской империи как чужой обычай. Ведь они уже давно, за столетия до этого выработали собственную, их прошлому и естественным жизненным условиям соответствующую культуру, но в то же время имели все большую и большую возможность знакомиться с римским миром и обмениваться с ними культурными благами. И не только на Западе, на Рейне и вдоль Римского вала (Limes) и на Юге (в Италии, Испании), но также и на Востоке, откуда ведь вышла и двинулась на Среднюю Европу сильная готско-аланская волна. Их культурное достояние было богаче и восприняло в себя не только влияние Запада и Юга. Все яснее выступает и значение Востока, но также и старой культуры Севера — и в мифе, и в праве, и в искусстве, и в общественном строе. Таким образом, германцы были избавлены от необходимости теперь впервые, при окончательном поселении на римской территории, выйти из первобытных условий в чужой стране и через нее стать способными к культуре. Они имели возможность так же, как до них римляне, то, что было развито уже предшествовавшими им культурными народами, напр., кельтами, но также и эллинизмом на Востоке, с своей стороны вести дальше и, исходя из новых побуждений, которые проистекали из их собственного политического и общественного строя, давать ему новые жизнеспособные формы»<sup>1)</sup>.

Не отрицая известной эмоциональной окраски, заметной на выводах Допша, весьма понятной у представителя нации, низвергнутой с головокружительной высоты оказавшегося эфемерным политического могущества и ищущей утешения и бодрости в мыслях о своих непреходящих заслугах перед человеческой культурой, мы должны в то же время помнить, что выводы эти явились результатом самого широкого использования целой массы специальных изысканий, не оставивших без самого тщательного обследования ни одного факта материальной и духовной культуры, имеющего то или иное отношение к поставленным им проблемам. Свою работу — и, в частности, ее первый том — Допш совершенно справедливо называет попыткой «понять конкретно, идя от одной сельской местности к другой, от одного города к другому, сущность перехода от так

---

<sup>1)</sup> Dopsch. Grundlagen, I, VII—VIII.

называемой древности к ранне-средневековому развитию». И не будет преувеличением, если мы скажем, что попытка эта ему вполне удалась, и переход этот мы действительно получаем возможность представлять себе в виде конкретной картины, делающей уже ненужными те общие конструкции, которые стояли на ее месте, и излишними те контрверзы, которые были с ними связаны. Ни германистам, ни романистам, как представителям двух борющихся направлений в исторической науке, не оказывается больше места после того, как стало ясным, как в конкретной исторической действительности разрешался вопрос о римской и германской культуре, в какие отношения стали они друг к другу, они и их представители, после того, как участь римского политического владычества на Западе была решена, и политическая власть стала переходить к германским народам. Римская культура не погибла вместе с римским господством. Политические наследники римлян были в то же время и наследниками их культуры. Но как и римская власть, так и римская культура в основанных германцами государствах не оставались в том же виде, в каком они находились при римском господстве, но немедленно же стали подвергаться самым разнообразным изменениям, ровно как и культура германская и те социальные и политические формы, с которыми германские племена появились и осели на римской территории, и в результате этой эволюции закладывались основы новой европейской культуры, материальной и духовной. Научного внимания в равной мере требуют к себе и римские, и германские элементы этого процесса, ровно как и их влияние друг на друга. Поздне-римская эпоха и эпоха ранне-германская должны являться отправными пунктами для всякого, кто хочет разобраться в основных явлениях и формах средне-векового развития и, в частности, развития хозяйственного, и работа Дюпша дает ему возможность стать на твердую, совершенно конкретную почву и тем делает такую попытку небезнадежной.

## II

В римских провинциях, в которых они поселились и которые стали их второй родиной, германцы встретились с очень развитой и очень могущественной вотчинной организацией, и с ней им прежде всего пришлось считаться. Едва ли не вся земельная площадь в каждой из них или прямо была собственностью крупных землевладельцев, или в той или иной мере находилась в сфере их соци-

ального и политического влияния. Крупный земельный магнат был единственной реальной силой в Римской империи в последние века ее существования на Западе, и центральной власти ничего не оставалось, как передать ему целый ряд административных и фискальных полномочий в отношении к живущему на его земле населению, которые оказывались мало действительными в руках ее обычного административного персонала, и, таким образом, превратить его из обладателя частной власти, хозяйственной и социальной, в представителя и власти государственной. Германцам пришлось, таким образом, очутиться в чисто феодальной обстановке в самом подлинном значении этого слова, и у нас нет данных, определенно свидетельствующих о том, что германцы разрушили этот феодальный порядок с его социальной стороны и на его место поставили совсем иную систему общественных отношений, построенную на принципах равенства имущественного, социального и политического, но зато есть совершенно определенные свидетельства о том, что и римские земельные магнаты, и римские колонны продолжали существовать и в основанных германцами государствах, занимая соответственные места на ступенях их общественной иерархии. Уж это одно — вполне достаточное основание для того, чтобы в центре нашего внимания в изображении хозяйственной жизни и хозяйственного строя поздней Римской империи поставить римское крупное поместье<sup>1)</sup>.

Римское поместье, как и поместье германское — исконное явление в исторически известной жизни обоих народов. «Первобытность» слишком скомпрометировала себя в глазах современной историче-

<sup>1)</sup> Проф. Макс Вебер. Аграрная история древнего мира, пер. под ред. проф. Д. М. Петрушевского, с прилож. перевода статьи проф. М. И. Ростовцева — Колонат, Москва, изд. М. и С. Сабашниковых. Rostowzew (M.) Studien zur Geschichte des römischen Kolonates. 1910 (книга изложена самим автором в журн. «Современный мир» (1911 г. янв.—февр.). Проф. П. Г. Виноградов. Средневековое поместье в Англии, СПб, 1911 (гл. II). Проф. П. Г. Виноградов. Происхождение феодальных отношений в Лангобардской Италии. СПб, 1880 (гл. I). Фюстель де Куланж. История общественного строя древней Франции, перев. под ред. проф. И. М. Гревса, том IV (Аллод и сельское поместье). Ф. де Куланж. Римский колонат, перев. под ред. проф. Гревса. Schulten. Die römischen Grundherrschaften. Dopsch. Grundlagen, I (пятая гл.). Проф. Д. М. Петрушевский. Очерки из истории средневекового общества и государства, пятое изд., Москва 1922 г. (очерк I). Проф. И. М. Гревс. Очерки из истории римского землевладения. СПб, 1899 год. Blumenstok. Entstehung des deutschen Immobiliareigentums, I, 1894.

ской науки, не склонной принимать за первые ступени в развитии того или иного народа то, что относится к самым ранним из известных ей моментов в истории данного народа, и для этого соответственным образом истолковывать и конструировать данные, к этим моментам относящиеся, стилизуя и упрощая то, что в действительности является сложным продуктом весьма сложного и далеко уходящего в глубь веков, вполне индивидуального, как и все историческое, развития. Историческая перспектива стала неизмеримо шире, даль прошедшего, доступная нашему взору, отодвинулась назад на многие тысячелетия, и то, что казалось чуть ли не начальным звеном легко обозримой цепи развития, нередко оказывается одним из звеньев цепи, уходящей в далекое прошлое, почти недоступное нашему взору. И римская, и германская известная нам в той или иной мере древность очень далека от первобытности. И Рим, и древние германцы попадают на в той или иной мере освещенную историческую сцену уже после того, как они прошли длинный ряд жизненных перипетий, различных, конечно, и по характеру, и по степени сложности, но во всяком случае выведших их из первобытной несложности, примитивности общественных отношений, в каких бы формах ни представлялась эта первобытная примитивность воображению, особенно склонному строить эволюционные ряды.

О древних германцах нам уже приходилось говорить, указывая на существование у них в эпоху Тацита крупного землевладения и поместного строя и на отсутствие экономического, социального и политического равенства, с которого они будто бы начали свою историю. Что до Рима, то он, как и другие города-государства древнего мира, появляется из мрака, покрывающего его «доисторическое» существование, уже имея за собой ряд веков сложной и разнообразной жизни и пройдя ряд ступеней хозяйственного, социального и политического развития, о которых мы можем только догадываться с помощью весьма сложных приемов научного исследования скудных и косвенных свидетельств и источников. Тот Рим, который сама легендарная римская традиция старается представить столь патриархально первобытным царством суровых и непреклонных в исполнении своего гражданского долга и никому не уступающих простотою и чистотою своей жизни поселян-воинов, с одинаковой легкостью переходящих от плуга к мечу и от меча к плугу, тот Рим эпохи царей и первых веков республики, каким мы его близко знаем со школьной скамьи и каким он продолжает в сущ-

ности оставаться в общем представлении и до настоящего времени, есть, несомненно, образ легендарный не в меньшей мере, чем не ведающие никакого неравенства и мирно пребывающие в первобытном земельном коммунизме германцы. И то немного, что мы знаем о подлинном Риме за этот период его существования, дает нам основание за этим легендарным Римом предполагать очень мало похожий на него образ в исторической действительности существовавшего и развивавшегося «исторического индивидуума».

Уже самый факт появления Рима на исторической сцене в виде города-государства с типическими для этого государственного образования политическими и социальными особенностями совершенно определенно свидетельствует о том, что мы имеем дело с результатами весьма продолжительного и сложного развития, аналогичного тому, которое проходили и другие города-государства средиземно-морского побережья, с незапамятных времен жившего очень живой, очень широкой и богатой движением, очень разнообразной и очень культурной жизнью. Город-государство античного мира появляется на исторической сцене с резко выраженной аристократической социальной структурой. Это — государство эвпатридов, патрициев, знатных родов. Они — полноправные граждане, держащие в своих руках управление и суд и власть над отстраненной от всего этого массой, к тому же и социально зависимой от них, попавшей к ним в экономическую зависимость, нередко в настоящую долговую кабалу. Они — крупные землевладельцы и владельцы движимого, денежного капитала, разбогатевшие благодаря не в малой мере также и участию в заморской, главным образом, торговле и имевшие возможность и расширять свои земельные богатства, и извлекать доходы из земельных участков своих нередко многочисленных должников, переданных им в обеспечение долга их владельцев.

Когда-то они имели свои собственные замки, были сами владельцами князьями, но по тем или иным причинам должны были подчиниться сильнейшему из своей среды, стать его вассалами, а в конце концов вынуждены были переселиться в его укрепленную резиденцию, ставшую, таким образом, единым центром единого государства, и вместе с ним править уже и до того в достаточной мере зависимой от них массой, сплотившись в крепкую военной дисциплиной и солидарностью своих интересов, городскую корпорацию. Это переселение, вынужденное, по требованию царя, или добровольное, по взаимному уговору под давлением обстоятельств, в один укрепленный пункт до тех пор живших по своим собственным

замкам, или бургам, владетельных князей и образование из их владений единого города-государства (полиса, как его называли греки), носит название синойкизма.

Мы видим, как мало похожа вся социальная и политическая обстановка, в которой происходил этот акт конституирования полиса как города-государства, объединившего до тех пор раздельно существовавших областных владетельных князей и их родню в военную и правящую корпорацию, на то, что рассказывает легендарная традиция, о Риме эпохи царей и первых веков республики, изображая его государством воинов-крестьян, довольствующихся всего лишь двумя югерами полевой земли. Город-государство впервые появляется перед нами в чисто феодальном облике. Этот городской феодализм подготовлен, несомненно, длительным и сложным процессом общественной дифференциации и со своей стороны содействовал в очень большой мере ее дальнейшим успехам. Эта общественная дифференциация расчленила общество на экономические классы богатых и бедных, многоземельных и малоземельных и безземельных и установила между ними зависимые отношения, личные и по земле, и тем создала прочный социальный базис и для политического властвования выделявшихся и укрепившихся в этом процессе знатных родов. Объединение этих знатных родов, владевших замками и с высоты их господствовавших над окрестной территорией, в правящую корпорацию живущих уже в одном укрепленном пункте воинов-землевладельцев есть образование более значительного государственного целого из до тех пор разрозненных более мелких политических тел, обеспечивавшее им больше шансов на успех в борьбе за существование, образование государственного целого с чисто феодальной структурой, с разделением государственного труда в соответствии с социальной структурой общества, созданной процессом общественной дифференциации, с распределением государственного тягла между общественными классами, возникшими в результате этой общественной дифференциации и теперь превратившимися в государственные политически соподчиненные сословия. Самый факт синойкизма, переселения в один укрепленный пункт владевших самостоятельно и индивидуально соответственными территориями знатных родов и превращения их в военную корпорацию, правившую коллективно всеми объединенными территориями, создавал из разрозненных территорий единое государственное тело, а из владетелей этих территорий единое государственное сословие этого государственного целого. Военное и пра-

вящее сословие имело под своей чисто политической властью массу, занятую преимущественно хозяйственным, главным образом, земледельческим трудом и продолжавшую оставаться в социальной — экономической и личной — зависимости от отдельных представителей этого военного и правящего государственного сословия.

Этот городской феодализм отличается от феодализма средневековой Европы, а также и от феодализма поздней Римской империи тем, что члены высшего, военного и правящего государственного сословия объединены здесь в корпорацию, живущую в одном определенном укрепленном пункте и коллективно осуществляющую правительственные функции в отношении ко всей массе чисто хозяйственным трудом занятого, главным образом крестьянского населения, в то же время индивидуально осуществляя в отношении к ней свою социальную и прежде всего хозяйственную власть как более или менее крупных землевладельцев, в то время, как средневековые феодалы, как и феодалы поздней Римской империи, не говоря о многих других, живут в своих поместьях и замках и здесь на местах отправляют свои правительственные функции на подведомственных им и социально от них зависимых территориях. Но и городской коллективный феодализм родового полиса древнего мира, и индивидуальный феодализм средневековой Европы и Римской империи в одинаковой мере свидетельствует о том, что феодализм в своем истинном существе является не раздроблением и разрушением государственного целого, а его укреплением и расширением путем привлечения к общей государственной работе социальных, а иногда и политических образований, до тех пор стоявших от нее в стороне.

Общая социальная картина римского общества древнейшей нам известной поры представляется нам, таким образом, в довольно определенных очертаниях. [Политическое и экономическое преобладание над отстраненной от политической власти крестьянской в огромном большинстве массой (плебеями) принадлежало жившей в городе Риме родовой знати (патрициям), полноправным гражданам города-государства и более и менее крупным землевладельцам и скотовладельцам, принимавшим прямое или косвенное участие в торговле и в транспортных предприятиях, дававшее им средства для увеличения своих земельных владений и для весьма выгодных для них кредитных операций, отдававших им в рабство многих из ставших неоплатными должников и едва ли меньшее число их принуждавших в виде залога передать им свои крестьянские земельные участ-

ки и, оставаясь сидеть на них, платить им оброк для погашения долга. Плебейская, в большинстве крестьянская, масса превратилась, таким образом, или в кабальных холопов знати, или в подневольных держателей своих собственных участков, отданных знати в обеспечение долга, продолжавших обрабатывать их и значительную часть урожая отвозивших в амбары своих кредиторов. Многие из плебеев становились клиентами знати, нуждаясь в их защите и покровительстве, а также и в земельном обеспечении, — факт, так хорошо нам известный и из истории средневековой Европы, в которой, в особенности в более ранний период, так широко распространена была практика комендации, передачи себя в том или ином отношении слабым человеком человеку сильному под его частную защиту и власть. В распоряжении знати находилось не мало — и чем дальше, тем все больше и больше — и взятых на войне, а также и купленных рабов. Ремесленники свободного и несвободного состояния, работавшие на заказ (Lohnwerker по терминологии Бюхера) и на продажу (Preiswerker, или Handwerker в собственном смысле) (причем несвободные ремесленники получали средства, необходимые для ведения дела, от своих господ и обязаны были уплачивать им часть прибыли), и торговцы, как мелкие торговцы, так и организаторы более или менее крупных заморских торговых предприятий, в которые вкладывали свои деньги и представители знати, иногда владевшие и собственными кораблями, — ими в сущности и исчерпываются социальные группы, на которые распадалось тогдашнее римское общество.

И родовая знать, и крестьяне и ремесленники, и торговцы, — все они в своей хозяйственной деятельности руководствуются интересами, выходящими за пределы непосредственного удовлетворения своих потребностей и предполагающими наличность рынка, обмена, менового и денежного хозяйства. Как владелец поместья, так и рядовой крестьянин везут на продажу свой хлеб и другие сельскохозяйственные продукты на местный рынок, и нередко их хлеб отправляется морем в Грецию, которая ввозит для их надобностей изделия своей более развитой промышленности. Следов замкнутого безобменного, «домашнего» (по терминологии Бюхера) хозяйства мы напрасно стали бы искать и в эту отдаленную эпоху римской истории: и для этой эпохи оно является образом фантастическим. Организация крестьянского хозяйства достаточно проста и ясна. Рабочими руками в нем служат руки самого хозяина и членов его семьи а в случае надобности и возможности и руки наемные; не исклю

цена возможность и работы доставшегося в виде военной добычи, а то и купленного раба. Что до помещичьего хозяйства, то, поскольку такое хозяйство существовало (а ведь более и менее крупный землевладелец мог и не вести собственного барского хозяйства, а мог довольствоваться получением оброков с сидевших на его сданной отдельными участками земле свободных или несвободных арендаторов), оно велось взятыми в плен или купленными рабами, попавшими в рабство должниками (кабальными холопами), полученными в виде залога крестьянскими сыновьями и свободными, и несвободными арендаторами не взятых под барскую запашку участков барской земли, обязанных нести барщину или, по крайней мере, выходить на помочи по зову господского приказчика в определенных случаях и определенное число раз. Очень возможно, что и барские участки, как и участки крестьянские, лежали чересполосно, и что это налагало на хозяйственную деятельность их владельцев ряд технических ограничений, неизбежных в подобных случаях (принудительный севооборот и т. п.).

Эта социальная картина является типической для определенной стадии в эволюции города-государства античного мира, когда в нем господствовала родовая знать, державшая в политической и экономической зависимости от себя народную, преимущественно крестьянскую массу. Она дает нам достаточно определенное представление о социальной стороне городского феодализма, столь характерного для этой стадии городского государства. В ней есть черты, знакомые нам из истории средневекового и поздне-римского индивидуального феодализма (не говоря об индивидуальном феодализме других стран и эпох), каковыми являются необходимая для всякого феодализма аристократическая структура общества, крупное землевладение и зависимое положение крестьянской массы, ее хозяйственная и личная зависимость — в разных их комбинациях — от крупных владельцев земли и движимого (в форме зерна, скота, рабов и денег) капитала. Но есть черты и не сходные, объясняемые своеобразными условиями, характерными для хозяйственного положения античных городов-государств (повторяющимися, правда, и в некоторых средневековых городских государствах, например, в италийских городских республиках): античная родовая аристократия эпохи городского феодализма обладает большой денежной силой, дающей ей возможность превратить в своих должников едва ли не всю крестьянскую массу, часть которой стала ее кабальными холопами, а часть, едва ли не бо́льшая, принуждена была передать ей

в виде залога свои участки и обрабатывать их скорее на положении арендаторов, чем собственников, уплачивая ей часть урожая для погашения долга. Таким образом, наряду с лично зависимыми клиентами, получавшими от своего патрона кроме защиты и покровительства нередко и участки земли в аренду на прекарном праве (т. е. без юридического обеспечения), взятыми на войне или купленными рабами, тоже нередко сажаемыми на землю и превращавшимися таким путем в крепостных, со свободными арендаторами из малоземельных и безземельных людей, бравших у крупных землевладельцев участки за службу и оброки — социальные категории, хорошо знакомые нам и из истории средневековой Европы, — мы встречаем здесь в виде чрезвычайно характерного и чрезвычайно распространенного явления в той или иной форме закабаленных лично или земельно людей, закабаленных должников, отдавших себя или свою землю кредитору-патрицию в обеспечение своего долга. Отдача денег взаймы, очевидно, весьма нуждавшимся в кредите крестьянам являлась для родовой знати очень выгодным помещением капитала (в скоте, зерне и деньгах), приносившим очень большие выгоды и отдававшим в распоряжение и без того крупного землевладельца и рабочие руки, и земельные доходы должников.

Не следует упускать из вида, что жившая в городе родовая аристократия была не только землевладельческой аристократией, но и принимала участие в заморской торговле, приносившей ей не малые барыши, которые она как вкладывала в землю, умножая таким путем свои земельные богатства, так и пускала в дело иным путем, раздавая их в виде мелких ссуд нуждавшимся в кредите крестьянам, под залог их участков. Ведь античные города-государства лежали на Средиземноморском побережье, и возникли они и стали расти и развиваться в условиях издавна существовавшего широкого культурного и, в частности, торгового общения между разными его частями. На почве задолженности крестьянской массы у богатой земель и движимым капиталом родовой знати (задолженности, столь характерной и типичной для всего раннего периода в истории городов-государств античного мира) и разыгрываются все тогдашние социальные конфликты, столь не похожие на социальные столкновения средневековой и новой Европы, не знавшей столь популярных и в древней Греции, и в древнем Риме лозунгов, как кассация долгов и передел земли.

Как видим, хозяйственная жизнь древнейшей нам известной эпохи в истории древнего Рима очень далека от простоты и эле

ментарности. Как и хозяйственная жизнь греческих городов-государств, стоявших на такой же стадии развития, она гораздо ближе к привычным нам формам, чем к тем едва ли когда существовавшим в исторической действительности экономическим отношениям, которые обозначаются термином «замкнутое домашнее хозяйство» и которые Бюхер и стоящие на его точке зрения историки готовы признать характерной особенностью экономического строя всего древнего мира на всем протяжении его истории. Ей совсем не чужды, как мы видели, и те явления, для обозначения которых вполне подходят такие слова, как «капитализм», «капиталистический», если только с этими словами не соединять чисто исторических понятий, применимых лишь к явлениям, характерным для современного капитализма в его индивидуальности, а употреблять их в более общем, социологическом смысле, имея в виду те признаки явлений капиталистического порядка, которые присущи им по самой их природе, в какой бы конкретной и индивидуальной форме эти явления ни возникали и развивались. Ни фабрик, ни заводов с сотнями и тысячами рабочих рук, разобщенных с собственными орудиями производства и вынужденных продавать свою рабочую силу путем свободного договора-найма собственникам фабрик за заработную плату и становиться лишь орудиями крупного производства, организуемого этими собственниками, мы, конечно, не найдем ни в этот период римской (и греческой) истории, ни во все остальные. Не найдем мы здесь и многого другого, характерного для современного капитализма в его хозяйственной и социальной индивидуальности. Но можем ли мы сомневаться в наличии здесь капиталистического хозяйства, раз мы наблюдаем здесь как весьма распространенное явление эксплуатацию частными лицами объектов владения, составляющих предмет оборота, с целью приобретения прибыли способами, присущими меновому хозяйству (а ведь это и есть самое существо капиталистического хозяйства)? Живущая в городе родовая знать, как мы видели, держит в своих руках народную массу не только политически, в качестве монопольных обладателей всей полноты гражданских прав, но и экономически, в качестве обладателей земельного и движимого (в скоте, зерне, рабах и деньгах) капитала. Капитал этот она пускает в оборот различными способами: землю она эксплуатирует, или ведя собственное барское хозяйство с меновыми целями с помощью рабского или наемного труда и барщины по земле зависимого крестьянского населения, или сдавая ее в несвободную или свободную аренду за оброки и барщину; движимый

денежный капитал, наживаемый едва ли не главным образом заморской торговлей, вкладывает в торговые и транспортные предприятия. приносящие большие барыши, а также наряду со скотом и зерном раздает в виде ссуд под залог личности или земли должников нуждающимся в кредите крестьянам, чем весьма нередко превращает их в свои рабочие руки, а их земли в новый источник дохода, закабалая одних и заставляя других выплачивать свой долг продуктами заложенных ей участков.

Преобладающую роль играет здесь, как видим, торговый и ссудный капитал; но не надо умахать и роли земельного капитала. Конечно, об очень крупных барских помещичьих хозяйствах, с которыми нам придется встретиться значительно позже, говорить не приходится; преобладает сдача земли мелкими участками в несвободную или свободную аренду, т. е. оброчное, а не барщинное хозяйство; но помещичьи хозяйства среднего размера, обрабатывающие по несколько десятков десятин, несомненно, были явлением, достаточно распространенным, и делом не безвыгодным; и не удивительно, что часть своих капиталов правящее сословие вкладывало в землю, расширяя таким образом свои земельные богатства.

Мы видим, таким образом, что уже в эпоху родового государства достаточно определенно наметились в Риме те формы хозяйственных отношений, которым предстояло такое широкое и пышное развитие в дальнейшем, когда Рим вступил на путь завоеваний, приведший его с головокружительной быстротою к господству над всем побережьем Средиземного моря и к созданию мировой державы.

### III

Своего полного расцвета римский капитализм достиг в связи с завоевательной политикой Рима, расширившей его территорию на весь тогда известный цивилизованный мир и за его пределы и вызвавшей в римском обществе ряд глубоких изменений и хозяйственного, и социального, и политического порядка. Следует только не упускать из вида, что римский капитализм этой поры есть лишь дальнейшее развитие, правда, весьма осложненное, того, что уже достаточно определенно давало себя знать в ту отдаленную эпоху, о которой только что была речь. Капитализм последних веков римской республики сохраняет не мало черт, характерных для капитализма этой более ранней эпохи, в частности, его спекулятивные тенденции, развившиеся теперь до колоссальных пределов. Эта последняя черта является характерной для капиталистического раз-

вития едва ли не всего античного мира, в особенности поскольку он является перед нами в виде ряда городов-государств, для которых едва ли не нормальным состоянием было состояние войны друг с другом, самой беспощадной и истребительной, или войны гражданской, столь же, если еще не более, беспощадной и жестокой, чрезвычайно тормозившей нормальную хозяйственную жизнь и нормальное хозяйственное развитие, но зато создавшей шансы и на быстрое обогащение в результате удачного исхода войны, отдававшей в руки победителя и жизнь, и движимость, и недвижимость побежденного и открывавшей перед предприимчивыми и достаточно сильными экономически людьми перспективу столь же быстрого обогащения посредством частной эксплуатации государственной власти в форме взятия на откуп ее права на дань с покоренных территорий.

Эта непосредственная зависимость античного капитализма от политических условий и обстоятельств сильно ослабевает и вовсе исчезает в больших государственных образованиях монархического типа с постоянным войском и широкой бюрократической организацией, объединявших отдельные города-государства в одно политическое целое и тем ликвидировавших все то, что было связано с их взаимным военным положением. Капитализм снимался со своего политического якоря и становился уже прямо экономическим, и спекулятивный характер его быстро ослабевал, и одновременно с этим усиливались и укреплялись его продуктивные, творческие тенденции. Но сравнительно слабое техническое развитие древнего мира ставило им большие преграды, давая мало места крупным промышленным предприятиям типа наших фабрик и заводов с характерным для них разложением и соединением труда и с постоянным капиталом, в которые в настоящее время вкладывается так много свободных средств, и поэтому ссуда, более или менее ростовщическая, продолжала оставаться одним из главных способов обогащения и экономического властвования. В значительной мере этим же объясняется и то, что главным видом помещения капитала, к тому же обеспечивавшим верный и постоянный доход, было помещение его в землю, владение которой и в те времена считалось самым благородным и облагораживающим видом имущества и богатства. Капитализм последних веков республики, несомненно, сохраняет все основные и характерные черты античного капитализма, лишь доведенные до грандиозных размеров и осложненные некоторыми новыми явлениями.

Если войны, которые вел Рим на территории Италии, в особенности в более раннюю эпоху, имели в виду, в той или иной мере, снабжение землей растущего крестьянского населения, то распространение завоевательной деятельности его за ее пределы направлялось интересами совершенно других общественных групп и совершенно иного порядка, достаточно определившимися за то время, когда происходило объединение Италии, с своей стороны сильно движущее процесс социальной дифференциации внутри римской гражданской общины и наряду с упрочением и усилением хозяйственной и социальной позиции руководящего слоя выдвинувшее новый слой экономически сильных людей, сложившийся в связи с все развивавшимися военными и фискальными потребностями государства, не имевшего в своем распоряжении, подобно другим городам-государствам, собственного бюрократического аппарата и принужденного передавать в частные руки и снабжение армии и флота, и проведение военных дорог, и сооружение укреплений, и взимание даней и податей с покоренных территорий. И этот новый класс, класс денежных людей по преимуществу, это сословие всадников не в меньшей мере было заинтересовано в дальнейшем расширении завоевательной деятельности, открывавшей перед ним все новые и новые перспективы, чем правящее сословие, сенаторская аристократия, нобилитет, которому доставалась львиная доля из всего того, что давало каждое новое завоевание. Не удивительно, что всадники нередко финансировали новые военные предприятия, наподобие современных банков, и каждый раз с колоссальной лихвой возвращали себе капиталы, вложенные в это «дело». Завоевание каждой новой провинции расширяло их откупные операции и открывало перед ними широкие возможности ссудных операций крупного масштаба среди обложенных податями покоренных общин и царств, не говоря уже о том, что сама война требовала их хорошо оплачивавшихся услуг.

Правящее сословие извлекало еще большие выгоды из завоевательных предприятий. Не говоря уже о львиной доле в военной добыче, обогащавшей его представителей золотом и другими сокровищами, а также рабами из взятых в плен победителями, каждая обращенная в провинцию завоеванная территория становилась для них постоянным источником обогащения, переходившим от одного к другому для самого неумеренного использования его ресурсов вне всякого контроля со стороны «римского народа», вотчинами которого провинции считались (*praedia populi Romani*).

Всем известен образ действий римских проконсулов, совершенно откровенно смотревших на провинцию, достававшуюся им в виде завершения и увенчания их должностной карьеры, как на золотое дно, откуда они возвращались, получив полную возможность покрыть все свои долги, сделанные для надобностей избирательных кампаний, в конце концов приводивших их к этой давно намеченной цели, и нажив большие богатства для роскошной жизни и для поддержания своего социального положения.

В виде военной добычи и через хищные руки проконсулов и публиканов (откупщиков государственных доходов) и всяких других дельцов в Рим хлынул колоссальный поток капиталов. Но завоевания дали и колоссальное количество земли, в которую можно было эти капиталы вкладывать: ведь значительная часть завоеванной территории конфисковалась в пользу «римского народа» и становилась государственной землей Рима, его *ager publicus*. Известна судьба этой государственной земли: она немедленно же попадала в руки и без того богатых людей, стремившихся умножить свои богатства, вкладывая свои капиталы в землю и в ее эксплуатацию. Государственная земля «римского народа» на очень льготных условиях сдавалась в аренду богатым капиталом представителям обоих высших сословий и с течением времени фактически мало чем отличалась от их собственных владений, входя в состав их нередко очень обширных латифундий. Земельные богатства сенаторского и всаднического сословий увеличивались еще и за счет земель разорвавшихся в связи с частыми и длительными походами крестьян, для которых были губительны и конкуренция с крупными землевладельцами, и ввоз в Италию провинциального хлеба.

Объединение под римской властью всего побережья Средиземного моря облегчило обмен между всеми его частями и создало, можно сказать, мировой рынок, который мог поглощать продукты крупных хозяйственных предприятий. И такие предприятия и возникли, раз были налицо все необходимые для них элементы в виде огромных земельных богатств и движимого капитала в виде денег и дешевого рабского труда, выбрасывавшегося на рынок в огромных количествах после каждого похода. Рабский труд играл известную роль в помещичьем хозяйстве и прежде, но ни прежде, ни после не было такого широкого его применения, как теперь, в последние века римской республики, в результате завоевательной политики Рима, осуществлявшей свои капиталистические и империалистические тенденции на всей территории тогдаш-

него цивилизованного мира и открывавшей для возможных тогда крупных хозяйственных предприятий чрезвычайно широкие перспективы.

Созданный завоеваниями неслыханный дотоле аграрный капитализм (выражение Макса Вебера) явился прежде всего в образе плантационного хозяйства, т. е. «предприятия с принудительным трудом, работающим специально на сбыт и производящим садовые продукты» (М. Вебер). Если в новое время такими продуктами были сахар, табак, кофе, хлопок, то в древности и, в частности, в Риме это было вино и оливковое масло. Повидимому, хлебопашество стояло на втором, если не вовсе на заднем плане, как принято думать, в крупных хозяйствах этой поры. Возможно, что им занимались в мелких хозяйствах, на тех частях крупного поместья, которые сдавались мелкими участками в аренду. Хлебопашество могло давать большую прибыль лишь при интенсивной обработке почвы, которой можно было ждать лишь от людей, лично заинтересованных в урожае, а никак не от рабов. Это прекрасно понимали и тогдашние агрономы и обыкновенные сельские хозяева и в хлебопашестве предпочитали свободный труд свободных людей подневольному рабскому труду, рабский труд в широких размерах применяя главным образом, если не исключительно, в крупном плантационном хозяйстве. Таким образом, лишь часть земли в крупном поместье той поры отводилась под плантации, остальная же земля сдавалась в аренду мелким свободным арендаторам, колонам, за часть урожая или за денежную плату (а может быть, иногда арендная плата вносилась частью деньгами, а частью зерном).

Надо сказать, что колонны эти больше напоминают нам свободных вольнонаемных рабочих, чем арендаторов нашего времени: нередко они получали от помещика вместе с землей и инвентарь для ее обработки и находились под очень назойливым контролем поместной администрации, ведя хозяйство на отведенном им на определенный срок барском участке, так что сдача земли мелкими участками являлась для барской экономии лишь одним из видов собственного хозяйничанья. Плантационное хозяйство можно было вести как крупное хозяйство и с помощью несвободного, рабского труда, а хлебопашество было выгоднее организовать по-иному, раздавая предназначенную для него землю мелкими участками свободным с'емщикам, снабженным необходимым для этого инвентарем и не выходящим из-под бдительного надзора барской экономии, для

которой они являлись всего лишь орудиями для ее собственных хозяйственных целей, отличными от других ее орудий, применяемых на ее плантациях, отличающимися от них большей производительностью своей работы, благодаря своей заинтересованности в результатах ее. Сами римляне вполне определенно представляли себе эту служебную роль колонов в их крупных поместьях и сдачу своей земли колонам понимали как эксплуатацию ее посредством колонов (*per colonos egersege*).

Что в охотниках брать чужую землю в аренду в это время не могло быть недостатка, это само собою разумеется: ведь процесс обезземеленья крестьянской массы в связи с быстрым ростом крупного землевладения совершался также весьма быстро и в широких размерах. Безземельных и малоземельных людей становилось все больше, и крупные землевладельцы пристраивали их у себя, не только сажая их на арендные участки, но и давая им работу на своих плантациях в качестве вольнонаемных рабочих (*politores, mercenarii* и т. п.). Казалось бы, одних рабов было вполне достаточно для самой широкой постановки плантационных предприятий: их было много на рынке, и они были дешевы. Тем не менее держать круглый год столько рабов, чтобы их рабочих рук хватило и для самой горячей поры, было невыгодно, потому что в глухие периоды, например, зимою, они лишь тратили на свое содержание, «пожирали» другую часть движимого капитала своего владельца, ничем не занятые в это время. Поэтому во время уборки урожая приходилось нанимать свободных рабочих. Потребность в них была настолько серьезной, что, собираясь покупать имение, наводили предварительно справки и о том, легко ли в той местности найти таких рабочих. Вольнонаемные рабочие находили заработок не только непосредственно у самого крупного землевладельца; немалый спрос на них был и со стороны всякого рода посредников: разумею прежде всего предпринимателей, которым сдавалась администрацией поместья уборка урожая или просто продавался урожай плантации на корню.

Плантационное хозяйство с массами рабов, живущих в рабских казармах в условиях военно-каторжного режима, разделенных на группы по специальностям (*officia, magisteria*), выходящих на работы в цепях отрядами в десять человек (*decuria*) под командой десятских (*decurio*), вооруженных палкой с острым наконечником, раньше Рима существовало в Карфагене, а еще гораздо раньше в поместьях египетских фараонов, где с ним в свое время могли познакомиться

карфагеняне. Карфагеняне, повидимому, первые сделали его и предметом научной разработки. Римляне, несомненно, воспользовались и практикой, и теорией карфагенян, когда насаждали у себя плантации, о чем свидетельствует достаточно определенно перевод агрономического трактата карфагенянина Магона и его влияние на римскую агрономическую литературу.

Сами собственники плантаций обыкновенно жили в своих поместьях (*villa*) лишь в летнее время, для отдыха от городских, государственных трудов и забот, предоставляя все хозяйственные дела и заботы своим управляющим (*villicus*) из состава своей рабской фамилии (*familia*) (все рабы поместья делились на две группы: одну составляли сельскохозяйственные рабы, это была *familia rustica*, другую — рабы для личных услуг владельца поместья, когда он наезжал в свою вотчину и поселялся в своем барском доме, и это была *familia urbana*).

Наряду с плантациями огромную роль на землях крупных римских землевладельцев играло скотоводство, в особенности в тех местностях, которые более других были для этого приспособлены самой природой (Апулия, Калабрия, Лукания, долина реки По). Крупное пастбищное хозяйство считалось особенно прибыльным, что объясняется и тем, что оно требовало очень сравнительно мало рабочих рук, и что с ним можно было обходиться одним рабским трудом без всякого ущерба для дела. В имениях, расположенных не в далеком расстоянии от большого города, было очень выгодно заниматься выращиванием овощей и фруктов и разведением и откармливанием птицы и всякой живности.

Как видим, римский аграрный капитализм представляет собою довольно сложную и в хозяйственном, и в социальном смысле картину, и он поэтому не укладывается в одну какую-нибудь теоретическую формулу. Рабский труд играет в нем, бесспорно, огромную роль, которой он никогда не играл в древнем мире ни до, ни после этого. Но наряду с ним очень большую роль играет и труд свободный в виде мелких свободных с'емщиков очень больших частей земельных владений римских магнатов, а также в виде вольнонаемных рабочих, на которых был такой большой спрос на рабских плантациях. Сказать, что римский капитализм в социальном смысле отличается от современного тем, что в нем составную часть капитала образуют и рабочие руки, которые нужно покупать, а не наемывать, будет правильным постольку, поскольку идет речь лишь об одной части в картине крупного поместья, эксплуатируемого ка-

питалистически, лишь поскольку мы будем иметь в виду главную рабочую силу, и только ее, на той части поместья, где ведется плантационное хозяйство, которое ведь и без вольнонаемных рабочих, составляющих основу современного капиталистического предприятия, как мы видели, не обходится.

Что капиталистическое развитие захватило в Риме и обрабатывающую промышленность, в этом нет оснований сомневаться<sup>1)</sup>. Вопрос лишь в том, в какой мере капитализму удалось создать в этой области хозяйственной жизни формы крупного производства, соответствующие нашим фабрикам и заводам, с характеризующим их экономическое существо соединением и расчленением труда. Вопрос этот относится не к одному Риму, но ко всему древнему миру. Отрицать существование в древности крупного производства в обрабатывающей промышленности едва ли возможно ввиду недвусмысленных свидетельств источников, не оставляющих в этом сомнения. Правда, не всегда данные источников истолковывались правильным образом, и фабрику иногда видели там, где речь шла лишь о соединении в одном помещении нескольких десятков, а то и сотен обученных одному какому-либо ремеслу рабов, которые ведь, и сидя рядом в одной большой мастерской, продолжали каждый делать то же самое дело, какое они делали каждый в одиночку, и будут делать, когда, например, купивший их коммерсант (такие случаи были не редки) распродаст их после того, как с выгодой продаст превращенную ими в сукно случайно очень выгодно купленную шерсть и, таким образом, совершенно ликвидирует эту импровизированную «фабрику»; для него это — случайное помещение части капитала, нечто такое, что можно в каждый данный момент организовать и столь же быстро ликвидировать и даже забыть как некий быстро промелькнувший эпизод его разнообразной деловой жизни. Никаких капитальных сооружений, рассчитанных на десятилетия, никакого больших и не скоро возвращаемых затрат требующего оборудования здесь не было, и чуть ли не завтра же в том доме, где сегодня помещалось это промышленное предприятие, можно было начать совершенно другое «дело»; как раз того, что делает из собранных в одном здании и здесь работающих людей некий сложный в той или иной мере организм, именно соединения и расчленения труда, здесь нет; поэтому приме-

---

<sup>1)</sup> В дополнение к названным выше книгам см. еще Кречмар (М.). К вопросу о хозяйственном развитии Рима. Промышленность в Риме и теория Бюхера. Варшава, 1905.

нять к таким мастерским термин «фабрика» не представляется возможным.

Но у нас есть и другие данные, позволяющие говорить о крупном производстве иного типа, приближающемся в той или иной мере к формам, для нас обычным. Как раз в Риме мы встречаем подобные крупные промышленные предприятия. Очень многие крупные землевладельцы, в том числе представители сенаторской аристократии и сами императоры и члены императорской фамилии, устраивали в своих поместьях кирпичные заводы, горшечные, каменных и металлических изделий, заводы валяльные, ткацкие, красильные. Владелец завода или сам вел дело, или сдавал завод в аренду, или передавал его вольноотпущеннику, снабдив его необходимым для ведения дела капиталом и выговорив себе определенную часть дохода. В первом случае, то есть когда дело вел сам владелец завода, во главе завода стоял раб, носивший в этом качестве название *actor*, *dispensator* или *institor*, который и руководил работою «фамилии» приписанных к заводу рабов. При сдаче заводов в аренду (*locatio-conductio*) владелец сдавал завод или вместе с рабским персоналом, или без него. Когда завод передавался вольноотпущеннику, этот последний становился руководителем всего дела, и дело это было настолько выгодно для него, что он нередко получал возможность обзавестись собственным заводом и становился одним из элементов крупной промышленной буржуазии. Заводам этим не было чуждо и соединение и расчленение труда, столь характерное для фабричного производства: на металлических, например, заводах мы видим модельщиков, литейщиков, полировщиков, позолотчиков, ваятелей. Не в одних поместьях римских крупных землевладельцев находились эти заводы, но и в городах на всем протяжении Италии, а также в Галлии и Испании. Изделия их расходились по всему римскому миру, а некоторые из них проникали и за его пределы.

Мы не имеем основания сводить к слишком скромным размерам развитие крупной промышленности в римском мире, как это иногда можно наблюдать в исторической литературе. Конечно, крупная индустрия не занимала в хозяйственной жизни древнего мира того места, которое она заняла в новое время, и не выдвинула на историческую сцену могущественного класса, представляющего ее интересы и в общественной, и в государственной жизни. Но это последнее обстоятельство само по себе еще не является показателем слабого развития крупного производства в обрабатывающей про-

мышленности. Мы видели, что владельцами заводов являлись очень часто крупные землевладельцы, т. е. тот класс римского общества, который никогда не утрачивал своего руководящего положения и в обществе, и в государстве (без различия сенаторской и всаднической аристократии); так что развитие крупной индустрии лишь усиливало удельный вес и значение этих сословий, а те из вольноотпущенников, которым удавалось выдвинуться на этой почве, едва ли могли быть достаточно многочисленны, чтобы обособиться в особый сколько-нибудь влиятельный класс; да к тому же их за-таенной, а то и вовсе нескрываемой мечтою было пробраться в сословие всадников, а то и дальше, и для этого они вкладывали часть своих промышленных доходов в земельную собственность, в те времена представлявшую собою самое выгодное и прочное обеспечение и настоящего, и будущего.

Конечно, слабое развитие техники не давало в руки крупных предпринимателей орудия, с помощью которого они могли бы оттеснить мелкую промышленность совсем на задний план, и не удивительно, что эта последняя продолжала удерживать свои позиции наряду с крупной; и предпринимательскому капиталу представлялось широкое поле для использования мелких ремесленных организаций для своих коммерческих надобностей, выступая то в роли простого скупщика ремесленных изделий у их изготовителей для перепродажи их на близком или далеком рынке, то в роли заказчика, снабжавшего мелких ремесленников сырьем и превращавшего их, таким образом, из ремесленников в собственном смысле (*Handwerker*, как их определяет Бюхер, т. е. мелких предпринимателей с собственным капиталом, работающих на сбыт, иначе *Preiswerker*) в работающих на заказ из чужого материала ремесленных рабочих (*Lohnwerker*), создавая этим так называемую домашнюю, по нашему кустарную, промышленность (*Hausindustrie*), организуя так называемую *Verlagsystem*. Крупное предприятие осуществлялось здесь в форме совокупности мелких производств.

Капитал мог пользоваться формой мелкого производства и другим способом, тоже достаточно широко распространенным в древнем мире и состоявшем в том, что владелец капитала в рабах и в деньгах снабжал рабов всем необходимым для ведения собственного дела, выговаривал для себя часть той прибыли, которую каждый из них получал от своего дела. Весьма распространенной, особенно в Риме, была сдача внаймы целых артелей рабов-ремесленников, которых для этого содержали, а может быть, и обучали ремеслу их вла-

дельцы, видевшие в этом весьма выгодное помещение своего капитала, что явствует из того, что этим занимались очень богатые и влиятельные политические деятели, как, например, Красс. Широко привлекало римские капиталы и горное дело, разработка рудников.

Чрезвычайно широкое поле для приложения римского капитала представляла торговля, в особенности морская торговля, принявшая в последние века республики и первые века империи грандиозные размеры. Корабли римских купцов заходили во все моря. Принимали в ней участие представители всаднического сословия, а также и сенаторского, причем эти последние вели дело через подставных лиц, своих вольноотпущенников и рабов, в обход закона, запрещавшего сенаторам заниматься торговыми делами. Большие барыши давало владение транспортными судами, и в Риме существовали общества (*collegia*) судовладельцев (*navicularii*), представлявшие за плату свои корабли как частным лицам, так и государству, которое нуждалось в их услугах для доставки в Рим провинциального хлеба, раздававшегося со времен Гракхов столичному пролетариату сначала по дешевой цене, а впоследствии и вовсе бесплатно.

#### IV

Переход Рима от республиканского режима к принципату, а потом к чистой монархии эллинистического типа отразился на его хозяйственной жизни целым рядом чрезвычайно важных последствий. Мы уже не будем говорить о тех грандиозных потрясениях, которые она испытала за время, предшествовавшее установлению принципата Августа, за эти едва ли не сто лет перманентной революции, жестокой и беспощадной, в бурях которой рождался новый государственный порядок, сменивший совершенно выродившуюся в новых условиях и утратившую всякое право на существование политическую форму города-государства, вполне пригодную для небольшого политического соединения, каким был Рим в начале, но совершенно несовместимую с интересами и задачами мирового государства, созданного римскими завоеваниями. Мы остановим наше внимание лишь на том, что произошло в эпоху принципата и в последние века существования Римской империи.

В эпоху принципата была проделана колоссальная работа реорганизации римской державы (*imperium*), превратившая ее из беспорядочного конгломерата стран и народов, в сущности отдан-

ных на поток и расхищение политически и социально господствовавшей сравнительно небольшой, но тесно сплоченной общностью интересов группе, давно выделившейся из массы полноправного гражданства, в единое государственное целое, управляемое органами центральной и местной администрации, обязанными руководствоваться чисто государственными интересами и применять для всех обязательные правовые нормы. Хаос и анархия частных интересов правившей миром олигархии уступали место настоящему государственному порядку, постепенно вытеснявшему все то в организации власти и управления, что обеспечивало безраздельное и бесконтрольное владычество нобилитета и всаднического сословия над миллионами подвластных Риму людей. Прежде всего было преобразовано провинциальное управление, трактовавшее провинции как «вотчины римского народа» (*praedia populi Romani*) и предоставлявшее их во временное, в сущности бесконтрольное пользование членам правящих сословий, которые извлекали из них по возможности максимум того, что они были в состоянии дать к великому для себя ущербу. Провинциалы постепенно были уравнены в правах с римскими гражданами (решительным шагом в этом деле был эдикт императора Каракаллы 212 года нашей эры). Провинции стали органическими частями римского государства; стоявшие во главе управления каждой из них губернаторы (название проконсулы сохранилось за ними, но утратило прежний публично-правовой смысл) были поставлены под строгий контроль центральной власти и являлись ее представителями на местах, облеченными обширными, но введенными в определенные рамки полномочиями и получавшими за свою службу определенное содержание из государственных средств. Сдача на откуп следовавших с провинций и превратившихся в государственные прямые налоги даней была постепенно упразднена, и государство взяло в свое непосредственное ведение сбор налогов и создало для этого свои собственные финансовые и фискальные органы. Земское, муниципальное самоуправление получило самое широкое распространение по всему римскому миру, оживив местную жизнь и способствуя ее культурным успехам. Ко всему этому надо прибавить, что первые века нового государственного режима были и веками мира для всех стран и народов, признававших римскую власть, давно, чтобы не сказать никогда, не ведомого им, и после покорения их Римом, и до него, и особенно нуждавшихся в нем теперь, после целого столетия самой жестокой и губительной гражданской войны.

Новый государственный порядок являлся, таким образом, полным отрицанием всех тех условий, которые, как мы видели, сообщали хозяйственной жизни Рима и в более раннюю пору, и особенно в последние два века республиканского режима, в эпоху полного расцвета капитализма, столь ярко выраженное спекулятивное направление. Экссессам спекулятивного капитализма, питавшегося завоеваниями и беспощадной эксплуатацией завоеванного в интересах сенаторского и всаднического сословий, был положен конец, и хозяйственная жизнь постепенно вошла в русло более здорового развития, связанного с подъемом производительных сил миллионов провинциального населения, придавленных господствовавшей до тех пор системой управления. Римский капитализм принял более продуктивное направление. Постепенно пришлось ему ликвидировать и систему плантационного хозяйства в том виде, в каком она была возможна при наличности, можно сказать, неограниченного количества дешевой рабской силы, которую доставляли непрерывавшиеся войны и завоевания и в грандиозном масштабе свирепствовавшее на Средиземном море в последний век республики пиратство. Прекращение войн и торжество римского мира (рах гомана) делали невозможным дальнейшее существование крупного плантационного хозяйства с сотнями, а то и тысячами рабов, живших в казармах и выходивших на работу в военном порядке, работавших нередко в цепях, под надзором вооруженных палками с острыми наконечниками рабов-надсмотрщиков. Если прежде хлебопашество в крупном плантационном хозяйстве играло второстепенную роль, и производство хлебных злаков передавалось мелким арендным хозяйствам в той их постановке, которая делала арендатора, колона, лишь хозяйственным орудием крупного землевладельца, на земле которого он сидел, то теперь пришлось постепенно передать колонам в виде мелких участков и оливковые, и виноградные плантации, превращая в колонов и рабов, если они еще оставались у землевладельца.

Ликвидация плантаций, как крупного капиталистического производства, сама по себе еще не означала, как видим, ликвидации плантационного хозяйства вообще; не являлась она и ликвидацией капитализма в области сельского хозяйства, так как, и разбившись на ряд мелких арендных хозяйств, плантация не переставала быть крупным капиталистическим предприятием. Ввиду этого следует остерегаться видеть в ликвидации крупного плантационного рабского хозяйства признак хозяйственного и даже общего культур-

ного упадка Рима. Крупное рабское плантационное хозяйство явилось результатом исключительных условий, созданных римскими завоеваниями и их своеобразной эксплуатацией, и с исчезновением этих условий и оно должно было исчезнуть, уступив место другим хозяйственным формам капиталистических предприятий, какие были возможны в новых условиях, лишь введя капитализм в рамки более спокойного и плодотворного развития, но вовсе не враждебных ему, как и всей хозяйственной жизни страны. Во всяком случае, говоря вообще, в первые два века принципата хозяйственная жизнь Рима, как и его общая культурная жизнь, испытала быстрый и решительный подъем, и менее всего в этот период может быть речь об ее упадке.

Насколько был прочен этот подъем, это мы увидим в дальнейшем.

Постепенная перестройка прежней системы управления, явно направленной к обеспечению односторонних интересов господствовавшей политически и социально общественной группы на счет массы полноправных граждан и миллионов бесправного провинциального населения, вытесняла эту группу из той политической позиции, которую она занимала, и отстраняла ее от тех материальных выгод, которые с ней соединялись; она шла параллельно с открытой борьбой новой власти с этой группой на чисто социальной почве. Борьба эта была направлена к социальному ослаблению крупных землевладельцев, державших в своих руках безземельную и малоземельную массу, способных в случае надобности выставлять целые полки из своих рабов, вольноотпущенников и колонов, и к собственному социальному укреплению и усилению власти, к созданию для нее возможно более широкой социальной базы, которая устраняла бы всякую политическую конкуренцию, к максимальному расширению земельных владений власти на счет земельных богатств аристократии и к установлению таким путем непосредственной связи между верховной властью и возможно более широкими массами крестьянского населения.

Борьба эта носила характер борьбы политической, направленной непосредственно к устранению политических противников новой власти, реальных и воображаемых, и влекла за собой и хозяйственные и социальные последствия, сейчас указанные, так как она сопровождалась самой беспощадной расправой с опальными и самыми неумеренными конфискациями. По словам Плиния, половиной про-

винции Африки владело шесть земельных магнатов (*sex domini*); Нерон велел их убить (*interfecit eos*), а их владения присоединил к своим. История принципата знает очень много подобных фактов, и их последствием было то, что в непосредственном распоряжении верховной власти оказались колоссальные земельные владения, разбросанные по всему римскому миру, с возделывающими их миллионами разноплеменного крестьянского населения. В данном случае, как и во многих других, римская императорская власть шла по стопам эллинистических монархов, таким же точно образом ведших борьбу с феодальной аристократией в Египте, в Сицилии и в Малой Азии и создавших кадры государственного крестьянства из освобожденной из-под ее власти крестьянской массы. Эллинистические царства Малой Азии вошли в состав римской державы еще при республиканском режиме и немедленно же стали добычей римских магнатов, основавших здесь целые княжества. Но эта реставрация доэллинистических порядков не была прочной, и восторжествовавшая в Риме императорская власть быстро их ликвидировала, устранив новых феодальных potentatov и став лицом к лицу с крестьянской массой, попавшей было под их власть, и теперь опять, таким образом, вернувшейся к положению государственного крестьянства. В Египте императорам не было надобности проделывать эту операцию, так как Египет был присоединен к Риму уже в эпоху принципата, и императорам оставалось только занять в отношении к государственному крестьянству Египта вакантное место его эллинистических царей. В тех частях империи, где не было этого эллинистического наследия, этих уже готовых кадров государственного крестьянства, так, например, в провинции Африке (на месте Карфагенской державы), императорам приходилось их создавать таким же точно, как мы видели, способом, каким создавали их у себя эллинистические монархи, становясь на место устранимых ими тем или иным способом частных владельцев, а также путем усиленного насаждения на «государственной земле» (*ager publicus*) мелкого фермерства.

Правовое и хозяйственное положение крестьянской массы и в том, и в другом случае складывалось по эллинистическим образцам, за которыми не далеко было ходить, так как и в правовых, и в хозяйственных условиях государственного крестьянства эллинистических монархий с переходом его под непосредственную власть римского императора никаких существенных изменений не произошло на первых порах, да и долго потом не происходило. Условия

эти впоследствии были перенесены законодательной и административной практикой империи и на крестьянское население частных имений на всем протяжении империи. «Царские земледельцы», «царские люди», «царский народ», или просто «народ» Египта и Малой Азии сидели на «царской земле» на положении прекарных держателей. Положение это не являлось результатом двустороннего договора: оно было предрешено публикуемыми царскими чиновниками общими условиями держания, на которые нуждавшимся в земле людям оставалось только соглашаться, делая для этого соответствующее заявление или предложение. Садясь на «царскую землю», крестьянин сразу попадал под самую строгую и самую назойливую опеку царских чиновников, которые не оставляли без своего самого пристального внимания ни одного его хозяйственного шага, будет ли то обработка его поля, посев или уборка хлеба и перевозка его на гумно. Неукоснительность в выполнении им своих хозяйственных обязанностей обеспечивалась еще и круговой порукой всей деревни. Когда хлеб был свезен на гумно и вымолочен, на гумно собиралась вся деревенская администрация, и в ее присутствии производился дележ урожая между земледельцем и казной, которая должна была получить сполна причитающуюся ей арендную плату и числившуюся за земледельцем недоимку.

Но земледельческой работой на своем участке далеко не ограничивались обязанности царского земледельца. Его во всякое время деревенский писарь или деревенский старшина мог потребовать на всякую работу для царских надобностей: чинить мосты и дороги (или насыпи и каналы, как это было в Египте), возить царский хлеб к гаваням Нила и всякую иную кладь, куда надо было, ставить лошадей для едущих по казенной надобности царских чиновников, а то и для самого царя. Но и этого мало: на него еще взваливалась обязанность обрабатывать по той или иной причине пустующие участки в его деревне (mansî absî, как сказали бы в средние века в Европе).

Крепостными лично и земельно несвободных «царских земледельцев» мы все же назвать не можем. В доэллинистический период и в Египте, и в Малой Азии они, несомненно, были в огромном большинстве несвободными людьми, но затем, при эллинистических царях, они получили личную свободу и свободу передвижения. Правда, эту последнюю не вполне. Эллинистические монархи сохранили в полной силе унаследованный ими от своих восточных предшествен-

ников выработанный административной практикой этих последних принцип приписки (он стал потом называться по-гречески *'idia*, а по-латыни *origo*, буквально р о д и н а, место рождения). Царский землевладелец был приписан к деревне, в которой он держал царскую землю, деревня эта рассматривалась как его родина, и в силу этого принципа приписки администрация имела законное право потребовать его возвращения на место своей «родины» всякий раз, когда в нем или в его работе оказывалась надобность, если он не находился на месте, а также налагать, на тех же основаниях, свое veto на его намерение отлучиться из своей деревни. Если мы примем во внимание, как много казенных повинностей лежало на «царских земледельцах», и как строга и неумолима была тяготевшая над ними опека деревенской администрации, то для нас станет в достаточной мере ясным, что свобода «царского земледельца» оказывалась совершенно проблематичной.

Для управления императорскими и государственными землями была создана постепенно целая административная система, более известная нам по данным источников, относящихся к провинции Африке. Главная роль в этом управлении принадлежала императорским прокураторам, ведавшим, прежде всего, его финансовую сторону в том или ином округе, на которые распадалась вся территория императорских и казенных имений. С ними и с их агентами должны были иметь дело крестьяне этих имений, ставших для них их р о д и н о й (*origo*) со всеми вытекавшими из этого последствиями; и им они должны были выплачивать следуемую с них арендную плату и по их требованию выходить на барщину определенное число дней в году; от них они должны были ждать защиты в случае нарушения их прав и охраны регулировавших их жизнь и их повинности правовых норм. Подобно «царским земледельцам» эллинистических монархий и государственные крестьяне римской Африки постепенно, таким образом, превращались в сословие наследственных «императорских людей», долженствовавших быть основой правительственных средств и частных ресурсов верховной власти. Подобные распорядки создаются и в других частях римской территории, где находились императорские и государственные земли. Было не мало этих земель в Италии; но здесь они не преобладали, как в провинциях (прежде всего в Египте, в Малой Азии и в Африке), и Италия всегда оставалась страной частных латифундий.

Быстрый и решительный под'ем, какой испытала хозяйственная жизнь Рима, как и его культурная жизнь вообще, в первые два века принципата, совпадающие в общем с первыми двумя веками нашей эры, и какой был вызван устранением тех тормозов, которые органически были связаны с прежним режимом, построенным на совершенно откровенной своекорыстной эксплуатации хозяйственных и иных культурных ресурсов всего тогдашнего средиземноморского мира двумя господствующими группами римского гражданства, видевшими в государственной организации Рима аппарат, долженствовавший служить прежде всего их собственным хозяйственным интересам, и созданием новых политических и правовых условий, обеспечивавших в той или иной мере нормальное культурное и хозяйственное развитие, был лишь блестящим, но кратким эпизодом в истории древнего мира. За ним последовал период упадка, несомненного понижения культурного уровня и самого Рима, и тех культурных территорий, которые входили в состав империи, им созданной. Древняя цивилизация, созданная тысячелетиями культурного развития средиземноморского мира, стала явно клониться к упадку, заключенная в необ'ятно широкие границы римской державы, казалось бы, обеспечивавшей ей более, чем когда-либо, мирное движение вперед, связавшая свою судьбу с ее судьбою, поставленная в зависимость от всех перипетий и случайностей индивидуальной истории ее государственного организма в его хозяйственной и социальной обусловленности.

История эта обыкновенно называется историей упадка и падения Римской империи и давно уже вызывает к себе живой интерес и историков, и политиков, и богословов, и философов, и художников, и поэтов. Это был очень сложный и длительный процесс, и, может быть, более правильным было бы назвать его процессом перерождения древнего мира в мир новый, древней культуры в культуру нового мира. Мы теперь уже не склонны катастрофически представлять себе смену древнего мира новым, и более, чем когда-либо, нам ясна теперь вся сложность этого явления и односторонность, неполнота, а то и совершенная неудовлетворительность тех точек зрения, с которыми подходили к нему исследователи прежнего времени. Восстановление конкретной картины утверждения германцев на территории Римской империи, сделанное Допшем с помощью целого ряда специальных исследований, произведенных археологами,

лингвистами, представителями исторической географии и топографии и др., многое сделало ясным в этом процессе, осветило ту его сторону, которой он уже прямо соприкасается с средними веками, точнее — превращается в средние века. Такой же конкретной картины того, как протекал этот процесс в течение тех столетий, которые непосредственно следовали за периодом подъема, испытанным древней культурой, картины, которая бы сделала для нас наглядно ясной необходимость и неизбежность всего того, что за этим последовало, у нас пока нет. Тем не менее многое уже сделано для того, чтобы основные очертания ее стали для нас бесспорными.

Организуя мировую державу, римская государственная власть брала на себя колоссальной трудности задачу, требовавшую для своего разрешения столь же колоссальных средств. Ведь эта была не восточного типа монархия, наскоро сколоченная из самых различных племен и народов, которые, и войдя в ее состав, продолжали сохранять свою индивидуальность, свой строй и свое управление и свою зависимость от верховной власти основателя и главы империи осуществляли уплатой дани его наместникам и поставкой в случае надобности военных контингентов. Римская империя была культурным государством в самом подлинном значении этого слова и несла культуру во все части своей необъятно обширной территории, как бы низко ни стояли те или иные из них в этом отношении. А таких было не мало. «На немногие, действительно развитые в культурном отношении территории Востока и Запада, — скажем словами проф. Ростовцева, — каковыми являются Италия, Греция, некоторые части Малой Азии, Египет, некоторые части Сирии и Месопотамии, может быть, также и Галлии и отчасти Испании и Африки, приходились колоссальные пространства варварской земли, которая для того, чтобы быть в состоянии жить одной жизнью с остальной империей, чтобы не быть лишь балластом, но действительно стать частью империи, нуждалась в колоссальных колонизаторских силах и в колоссальных средствах для ее защиты и для приведения ее в культурное состояние: вспомним только об урегулированной системе дорог и границ с валами и укреплениями, вспомним о войске. Нужно представить себе ту колоссальную работу, которую нужно было проделать в Дунайских провинциях, в Германии, в Британии, во внутренних частях Испании, в южной и западной провинции Африки, в Понте, Кападокии и в Северной Сирии и которая была произведена, главным образом, римскими солдатами почти без всякой помощи со стороны туземного

населения, которое было малочисленно и стояло на низком уровне культуры, и через посредство римских солдат, чиновников и negotiatores должно было быть постепенно привлечено к правильной хозяйственной и культурной жизни»<sup>1)</sup>.

Все это требовало огромного напряжения всех культурных сил страны, все это пред'являло к культурным частям империи самые неумеренные требования, тяжесть которых ощущалась все сильнее по мере истощения этих сил. Но государство перед этим не останавливалось и прибегало к самым суровым мерам принуждения, пуская в ход все средства, какие обещали достижение поставленной цели. Постепенно главной задачей правительственной деятельности, его внутренней политики, стало добывание средств, и беспощадный фискализм наложил свою мрачную печать на все стороны жизни, весь смысл ее сводя к неукоснительному выполнению требований фиска и к незамедлительному отбыванию государственной барщины. Все это принимало все более и более характер настоящей борьбы государства с обществом за свое существование, в результате которой общество было повержено в прах и заковано в цепи самого сурового рабства, и каждая из его до тех пор свободных групп и организаций была превращена в служебный орган государства, обязанный нести принудительную работу для надобностей государственного ойкоса. Всеобщее закрепощение, превратившее общественные классы империи в наследственные касты государственных тяглецов, вело лишь к дальнейшему истощению хозяйственных и культурных сил и к дальнейшим репрессиям со стороны государства.

Вполне определенные очертания приняла эта эволюция римского общества и государства к концу третьего века нашей эры, после того, как государству удалось, наконец, справиться с тянувшимся чуть ли не целое столетие политическим кризисом, грозившим разрушить единство империи, раздробить ее на ряд отдельных государственных образований. Кризис этот произвел в империи жестокий хозяйственный разгром. А между тем государству нужно было для обеспечения восстановленного порядка и для собственной реорганизации напрячь платежные силы общества гораздо больше обычного. Военные контингенты империи были увеличены вчетверо; сильно увеличена была и армия чиновников в соответствии с потребностями окончательно принявшего бюрократический характер управления. Денежный кризис заставил правительство перейти к

<sup>1)</sup> Rostowzew. Studien zur Geschichte des römischen Kolonates, стр. 388—389.

системе натуральных сборов вместо денежных податей, а для обеспечения исправного и безнедоимочного их поступления оно стало вводить в жизнь в широких размерах эллинистическую систему литургии, т. е. принудительных и обязательных повинностей, личных и имущественных, наложенных государством на своих подданных для удовлетворения своих потребностей и заключавшихся во всякого рода государственной барщине, в обязанности занимать муниципальные должности и нести связанные с этим материальные жертвы, а также в имущественной ответственности более состоятельных граждан за менее состоятельных в отношении лежащих на них податей и литургий.

Этот принцип имущественной ответственности получил особенно широкое, можно сказать, универсальное применение и имел самые фатальные последствия, оказав самое глубокое воздействие на всю хозяйственную жизнь империи и на ее социальный строй, когда он был положен в основу податной реформы, введенной Диоклетианом и сделавшей главным источником правительственных средств поземельный налог (*capitatio terrena*) и тесно связанную с ним подушную подать (*capitatio humana*). Для обеспечения следующих с муниципальных округов поступлений с течением времени все более или менее состоятельные элементы населения муниципального округа, местные землевладельцы были организованы в тяглое сословие куриалов, обязанных занимать муниципальные должности и нести все связанные с этим расходы, а также отвечать своим имуществом за исправное и безнедоимочное поступление податей с их муниципального округа. Известно, как губительно это отразилось на муниципальной жизни, и какое опустошение это произвело среди муниципальных землевладельцев, сметя в конце концов едва ли не весь средний землевладельческий класс Римской империи. Несли землевладельцы и индивидуальную ответственность: они отвечали за исправное поступление податей с сидевших на их земле крестьян, с их колонов, и это отразилось на положении колонов рядом самых глубоких последствий.

Мы видели, что в первые два века императорского режима много было сделано для создания широкой хозяйственной и социальной базы для новой власти, и в непосредственном ведении власти оказались колоссальные земельные богатства, разбросанные по всему лицу мировой державы, с миллионами непосредственно зависевшего от представителей этой власти государственного крестьянства. И арендную плату, и подати крестьяне эти должны были

выплачивать агентам этой власти и с ними иметь дело при выполнении всяких других требований, предъявлявшихся им этой властью, будет ли это поместная барщина или барщина государственная. Нельзя, впрочем, сказать, чтобы этот порядок оставался неизменным, или чтобы он был общим правилом, не допускавшим исключения, чтобы наряду с агентами власти не появлялись в императорских saltus'ах (так назывались обыкновенно принадлежавшие императорам крупные поместья в Африке и в других провинциях) и иного положения люди, оказавшиеся здесь с другими намерениями и с другими полномочиями в отношении к крестьянскому населению поместья. Можно даже предположить, что это было даже весьма распространенным явлением, это присутствие в императорских вотчинах деловых людей, бравших на откуп все имение и, следовательно, отвечавших перед фиском за все следовавшие с него поступления в виде арендной платы и податей колон и вносивших в казну арендную плату за господскую часть имения, за барскую землю, которую они при этом арендовали. Такие генеральные с'емщики, кондукторы (conductores от locatio-conductio, как называлась арендная сделка, арендный договор, который они заключали с фиском) вступали в непосредственное соприкосновение с колонами имения не только в качестве сборщиков их арендной платы и податей, но и в качестве арендаторов барской земли, вступавших в условиях своего арендного контракта с казной в права собственника имения на барщинные повинности крестьян имения. Нельзя сказать, чтобы повинности эти были слишком обременительны для крестьян, сводясь иногда, а может быть и всегда, всего лишь к нескольким дням работы в году. Но это не устраняло возможности всякого рода недоразумений и конфликтов на этой почве, тем более, что императорские вотчины (как и вотчины римских сенаторов) были экстерриториальны в отношении к муниципальным округам, и крестьянин здесь не мог рассчитывать на защиту со стороны муниципальных властей. Властью, для него доступной и единственной, был императорский прокуратор, стоявший во главе того или иного комплекса вотчин и по своему социальному облику более близкий кондуктору, чем колону.

Такой конфликт произошел между колонами и кондуктором при императоре Коммодe в императорской вотчине, которая находилась на территории нынешнего Туниса и называлась Saltus Burunitanus, в последней четверти второго века. Кондуктором в этом saltus'e был некий Аллий Максим. Он уже не одно пятилетие был гене-

ральным с'емщиком этой императорской вотчины, очевидно, имея достаточно серьезные хозяйственные основания не менять ее на другую. Среди этих оснований не последнее место, надо думать, занимала возможность не слишком стесняться буквой закона, заключавшегося в уставе императора Адриана, регулировавшем отношения между кондуктором и колонами в императорских имениях провинции Африки, как и другие стороны ее поместного строя, обеспеченная тоже далеко не безупречной в смысле законности поддержкой со стороны прокуратора того округа, в котором это имение находилось, на которую он всегда мог рассчитывать во всех случаях так называемых недоразумений, возникавших у него с колонами на этой почве. Об одном из таких недоразумений рассказывает надпись, найденная в семидесятых годах прошлого столетия в Тунисе.

Она представляет собой прошение, поданное колонами этого имения императору Коммоду, в котором они жалуются на незаконные действия кондуктора и прокуратора и просят защиты, и рескрипт императора в их пользу, предписывающий прокураторам заботиться о том, чтобы с колонов не требовали ничего, что идет вразрез с установленными правилами, и строго соблюдали эти правила. «Мы просим тебя, — пишут колоны императору, — чтобы согласно статье устава Адриана... ни прокуратору, ни тем более с'емщику не позволялось увеличивать наши земельные оброки (*partes agrarias*), как и дни обязательных работ или поставки рабочего скота (*operatum praebitionem jugorumve*). Пусть дело остается так, как было установлено в письмах твоих прокураторов, которые сохраняются в архиве карфагенского округа. Пусть не налагают на нас более, чем два дня пахоты, два бороньбы и два жатвы в год (*non amplius annuas quam binas aratorias, binas sartorias, binas messorias operas debeamus*). Так именно и показано в постоянном уставе, который начертан на бронзовой доске». Кондуктор не считает нужным руководствоваться этим уставом. И не удивительно: «Мы только ничтожные крестьяне (*rustici tenues*), поддерживающие жизнь трудом рук своих, а он, кондуктор, богатая особа, могущая купить благорасположение нужных ему лиц хорошими подарками. К тому же его хорошо знают прокураторы, так как он уже несколько раз подряд снимает землю. Сжался же над нами и соблаговоли приказать священным рескриптом, чтобы нас не заставляли нести больше, чем мы должны согласно уставу Адриана и письмам твоих прокураторов, т. е. три раза по два рабочих дня в год (*ter binas operas*), чтобы мы, твои кре-

стьяне, дети этой земли, родившиеся на ней и ею вскормленные (*rustici tui vernulae et alumni saltuum tuorum*), не подвергались притеснениям от арендаторов земель фиска (*agrorum fiscalium*)». А притеснениям они подвергались не малым и от кондуктора, и от прокуратора. К этому последнему они не раз обращались с жалобами на кондуктора. «Но он не услышал наших жалоб,—пишут они императору, — не расследовал нашего дела за все долгие годы, в течение которых мы просим его об этом». Тогда колонны решили обратиться к императору. Об этом стало известно и кондуктору, и прокуратору, и они приняли решительные меры, чтобы отбить у них охоту приводить свое намерение в исполнение, имея все основания опасаться этого шага со стороны колоннов, грозившего тому и другому самыми серьезными неприятностями. «Он (прокуратор) сделался сообщником Аллия (кондуктора) до такой степени, — жалуются колонны императору, — что отправил в этот *Saltus Burunitanus* солдат (*missis militibus*) и приказал схватить и истязать некоторых из нас, других бросить в тюрьму, а некоторых, даже римских граждан, приказал высечь розгами (*virgis et fustibus effligi*). Между тем единственная наша вина состояла в том, что, терпя столь тяжелое для нас, маленьких людей (*pro modulo mediocritatis nostrae*), и столь явное беззаконие, мы в горестном письме (*acerba epistola*) молили твое величество о помощи». Теперь они, несчастнейшие люди (*miserrimos homines*), опять принуждены обратиться с мольбой о помощи к священнейшему императору (*sacratissime imperator*).

На этот раз их попытка искать защиты у главы государства увенчалась полным успехом, и в ознаменование этого события они изготовили и, надо думать, поставили на видном месте бронзовую доску, на которой был высечен текст и их прошения на высочайшее имя, и ответа императора, адресованного на имя прокуратора Лурия Лукулла. «Принимая во внимание мои предшествующие распоряжения и устав, — читаем мы в этом ответе, — прокураторы будут требовать (с колоннов) не больше, чем три раза по два дня обязательной работы (*ne plus quam ter binas operas curabunt*), и чтобы вы ничего не требовали незаконно в нарушение установленных раз навсегда правил (*contra perpetuam formam*)».

Мы не знаем, как часто удавалось колоннам императорских поместий так счастливо оканчивать свои столкновения с кондукторами. Возможно, что такие случаи не были редкостью в эту эпоху: ведь это была еще пора увлечения власти идеей насаждения государственного крестьянства, и забота о его благополучии еще не вы-

ходила из ее программы. Но когда суровая государственная необходимость обострила до последних пределов нужду в правительственных средствах, и попытка власти опереться непосредственно на трудовую массу и ее сделать своим фискальным базисом оказалось совершенно несостоятельной, пришлось, не мудрствуя лукаво, опять вернуться к тому, что так решительно было отстранено в начале, и искать опоры там, где ее можно было найти, у богатых и сильных, взвалив на них всю тяжесть фискальной ответственности за слабых и маломочных, — тогда колонны императорских вотчин должны были скоро убедиться, как трудно стало им бороться с людьми, на которых правительство возложило все свои надежды, все свои фискальные упования, с которыми и прежде не легко им было тягаться, отстаивая свои права от их незаконных посягательств и опираясь на совершенно определенные постановления закона, точно формулированные и не вызывающие никаких недоумений.

В интересах фиска было теперь упрочить положение генерального с'емщика в поместье, превратить его в долгосрочного и даже наследственного арендатора поместья. И правительство всякими льготами старается привлечь денежных людей к фискальной земле, создавая всевозможные виды аренды ее, приближающие ее к наследственной собственности. Кондуктор превращается постепенно в полновластного распорядителя всеми сторонами жизни императорской вотчины, становится господином (*dominus*) ее колонов, и, если уж очень оказывалась для них тяжелой рука его, им в сущности ничего другого не оставалось, как уходить, куда глаза глядят, — средство, давно испытанное и вечно применяемое в качестве меча для разрубания гордиевых узлов аграрных осложнений. Правительство принуждено собственными руками насаждать крупное частное землевладение на государственных доменах, и интересы крестьянства, их возделывавшего, отступили для него на задний план. Земледельцы интересовали теперь правительство лишь постольку, поскольку они своими платежами и работой обеспечивали землевладельцу лежавшие на нем обязательства в отношении к государству, и оно, естественно, чувствовало себя солидарным с тем, с кем оно непосредственно стало теперь иметь дело, и готово было оказывать ему всяческое содействие в случае недоразумений, возникших у него с его мелкими держателями. А недоразумения эти в связи с все увеличившимся бременем требований, предъявлявшихся к платежным силам земледельческого населения со стороны государства и землевладельцев, все учащались, и уход колонов становился повсе-

дневным явлением. Уходили они весьма нередко к более удобным для них землевладельцам, которые иногда, тоже весьма нередко, просто сманивали их более льготными условиями существования. Об этом мы имеем совершенно определенные сведения, не оставляющие сомнения, что это было весьма распространенное явление, причинявшее не мало хлопот землевладельцам и требовавшее от правительства серьезных мероприятий, так как оно должно было самым губительным образом отражаться на его фискальных интересах.

О нем мы и узнаем от самого правительства. «Тот, у кого будет найден принадлежащий другому колон (colonus juris alieni), не только должен вернуть его туда, откуда тот родом (eundem origini suae restituat), но и должен заплатить подать (capitationem), причитающуюся с него (колона) за все то время, какое у него колон находился» (Cod. Theod., V, 91). Это слова из постановления императора Константина Великого от 332 года, которым начинается ряд известных нам императорских конституций, имевших в виду прекратить переход колонов от одного землевладельца к другому и нерасторжимыми узами прикрепить их к тому поместью, на земле которого они сидели, превратить колона в неотъемлемую принадлежность того земельного участка, который он занимал (membrium terrae), сделать его рабом земли (servus terrae), чтобы она не оставалась «вдовой без земледельца» (viduatae cultoribus).

Слова эти дают нам ясное указание и на то техническое средство, с помощью которого эта цель становилась достижимой, на тот административно-правовой принцип, который выработала для подобных же надобностей еще седая египетская старина эпохи фараонов и пирамид и который получил дальнейшее развитие и широкое распространение в эллинистическую эпоху, в монархиях сподвижников Александра Великого. Это все тот же знакомый уже нам принцип *origo, idia*, родины, еще более знакомый и государственным крестьянам империи и теперь лишь получивший более строгое применение. Поместье императора и раньше было для сидевшего на его земле крестьянства той территорией, с которой оно было связано также и в административном и судебном отношениях вследствие того, что оно не входило в состав муниципального округа, было экстерриториально в отношении к нему, и представители хозяйственных интересов императора были вместе с тем и представителями публичной власти для населения поместья, имевшими возможность применять свои публично-правовые полномочия и в хозяйственных интересах носителя верховной власти. Связь эта стала еще

крепче с усвоением административной практикой императорских вотчин принципа *origo* там, где его раньше не было, т. е. не на территории бывших эллинистических царств, например, в провинции Африке, в Италии. Теперь, когда все должно было служить все увеличивавшимся фискальным нуждам, и государственное принуждение стало основным принципом внутренней политики, ни перед чем не останавливавшимся, всех превращавшим в рабов государственного интереса, связь эта превращалась в «вечные узы права», как выражается одна из императорских конституций, и колон становился «орудием поместья» (*instrumentum fundi*), неотчуждаемым от него и от того участка, который он взял для обработки, сам, таким образом, переходил в разряд недвижимостей. «Никто из колонов не может по своей воле уходить, куда хочет, как это может сделать свободный человек, — читаем мы в одной из конституций императора Феодосия, — а если он уйдет, то собственник земли имеет право потребовать его назад» (*Cod. Just., XI, 51.*). Мало того: колон ждет еще и наказание. Император Валентиниан I постановляет в 371 году, что если колон уходит из деревни, с которой его связывает происхождение и родство (*in quo eos originis agnationisque merito certum est immorari*), и переходит к другому землевладельцу, то его следует вернуть обратно, заключить в оковы и подвергнуть наказанию, а землевладельца, принявшего его, оштрафовать по приговору судьи (*Cod. Just., XI, 53, 1*). В дополнение к этому закон 386 г. постановляет, что если кто переманит к себе (*sollicitatione susceperit*) или скроет у себя чужого колона (*colonum juris alieni*), то он обязан заплатить шесть унций золота, если это колон частновладельческий (*privatus*), и фунт золота, если это колон удельный (*patrimonialis*) (*Cod. Theod., V, 9, 2*). Закон императора Анастасия пятого века объявляет, что свободный человек, тридцать лет просидевший в качестве колона на данном участке, навсегда теряет право оставить его и переселиться в другое место, хотя и остается свободным человеком (*Cod. Just., XI, 23*).

Различие между колонами государственных земель и колонами частных владельцев было, таким образом, совершенно стерто: и те, и другие были лишены свободы перехода и прикреплены к тем участкам, на которых сидели. Принцип *origo*, родины, приписки, был распространен и на поместья частных владельцев, не говоря уже о тех императорских вотчинах, где до тех пор его не знали, и из него и здесь были извлечены все юридические последствия. Из мелких арендаторов, по контракту снимавших землю на пять лет и

плативших за нее деньгами или частью урожая. (*partes agrariae*), а то тем и другим вместе, и по истечении пятилетнего срока вольных оставаться на следующие пятилетия или уходить в другое место, если только за ними не окажется недоимок (*reliqua colonatum*), они превращались в постоянных жителей поместья, которое становилось для них их родиной, и навсегда лишались права оставлять занимаемый ими участок, из свободных колонов (*liberi coloni*) становились *coloni originarii*, приписанными к поместью колонами. Правда, многие из свободных колонов уже давно перешли на положение постоянных жителей поместья, фактически крепких земле, с которой связывала их или невозможность рассчитаться с собственником ее, уплатить ему недоимки и вернуть взятую у него еще при заключении арендного договора ссуду на обзаведение, или наличность удобств налаженного на насиженном месте существования, и применение к ним принципа *origo* встречало уже достаточно подготовленную почву. Распорядки частных имений постепенно приближались к распорядкам вотчин императорских. И здесь частно-правовые отношения между колоном и собственником земли, на которой он сидел, уже были осложнены элементами публичного права. Отвечая перед фиском за подати, лежавшие на его колонах и их участках, и частный землевладелец наделялся административно-правовыми полномочиями в отношении к своим колонам, усиливавшими, конечно, и его чисто экономическую власть над ними.

Становясь фискальным агентом правительства, землевладелец становился и представителем местной администрации, обязанным содействовать местным и центральным властям в охране общественного порядка, представляя привлекаемых к судебной ответственности колонов своего поместья в соответствующую судебную инстанцию и отвечая за их появление здесь, а более мелкие правонарушения в их среде и более мелкие тяжбы разбирая собственной властью в административном порядке; на обязанности его было и ставить рекрут из своих колонов. В чисто хозяйственных отношениях своих к колонам он должен был руководствоваться совершенно определенными нормами права, индивидуализированного местным обычаем (*consuetudo praedii, mos regionis*), и нарушение этих норм землевладельцем давало колону право жаловаться на него в имперский суд: ведь, и став крепким земле (*glebae adscriptus*), колон не переставал быть римским гражданином, хотя и с ограниченными в интересах государства правами, и государство не закрывало перед

ним дверей своих учреждений, когда ему нужно было восстанавливать свои права.

Правда, очень уж незначительная социально сравнительно с крупным земельным магнатом фигура его колона и неумолимые фискальные требования государства, адресуемые землевладельцу, не слишком внимательные к внутреннему обиходу поместий, нередко делали его положение мало отличным от положения посаженного на землю раба, к тому же вместе с ним выходившего на работу на барском поле, отвозившего в господские амбары часть своего урожая, и само законодательство иногда делает весьма характерные обмолвки и называет помещика, на земле которого сидит колон, его господином (*dominus*), каким помещик является ведь только в отношении к своим рабам.

Едва ли в лучшем положении очутились и другие категории римских граждан после того, как по всем им прошлась неумолимая фискальная рука. Все они были строго-настроено интернированы в пределах своих «родин» (*origo*). Для землевладельца, имевшего поместье на территории муниципального округа и включенного обязательно в ставшее тяглым сословие, поставлявшее подневольных земских деятелей, муниципальных магистратов, и отвечавших своим имуществом за исправное и безнедоимочное поступление податей, следуемых со всего муниципального округа, ставшего в глазах центральной власти прежде всего фискальным округом, в сословие так называемых *куриалов*, такой родиной был его муниципальный округ и, еще ближе и теснее, его сословие, его *курия*. Государство широко распахивало двери курий для всех, кого только можно было ввести в нее, но, раз войдя в нее, став куриалом, человек должен был «оставить всякую надежду», хотя этой надписи и не было на этих дверях, столь напоминающих двери Дантова ада. «Всякий знает, что куриалы — рабы республики (*servi rei publicae*)», сказал как-то один римский император. И это не была простая метафора, а самая точная квалификация куриалов, находящая свое самое красноречивое подтверждение в повседневных фактах муниципальной жизни последних веков империи, и «республика» была для них господином неумолимо жестоким и беспощадным в своих фискальных требованиях, не жалевшим для них кнутов с свинцовыми наконечниками и других орудий пытки. Не удивительно, что в курию зачисляли преступников вместо того, чтобы отправлять их на обыкновенную каторгу или просто казнить их.

Для ремесленника и торговца родиной стала его коллегия, тот профессиональный союз, прежде всего союз взаимопомощи, к которому он принадлежал. До третьего века он мог свободно входить в него и из него выходить. Но с третьего века государство начинает и эти союзы превращать постепенно в свои орудия. И прежде они могли служить государственным надобностям. Но служили они тогда по свободному договору с государством. Это были прежде всего коллегии торговцев съестными припасами и коллегии так называемых навикуляриев (*navicularii*), судовладельцев, занимавшихся морским и речным транспортом. Государственная власть всегда была очень озабочена тем, чтобы городское и прежде всего столичное население было обеспечено продовольствием, чтобы цены на жизненные продукты не поднимались, и чтобы те сотни тысяч пролетариев, которые получали от государства даровое пропитание, получали его исправно. В этих видах соответствующее ведомство (так называемый *praefectus annonae* стоял во главе его) заключало контракты с названными коллегиями на поставку хлеба, мяса, вина и т. п. С третьего века договорный характер этих отношений постепенно уступает место отношениям совершенно иного порядка: то, что члены коллегии выполняли как обязательство, добровольно взятое на себя по договору, теперь они должны были делать, выполняя этим налагаемую на них государством повинность, государственную барщину. Если прежде член коллегии волен был оставить коллегия, раз он находил это возможным и удобным, то теперь эта свобода выхода, постепенно ограничиваемая государством, в конце концов была вовсе отнята у члена коллегии, и коллегия стала для него его родиной (*origo*), наследственной тюрьмой; а чтобы в случае его бегства из этой наследственной тюрьмы его легко можно было бы найти и вернуть в нее, коллегиятов, начиная с четвертого века, стали клеймить раскаленным железом. Ремесленники и торговцы, как и куриалы и колоны, стали тяглым, крепостным сословием государства, его наследственными холопами и рабами.

Крепостные ремесленники вместе с обыкновенными рабами стали основой организованных по эллинистически-египетскому образцу императорских мануфактур, которые были разбросаны по всей территории империи и обслуживали потребности двора, армии и чиновничества. Сырой материал для этих мануфактур выдавался из казенных магазинов, куда он поступал как подать натурой, к которой правительство Диоклетиана принуждено было перейти после краха денежной системы обложения. Во главе мануфактуры

стоял императорский прокуратор. К каждой из них было приписано определенное число рабских фамилий (familiae) и коллегии крепостных ремесленников, которые и должны были нести здесь свою наследственную барщину. Как раб, так и крепостной ремесленник получали определенное количество сырья и к определенному сроку обязаны были представить определенное количество продуктов. За неаккуратность им грозила суровая кара, а за порчу материала даже смертная казнь. В случае денежного штрафа штраф этот ложился на всю коллегию. Мануфактуры эти были крупным домашним производством, преследовавшим чисто потребительные цели — удовлетворение потребностей двора, армии и бюрократии; поступали на рынок почти исключительно излишки, остававшиеся в казенных складах по удовлетворении казенных надобностей.

Это выступление государства в роли организатора производства для своих собственных потребительных надобностей, это его непосредственное участие в хозяйственной деятельности общества является лишь дополнительным штрихом в общей картине хозяйственной жизни империи, как она складывалась в результате правительственной политики, руководимой настоятельнейшими фискальными нуждами государства, удовлетворение которых было для него вопросом жизни и смерти, как мировой империи, с грандиозными культурными задачами, возлагавшими на силы общества все более и более тяжелое бремя. Государство всю хозяйственную жизнь общества стремится взять в свои собственные руки, по крайней мере так направить ее, чтобы она служила, прежде всего и главным образом, его собственным, фискальным интересам, и для этого пытается организовать ее в виде грандиозного ойкоса, единого хозяйственного целого, направляемого чисто потребительными интересами государственного механизма, все расширявшегося на счет до тех пор автономных общественных организаций, постепенно превращаемых им в свои служебные органы.

Это огосударствление всего общественного организма, превращение живого социального тела в извне направляемый механизм, лишенный всякой инициативы и свободы движения, без которых совершенно немыслимо хозяйственное и всякое вообще культурное развитие общества, эта попытка средствами самого безграничного и самого беспощадного принуждения рационализировать хозяйственную жизнь мировой державы и дать ей определенное, чисто служебное направление, совершенно не считаясь с ее собственными интересами, связанными с самым ее существом, не могла спасти империи,

не могла поднять падавших сил безмерно обремененного общества и лишь на время отсрочивала неизбежный конец и в то же время делала его еще более неизбежным. Колоссальная государственная организация, ставившая себе грандиозные культурные задачи и не щадившая сил и средств общества для их осуществления, очевидно, ставила себе задачи, которых нельзя было разрешить при тех культурных ресурсах, какими располагал древний мир, недалеко ушедший по пути технического развития, облегчающего подобные задачи современным нам государствам, и попытка их разрешения в таком грандиозном масштабе неизбежно должна была привести к тем результатам, к каким она приводила Римскую империю.

Безмерное напряжение фискального прессы и связанная с ним реорганизация общества в систему прикрепленных к своим функциям (*functio, munus, obnoxitas, obsequium, necessitas*) наследственных каст были неизбежны при этих условиях. Другого выхода для государства не было и не могло быть. Только слишком дорожю цену могло оно обеспечивать свое существование и удовлетворение своих колоссальных нужд. Только ведя самую беспощадную войну с изнемогавшим под бременем его требований обществом и мерами самого жестокого принуждения заставляя его выполнять эти требования, могло государство до поры до времени в той или иной мере справляться со своими задачами, неизбежно подрывая силы общества и тем расшатывая и разрушая свой собственный фундамент. Атмосфера произвола и насилия, созданная безответственной бюрократией, безмерно разросшейся, недобросовестной и жадной, была лишь естественным последствием этого превращения общества в пассивный объект прежде всего фискальной политики государства. Государственный социализм, которого мы не можем не видеть во всей этой системе, не являлся в результате какой-нибудь теоретической программы, отправлявшейся от идеологических предпосылок, но был вызван суровыми требованиями жизни, далекими от теоретических мудрствований и социальных мечтаний.

Если последние века республиканского режима характеризует в хозяйственном отношении безудержный разгул хищнического, спекулятивного и рабовладельческого плантационного капитализма, свойственный вообще городам-государствам античного мира с их хронической истребительной войной друг с другом и с характерной для их государственного строя частной эксплуатацией политического господства, а в первые века принципата капитали-

стическое, как и общее хозяйственное развитие римской державы, вводится в более скромные рамки и вследствие этого становится более здоровым и плодотворным, то теперь, с наступлением и дальнейшим расширением и углублением государственно-социалистического порядка в его беспощадно резких формах государственного рабства, капитализму, как и общему хозяйственному развитию империи, глянула в глаза смертельная опасность. Если капитализму присуще всякое имущество превращать в капитал, то фискальный по существу государственный социализм последних веков Римской империи стремился всякий капитал изъять из хозяйственного оборота и заставить в качестве имущества, обеспечивающего прежде всего исправное отбывание фискальных повинностей более слабых экономически общественных элементов, служить государству для удовлетворения его нужд.

В результате едва ли не весь класс муниципальных землевладельцев, отвечавший своим имуществом за муниципальный округ и за своих колонов и принудительно отбывавших обязанности муниципальных магистратов, был совершенно разорен и перестал существовать. Бросали свое хозяйство колоны, не вынося требований фиска и своего помещика, которому тоже не легко приходилось, и массами уходили, куда глаза глядят. Бежали из своей наследственной тюрьмы и члены ремесленных и торговых коллегий, невзирая на все угрозы закона и беспощадность его охранителей. Бежали, наконец, и куриалы, бросая на произвол судьбы и свои поместья, и своих колонов; так, в 388 году разбежались все сразу куриалы четырех городов Мизии. Нередко этим всякого звания беглецам приходилось избирать совсем уж вольные, вне всякой государственной регламентации и опеки находившиеся профессии: мы часто слышим о составлявшихся ими разбойничьих шайках, которые скрывались в лесах и терроризировали соседние округа. Многие из них уходили к варварам, ища среди них для себя лучшей доли и, повидимому, не без основания, если верить обличительным декламациям Сальвиана из Марсея (5 в.), уверяющего нас, что у варваров гораздо лучше, чем у римлян («sic melior multo sit barbarorum condicio quam nostra»), что у них больше справедливости в отношении к подданным и к зависимым крестьянам, и что живущим среди них римлянам несравненно легче живется, чем у себя дома, потому что здесь, среди варваров, они находят римскую гуманность, не будучи больше в силах выносить у римлян варварскую бесчеловечность («quaerentes scilicet apud barbaros Romanam humanitatem, quia apud Romanos

barbaram inhumanitatem ferre non possunt») <sup>1)</sup>). Недаром целые провинции отдавали себя под защиту и власть варваров и их королей.

Но не все уходило в леса на вольный промысел или шли искать счастья среди варваров. Многие и очень многие находили свое счастье не так далеко и не такими рискованными способами. На территории империи были еще благодатные места, где можно было без большого риска укрыться от недремлющего ока и немилосердной руки агентов фиска и зажить более сносной жизнью. Это были обширные владения крупных магнатов, членов сословия римских сенаторов, могущественной аристократии, единственной социальной силы, не только не сломленной сокрушительной тяжестью фискального пресса, но лишь окрепшей и расширившей свои земельные владения на счет земель разоренных куриалов и более мелких собственников, не вынесших непосильного бремени государственного тягла, а также на счет земель фиска, постепенно перешедших к ней разными путями и сильно ослабивших некогда главную основу правительственных средств империи и тем усиливших ложившееся на массу податное бремя. Это был настоящий правящий класс римского общества этой эпохи, поставлявший кандидатов на высшие административные посты в империи, располагавший массами крепко сидевших на его княжеских территориях рабочих рук, наделенный широкими публично-правовыми привилегиями и полномочиями в отношении к многочисленному населению своих территорий и далеко не склонный проявлять слишком большую внимательность к совершенно законным требованиям власти и даже мало чувствительный к громам императорских конституций.

Вот сюда-то, под сень этих магнатов (*sub umbra potentium*) и устремлялись все те, кого не манила перспектива вольной жизни в лесах, и кто не пускался в дальнюю дорогу искать римской гуманности среди варваров, но решительно отказывался дальше терпеть варварскую бесчеловечность римской податной системы. Императорские конституции строгойше запрещают всем этим дезертирам (*desertores*) искать убежища на этих привилегированных территориях, а владельцам этих последних — давать его тем, кто должен оставаться «на лоне своей родины» («*in sinu patriae*»). Но ни на тех, ни на других увещания и угрозы носителей верховной власти должного действия не производили, и не лишенное оттенка сентиментальности напоминание о лоне родины не вызывало ответ-

---

<sup>1)</sup> De gubernatione Dei, lib. V, c. 5, § 21.

ного дрожания сердечных струн в груди упрямых дезертиров, достаточно знакомых с тем реальным значением, какое в слове «родина» раскрывалось в повседневном административно-бытовом обиходе.

Население магнатских владений все увеличивалось. Под покровительство и под власть магнатов шли все, кто в этом покровительстве нуждался, и кого не могла или не хотела защищать государственная власть, все более и более слабеющая и демонстрировавшая свое бессилие бесконечными жалобами на пренебрежение к закону сильных людей и бесконечными угрозами послушникам. Те, кто чувствовал себя неуверенным в завтрашнем дне в этом царстве сильных, спешил добровольно отдаться под власть сильного, не дожидаясь, когда он станет его жертвой. И шли они к сильным не с пустыми руками. Наряду с колонами, с'емщиками чужой земли и прикрепленными уже к ней, в империи существовало еще и крестьянство, хозяйственно независимое, крестьяне-собственники, и рост крупного землевладения, какие успехи он ни делал во все периоды римской истории, далеко не устранил его с исторической сцены, и всем известную фразу Плиния «*latifundia perdidere Naliam, jam vero et provincias*» (латифундии погубили Италию, а также и провинции) не следует понимать как явное тому доказательство, потому что в ней больше субъективного настроения, чем объективной исторической истины. Императорские конституции часто говорят об этих *agricolae* (земледельцах), *rustici* (крестьянах), *agricolae vel vicani propria possidentes* (земледельцы или сельчане, владеющие собственностью), иногда называя их и *possessores* — термин, которым обыкновенно обозначали более крупных землевладельцев, может быть, разумея под ними более зажиточных крестьян, приближающихся к мелкопоместным землевладельцам, и поводом для частого упоминания их служит то, что они часто вызывают к себе внимание государственной власти своим переходом под частную власть земельных магнатов, и нередко целыми деревнями, уходя таким путем в очень значительной мере за пределы фискальной досягаемости, а с тем вместе и всякого непосредственного соприкосновения с государственной властью.

Правда, эта «частная» власть далеко не была только частной и, как мы видели, была осложнена элементами власти публичной, превращавшими ее носителя в местный орган государственного управления. Но это мало меняло дело, потому что магнат, *vir potens*, от этого чувствовал себя еще независимее и с высоты

своего социального могущества с пренебрежением смотрел на фискального и всякого иного агента центральной власти и не проявлял большой внимательности к его требованиям, даже если тот был вооружен самыми грозными предписаниями, исходящими от верховного главы государства; и если центральная власть хотела осуществить свои права на поземельную и подушную подать, следующую ей с земли и людей, ему подвластных, то ей приходилось договариваться с ним насчет той суммы (в деньгах или в натуре), какую оно могло фактически получить с него (он ведь отвечал за всю свою территорию), иначе говоря, какую ему угодно было согласиться внести в государственное казначейство и какая далеко не совпадала с той, какая стояла в податных списках последнего ценза. И устремлявшиеся сюда с лона своей родины дезертиры хорошо это понимали.

Но они шли сюда не с пустыми руками. У кого из них была собственная земля, он передавал ее тому, кто становился его патроном, расширяя этим и без того обширные его владения. Передача эта совершалась в форме продажи, но продажа эта была фиктивной; продававший денег не получал, но земля его, тем не менее, становилась собственностью покупателя ее, а прежний собственник оставался сидеть на ней, переходя, таким образом, на положение колона своего патрона и его клиента, увеличивая этим число его колонов и подданных, как не без основания называет зависимых людей магнатов знакомый уж нам Сальвиан из Марсея, сообщающий нам очень любопытные данные об этих союзах частной защиты и власти, об этих патрониях (*patrocinium*), как называли тогда этот патронат магнатов, над укрывавшимися под сенью их государственными тяглецами. Патронат этот продолжал все развиваться и расширяться, притягивая в сферу своего влияния все больше и больше социально слабых элементов, не выдерживавших фискального бремени и не могших сохранить личной и хозяйственной независимости (если они еще не успели ее лишиться), невзирая на все старания центральной власти бороться с ним путем суровых запрещений вступать в эти не могшие быть терпимыми ею, как идущие вразрез с ее законнейшими и самыми насущными интересами, противозаконные союзы. «Они отдаются под защиту и под покровительство магнатов (*tradunt se ad tuendum protegendumque majoribus*), — говорит Сальвиан, — становятся подданными богатых (*dedititios se divitum faciunt*) и как бы переходят под их власть и в подданство к ним (*et quasi in jus eorum ditionemque transcendunt*)».

Эти слова обычно склонного к декламации и риторике писателя на этот раз весьма точно передают социальный и юридический смысл изображаемого им явления. Магнат все более и более превращается во владетельного князя. На его территории устраиваются рынки, на которых производится обмен местных продуктов. После торжества христианства мы видим, как магнаты строят в своих владениях церкви, назначают священников и даже иногда епископов для своих подданных. При вступлении в брак их колоны испрашивали у них разрешение и платили пошлину. Не подлежа сам юрисдикции наместника провинции, в пределах которой находилось его владение, магнат и своих зависимых людей стремился сделать неподсудными ему, сам становясь их судьей, не ограничиваясь уже правом в административном лишь порядке улаживать их мелкие споры и пререкания, а в случаях более серьезных самому представлять правонарушителей на суд наместника, и чем дальше, тем все больше и больше такой порядок входил в жизнь, становился фактом, хотя и далеко не вполне признаваемый правом. Магнаты присваивают себе даже уголовную юстицию и сооружают у себя тюрьмы (*carceres privati*) для содержания преступников.

Таким образом в то время, как все то, к чему прикасалась тяжелая рука фиска, умирало медленной смертью от полного истощения, крупное магнатское поместье продолжало расти и укреплять свою социальную и политическую позицию. В то время, как для имений средней руки фискальная ответственность их владельцев не только за своих колонов, но также, совместно с другими землевладельцами муниципального округа, и за весь муниципальный округ, не говоря уже об их обязанности безвозмездно неся немалые расходы занимать муниципальные магистратуры, являлась полным их разгромом, поместья крупного магната, благодаря своей экстерриториальности не связанные с муниципальным округом и с его фискальной ответственностью и уже благодаря одному этому несравнимо менее обремененные государственными повинностями и привлекавшие на свою территорию самые разнообразные элементы тяглого мира, убежавшие из своей «родины», в поисках лучшей жизни, и охотно предлагавшие могущественному владельцу и землю свою, если она была еще у них, и свои рабочие руки, не только выдерживали напор фискального аппарата, но и проявляли силу активной сопротивляемости, достаточную для того, чтобы не утратить своей жизнеспособности и не превратиться в мертвый и мертвящий орган государственного механизма.

Если центр здоровой хозяйственной жизни Рима всегда в сущности находился в деревне, то теперь, с постепенным замиранием городской жизни и опустошением городов, это становится еще более несомненным; только теперь центр еще более укрепляется вследствие указанных причин в крупном магнатском поместье, куда передвигается и центр культурной жизни вообще, а также и жизни государственно организованной. Крупное магнатское поместье являлось теперь единственным здоровым общественным организмом среди общего упадка и увядания, и умиравшее государство было бессильно ассимилировать его и вместе с собою потащить в могилу. Государственная организация империи явно разрушалась, не имея больше под собой хозяйственного и социального фундамента, на который могла бы опереться, и вотчинный партикуляризм вступал на ее место. Насаждавшийся центральной властью феодализм, который должен был служить ее собственным, прежде всего, фискальным интересам, мобилизуя наделенных административными и фискальными полномочиями землевладельцев на подмогу своим собственным чиновникам, на территории крупного магната, как было уже указано выше, превращался в силу если не прямо враждебную центральной власти и государственному единству империи, то во всяком случае глубоко равнодушную к их интересам и всемерно стремившуюся к возможно более полному самодовлению.

## VI

Вот в такой-то социальной и политической обстановке и очутились германцы, окончательно утвердившись на территории Римской империи. Мы уже знаем, как они здесь устраивались, и книга Доппа помогла нам представить себе более конкретно, чем это было возможно прежде, этот сложный процесс и его непосредственные результаты и облегчила для нас понимание того, что новая европейская культура возникла из тесного взаимодействия римских и германских культурных элементов, не враждебных друг другу, но плодотворно дополнявших друг друга, без которого явилась бы чудом столь богатая и своеобразная культура средних веков, так рано успевшая столь многого достигнуть в различных областях жизни.

Конечно, римская культура, с которой вошли в тесное соприкосновение германцы, была уже не та, какую знала эпоха республики и эпоха принципата. Мы уже достаточно знакомы с тем, ка-

кие культурные опустошения производила фискальная политика эпохи абсолютной монархии и в городе, и в деревне, истребляя целые культурные классы и обращая в пустыню некогда цветущие территории. Но не следует упускать из вида и другое. Та растрата создававшегося веками и тысячелетиями в разных центрах средиземноморского побережья культурного капитала, так губительно отразившаяся на всех пунктах его, которую произвела Римская империя, была ведь не бесплодным и бессмысленным его расточением, а планомерным использованием его в интересах приобщения к культуре необъятных континентальных пространств, населенных пребывавшими в состоянии варварства племенами, становившимися подданными ее. Древняя культура из береговой становилась континентальной, продвигалась в глубь континентальной Европы прежде всего и растворялась в толще варварства, бросая семена для будущей жатвы, и ее общий уровень не мог не понижаться. Становясь все более и более экстенсивной, она соответственно теряла в интенсивности.

Римская империя последних веков своего существования имела уже не ту культурную основу, как в первые свои века. Побережье Средиземного моря сильно понизилось в культурном отношении, отдав свои силы не щадившему их государству; зато континентальные территории, несомненно, поднимались, медленно и постепенно приближаясь к сильно понизившемуся уровню стран старой культуры. Для сложной и грандиозной государственной организации мировой державы уже не было соответственного культурного фундамента, и участь ее была этим predetermined. Фактическое решение этой участи досталось на долю германцев; на то были свои исторические резоны. Но германцы были лишь последней волной того варварского потока, который давно уже вливался в древнюю культуру с разных концов, растворяя ее и орошая ею необъятные пространства. Они были лишь последним по времени народом континента, который приобщился римской культуре на территории империи, завершив этим давно начавшийся процесс перерождения древней, береговой и приморской, культуры в культуру континентальную.

## ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

### ДРЕВНЕ-ГЕРМАНСКОЕ ОБЩЕСТВО В ИЗОБРАЖЕНИИ ЦЕЗАРЯ И ТАЦИТА.

#### I

Хозяйственный и социальный строй древних германцев, каким его изображают Цезарь и Тацит, несравнимо элементарнее римского эпохи царей, но и он, тем не менее, далек от первобытности, в особенности той, какую рисовала и все еще рисует как романтически, так и эволюционно настроенное воображение немецких и многих других ученых, не сомневавшихся, и теперь не сомневающих, в том, что германцы Цезаря и Тацита — живая и конкретная иллюстрация к первым шагам хозяйственного и социального развития человеческого общества, что они еще кочевники, охотники и скотоводы, что земледелием они только еще начинают заниматься, что они не знают частной собственности на землю и связанных с нею социальных последствий, и земля у них принадлежит родовым союзам и им подобным коллективам, заботящимся о ее равномерном распределении во временное пользование между отдельными семьями, что земледелие у них с великим трудом прокладывает себе путь среди топей и болот первобытного леса. Этот первобытный лес (Urwald) без начала и конца, совершенно непроходимый и все же каким-то образом обитаемый, играет особенно большую, можно сказать, определяющую роль в научных представлениях о древних германцах. Отсюда принесли германцы в одряхлевший под римским деспотизмом мир свободу, отсюда они вынесли и оплот этой свободы, сельскую общину, марку (Markgenossenschaft), которая возникла в борьбе с природой, с девственной почвой Германии, возможной лишь для хозяйственных союзов, но не для отдельных индивидуумов.

И нельзя сказать, чтобы римские писатели не давали никаких оснований для такой концепции древне-германского строя. Вот что мы читаем у Цезаря: «Земледелие не главное у них занятие (*agriculturae non student*), и питаются они больше молоком, сыром, мясом, — рассказывает он о германцах в 22 главе шестой книги своих «Записок о галльской войне». — И ни у кого из них нет поля определенного размера и с собственными границами (*neque quisquam agri modum certum aut fines habet proprios*), но избравшиеся ими вожди, а также главари их на каждый год назначают родам и группам родственников, которые жили совместно, столько пахотной земли и там, сколько и где находят нужным, и через год заставляют их переходить на другое место (*sed magistratus ac principes in annos singulos gentibus cognationibusque hominum qui tum una cojerunt, quantum et quo loco visum est agri attribuunt atque anno post alio transire cogunt*). Этому много они приводят причин: чтобы, выйдя в оседлости, они не переменили военного дела на земледелие; чтобы они не стали стремиться к расширению границ своих владений, и чтобы более сильные не сгоняли более слабых с их владений; чтобы не строили с излишней тщательностью жилищ для избежания холода и жары; чтобы не появлялась у них жадность к деньгам, из которых рождаются партии и раздоры; чтобы сдерживать народ, обеспечивая ему спокойствие духа, когда каждый видит, что своим достоянием он равняется с самым могущественным». Что может быть яснее этой характеристики? Кто же может сомневаться, что о частной собственности на землю при таком аграрном порядке и речи быть не может, как и о неравенстве в распределении земли во временное пользование, что земледелие занимает здесь далеко не главное место, находясь позади скотоводства и охоты?

Такую же характеристику аграрного строя находим мы и в первой главе четвертой книги «Записок» Цезаря, в которой он говорит о самом обширном, по его словам, и самом воинственном германском народе, свевах. Из своих ста округов (*pagi*) свевы, как он слышал ежегодно выводят по тысяче вооруженных людей для военных надобностей, а остающиеся дома питают себя и их («*reliqui, qui domi remanserunt, se atque alios alunt*»); а на следующий год эти, в свою очередь, отправляются на войну, а те остаются дома («*hi rursus invicem anno post in armis sunt, illi domi remanent*»). Таким образом, не прерывается ни возделывание полей, ни военное дело («*si neque agri cultura nec ratio atque usus belli intermittitur*»). «Но частных и отдельных полей нет у них вовсе (*sed privati ac separat*

agri apud eos nihil est), и не позволяется им дольше года оставаться на одном месте для возделывания земли («neque longius anno remanere uno in loco colendi causa licet»). Хлеб не оставляет значительной части их пищи; большей частью они питаются молоком и мясом своего скота и много занимаются охотой («neque multum frumento, sed maximam partem lacte atque pecore vivunt multumque sunt in venationibus»).

Мы не имеем основания не верить Цезарю или думать, что он пользовался не достаточно надежными сведениями, и должны признать, что нарисованная им картина соответствует действительности, что у германцев, которых он знал и которых он изображал, земледелие играло второстепенную роль, и земля не являлась частной собственностью. И тем не менее утверждать, что при своем выступлении на историческую сцену германцы были еще кочевниками, лишь начинавшими переходить от скотоводства к земледелию и знавшими лишь коллективную земельную собственность, мы не имеем права.

Уже в приведенных словах Цезаря есть данные, заставляющие усомниться в том, чтобы изображенные им аграрные и хозяйственные порядки германцев являлись изображением достигнутой ими культурной ступени, а не представляли собою состояния исключительного, вызванного обстоятельствами, которые выбили их из колеи нормального, давно налаженного существования. Цезарь даже совершенно определенно говорит, что и отсутствие у германцев частной земельной собственности и интенсивного земледелия есть результат определенной политики, руководившейся определенными целями, а не факт, вызванный к жизни общими культурными условиями жизни германцев. Вождям и руководителям германского общества, как и самому германскому обществу, вполне знакома и частная собственность на землю, и более интенсивная обработка земли, связанная с оседлостью, равно как и культурные блага, приносимые оседлостью, мирным, спокойным существованием. Они не меньше знакомы уже и с теми социальными последствиями, к каким ведет господство в обществе принципа частной земельной собственности, разделяющего людей, раздробляющего общество на группы, враждующие и борющиеся друг с другом, и делающего его неспособным к общему делу.

А ведь главной заботой вождей и главарей германцев было сохранение и усиление боеспособности народа, укрепление и развитие его военных качеств, потому что германцы, описываемые Цезарем,

находятся в состоянии в сущности непрерывной войны, требующей прежде всего этих качеств и способности к согласованной деятельности всех в интересах общего дела. Военное положение, ставшее хроническим, заставило вождей германцев (вождей военных, избравшихся германцами лишь для военного командования и наделявшихся чрезвычайными полномочиями до права жизни и смерти включительно) («cum bellum civitas aut inlatum defendit aut infert, magistratus qui ei bello praesint, ut vitae necisque habeant potestatem, deliguntur. In pace nullus est communis magistratus. Lib. VI, cap. XXIII) принести в жертву все обычные и привычные порядки культурного существования, как несовместимые с той главной задачей, которую поставила перед ними жизнь, и заменить их чрезвычайным положением, которое должно было создать условия, обеспечивавшие успешное разрешение этой задачи, устраняя все, что могло мешать этому: частную земельную собственность и соединенное с нею земельное неравенство, прочную оседлость, более интенсивное хозяйство. В результате получался своего рода военный коммунизм, особенно выразительную форму принявший у севов с их военными и земледельческими сменами.

Распространение германцев по территории Западной Европы совершалось не в виде ряда простых военных экспедиций, но в виде медленных передвижений, с более и менее продолжительными остановками, соединенными с устройством временных поселений и организацией земледельческого хозяйства. Это не были передвижения кочевников, менявших одни пастбища на другие, но настоящие переселения земледельческих племен, вынужденных искать новых мест для оседлого существования. С некоторыми из этих племен Цезарю пришлось столкнуться и познакомиться в пятидесятых годах первого века до нашей эры, когда он был занят завоеванием Галлии. В поисках новых земель для поселения они проникли в Галлию, и ему пришлось воевать с ними и вытеснить их отсюда и даже дважды переходить со своими легионами Рейн, чтобы продемонстрировать на их родине военную силу и грозное могущество Рима.

Сниматься с места и двигаться навстречу неведомой судьбе германцев заставляли разные обстоятельства, среди которых едва ли не главную роль играл в тот или иной момент жизни того или иного племени вследствие тех или иных причин давший себя знать недостаток в земле. Было ли то перенаселение, естественный результат роста населения, или стихийное бедствие в виде наводнения, затоплявшего все, во всех этих и им подобных случаях, при не-

совершенстве тогдашних технических средств, ничего другого не оставалось, как уходить и искать новых мест, как и в тех случаях, когда более сильное племя вытесняло более слабое. Поднимать интенсивность обработки земли или увеличивать площадь годной к обработке почвы путем выкорчевывания леса или осушки болот — было делом невозможным.

Не среди болот и лесов селились и жили германцы, а по соседству с ними, на граничащих с лесами степных территориях, которые за много тысяч лет до Цезаря, как показали археологические, историко-географические и филологические изыскания, еще в эпоху каменного века, были уже заселены и притом так широко и прочно, что до самой римской эпохи едва ли в этом отношении были сделаны какие-нибудь успехи. «Первобытный лес есть враг, а не друг человека, — скажем словами известного исследователя первобытной культуры Ноорс'а; — первобытный человек предпринимает экспедиции в леса, но он не устраивает в них своего длительного, прочного пребывания». На этих степных территориях Средней и Северной Европы земледелием занимались уже тысячи за три лет до нашей эры. С незапамятных времен занимались здесь им и германцы и к римской эпохе сделали в нем весьма значительные успехи: пахали они уже плугом на колесах, в который впрягали волов и реже лошадей. Их нормальным состоянием был спокойный оседлый образ жизни, и земледелие уже в эпоху более тесного сожития индо-германских народов играло немалую роль в деле народного питания.

К таким выводам пришла современная историческая наука в результате тщательнейшего изучения данных доисторической археологии, географии, сравнительного языковедения, мифологии и других отраслей знания, исследующего так называемое доисторическое прошлое европейских народов, и при свете их еще ярче вырисовывается исключительность того хозяйственного и аграрного порядка, какой нашел у германцев Цезарь, когда ему пришлось давать отпор их прорвавшимся в Галлию авангардам. У самого Цезаря мы встречаем указания на то, что германцы были прежде всего земледельцами, и что плодородие почвы играло определяющую роль при выборе ими места для поселения; он слышал, например, что белги, происходившие в большинстве от германцев, переселились некогда в Галлию, прельстившись плодородием почвы («propter loci fertilitatem ibi consedissee» II, 4); он заставил выселившихся из своей родины гельветов вернуться назад, чтобы жившие по ту сторону Рейна германцы не вторглись в оставленные ими области из-за

хорошего качества их почвы («propter bonitatem agrorum», I, 28). Указаний этого рода, и еще более выразительных, мы много встречаем в *Анналах* и в *Историях* Тацита, и они служат прекрасным дополнением и комментарием к иногда слишком общим и не всегда ясным характеристикам хозяйственного быта и аграрного строя германцев, которые он дает в своей знаменитой *Германии*.

## II

В *Германии* Тацита перед нами германское общество в спокойном состоянии, прочно сидящее на месте, у себя дома, и мы заранее уверены, что не найдем у него тех хозяйственных и аграрных порядков, какие могли возникнуть, как мы видели, в чрезвычайных условиях военного времени, в походной, можно сказать, обстановке. Нельзя думать, чтобы за какие-нибудь полтора-два столетия, отделяющие «Записки» Цезаря от названного сочинения Тацита, жизненные устои германцев, сложившиеся за много веков до Цезаря у Тацита, могли поколебаться, и мы вправе видеть в рассказе Тацита изображение исконного быта германцев, не искаженного силою экстренных обстоятельств, но вовсе не дальнейшую ступень в эволюции того общественного строя, какой рисует нам Цезарь, и какой едва ли и был рассчитан на длительное, эволюционное существование.

В 26-й главе своей книги Тацит дает типическую картину занятия германцами земли и устройства на ней деревенского поселения. Земли занимают они столько, сколько нужно, чтобы хватило ее всем, и поэтому принимают во внимание количество тех, кто будет жить здесь и заниматься земледелием («agri pro numero cultorum ab universis occupantur»), и немедленно же делят ее между собою, сообразно рангу каждого («quos mox inter se secundum dignationem partiuntur»). Им легко производить такой дележ, потому что свободной земли много («facilitatem partiendi camporum spatia praebent»). Непосредственно вслед за этим Тацит сообщает, как распределившие между собою только что описанным способом землю люди хозяйничают на ней. Они ведут хозяйство экстенсивное. «Они меняют пашню через каждые несколько лет, и еще остается свободная земля («arva per annos mutant et superest ager»), которая, надо думать, служит пастбищем для скота. Это — так называемая переложная система (die Feldgrasswirtschaft): после снятия нескольких урожаев земля, бывшая несколько лет под пашней,

отдыхает затем несколько лет, и берется под обработку другая, уже отдохнувшая земля. Ни под луга, ни под фруктовые сады, ни под огороды земли не выделяют: все это требовало бы большой затраты труда, а они полагаются на одно лишь плодородие и размеры почвы и требуют от земли одних лишь хлебных злаков («*nes enim cum ubertate et amplitudine soli labore contendunt, ut pomaria conserant et prata separent et hortos rigent: sola terrae seges imperatur*»). В другом месте своей книги (глава 16) Тацит говорит, что германцы не любят жить скученно, что их поселения не представляют образующих улицы, примыкающих друг к другу дворов, что каждый из них выбирает место для усадьбы по своему вкусу: кто у источника, кто на равнине, кто у роши, и каждая усадьба окружена свободным пространством («*ne pati quidem inter se junctas sedes colunt discreti ac diversi, ut fons, ut campus, ut nemus placuit. Vicos locant non in nostrum morem conexis et cohaerentibus aedificiis: suam quisque domum spatio circumdat*»).

Возделывают германцы землю собственными руками, а у кого есть рабы, тот и с помощью рабов. Но «рабами», — говорит Тацит (гл. 25), — они пользуются не по-нашему, не распределяя их по разным отраслям хозяйства (*ceteris servis non in nostrum morem, descriptis per familiam ministeriis, utuntur*): у каждого из них есть своя усадьба и свой домашний очаг (*suam quisque sedem, suos penates regit*). Господин требует с него определенное количество хлеба (зерна), скота или одежды (ткани), как с колона, и раб только это и обязан исполнять (*frumenti modum dominus aut pecoris aut vestis ut colono injungit, et servus hactenus paret*); прочие обязанности по дому выполняют жена и дети (*cetera domus officia uxor ac liberi exsequuntur*»).

Нечего и говорить, что далеко не всякий германец имел возможность устраивать на своей земле такое рабское хозяйство и жить на оброки, поступающие с его держателей-рабов, что Тацит имеет в виду лишь крупных землевладельцев, располагавших соответственным количеством рабов, скота и всякого иного хозяйственного инвентаря, которым рабы были снабжены для возделывания своих оброчных держаний, и противопоставляет порядки такого крупного германского поместья порядкам римского поместья, также располагавшего множеством рабов, но эксплуатировавшего их в форме крупного плантационного хозяйства («*descriptis per familiam ministeriis*»). Весьма возможно, что среди этих держателей было не мало и полусвободных литов, не менее

рабов исконного сословия германцев, фактически до неразличимости близких к посаженным на землю рабам и, может быть, поэтому не замеченных Тацитом или теми авторами, которыми он пользовался.

Соединение крупного владения с мелким фермерским и притом исключительно оброчным хозяйством находилось в полном соответствии с общими хозяйственными и культурными условиями жизни германцев, не вызывавшей еще потребности в интенсификации хозяйства и не дававшей импульсов и технических средств к организации барского хозяйства с барщинным трудом держателей и сравнительно сложным механизмом управления и учета. А ведь барщинная система поместного хозяйства возникает лишь тогда, когда открываются перспективы сбыта для продуктов земледелия. До тех пор крупный землевладелец вполне может довольствоваться получением оброков натурой с посаженных на землю зависимых от него людей, как бы значительны ни были его потребности. Потребности знатного германца, в особенности если он был вождем дружины, которую, по словам Тацита, он должен был содержать у себя в доме и наделять боевыми конями и оружием, могли быть весьма значительны и для удовлетворения их могло и не хватать того, что давали ему его многочисленные держатели-рабы хлебом, скотом и тканями, и для таких случаев в распоряжении его находилось менее хлопотливое средство, чем переход к барщинному хозяйству: вооруженный набег во главе своей дружины на соседнее или более далекое племя («*materia munificentiae per bella et raptus*», с. 14), имевший к тому же для его дружинников и учебное значение.

Простые германцы в поте лица добывали хлеб свой, и не о них рассказывает Тацит, когда говорит: «Пахать землю и ждать в течение года (урожая) не так легко их убедишь, как вызывать на бой врага и выслуживать раны (*nes agere terram aut exspectare annum tam facile persuaseris, quam vocare hostem et vulnera mereri*); крайней ленью и малодушием считается у них приобретать потом то, что можно добыть кровью (*pigrum quin immo et iners videtur sudore adquirere quod possis sanguine parare*, с. 14)». Не о них идет у него речь и в начале следующей, 15-й главы, где мы читаем: «Когда они не идут на войну, то немного охотятся, но больше проводят время в праздности, предаваясь сну и еде, а самые храбрые и самые воинственные, те уже вовсе ничего не делают; забота о доме и о полях предоставляется женщинам и старикам и самым слабым в семье; сами пребывают в тупом бездействии. Удивительное проти-

воречие природы: одни и те же люди так любят праздность и ненавидят покой (*quotiens bella non ineunt non multum venationibus, plus per otium transigunt, dediti somno ciboque, fortissimus quisque ac bellicosissimus nihil agens, delegata domus et penatiumet agrorum cura feminis senibusque et infirmissimo cuique ex familia: ipsi habent, mira diversitate naturae, cum idem homines sic ament inertiam et oderint quietem*)». И вся четырнадцатая, и вся пятнадцатая главы Германии посвящены описанию дружины, и не может быть никакого сомнения, что приведенные из них места относятся к дружинникам, и только к ним одним. Представлять весь народ, к тому же спокон веку народ земледельческий, чем-то вроде сплошной Запорожской Сечи с ее беспробудным бражничаньем и принципиальной ненавистью и презрением к мирным занятиям «плугарей» и «гречкосеев» значило бы совсем покинуть пределы реальной исторической действительности и реальной исторической науки.

Такой образ жизни и такое препровождение времени были доступны не одним, правда, дружинникам: вся воинственная знать германцев (*nobiles*), для которой война являлась самым главным и самым почетным делом, чтобы не сказать профессией, в сравнительно короткие промежутки между походами, имевшими характер едва ли слишком многолюдных набегов, экономически имела полную возможность наслаждаться отдыхом, свободным от всяких забот, получая все готовое в виде оброка от своих держателей, и Тацит рисует нам яркую конкретную картину этой почти что лагерной жизни. Она так хороша, что нельзя удержаться от искушения привести ее здесь почти целиком. «Сейчас же после сна, который у них большею частью захватывает и часть дня, они моются, чаще теплой водой, так как у них зима есть самое большое время года. Умывшись, принимают пищу; у каждого при этом свое отдельное сидение, и у каждого свой стол. Затем они вооруженные отправляются заниматься делами, не менее часто и на пирушки (*ad convivia*). День и ночь проводить в попойках — никому не в укор. Частые, как всегда среди пьяных, ссоры редко кончаются перебранкой, чаще ранами и убийством. Но и о примирении врагов, и о заключении родственных связей, и об избрании вождей (*adsciscendis principibus*), наконец о войне и мире в большинстве случаев совещаются на пирах (*in conviviiis*, с. 22)».

Эта военная аристократия осуществляла свое политическое преобладание через посредство своего рода палаты господ, или верхней палаты, в состав которой входили верхи этой аристокра-

тии, те, кого Тацит обозначает словом *principes*, разумея под ним и стоящих во главе округов должностных лиц, и вождей дружин и фактических властелинов государства («*rex vel princeps civitatis*»), и, наконец, просто самых знатных людей («*insignis nobilitas aut magna patrum merita principis dignationem etiam adulescentulis adsignant*» — особая знатность или большие заслуги предков дают даже юношам право на достоинство «*principes*'а», с. 13).

Собрание этих самых знатных, богатых, могущественных и влиятельных людей самостоятельно решало менее важные дела в государстве и подготовляло к окончательному решению в народном собрании дела более важные («*de minoribus rebus principes consultant, de majoribus omnes, ita tamen, ut ea quoque, quorum penes plebem arbitrium est, apud principes praetractentur*» — «о менее важных делах делают постановление *principes*, о более важных все, но так, однако, что те дела, которых решение принадлежит народу, обсуждаются предварительно у *principes*», с. 11). Но народное собрание большой активной роли не играло, даже не обсуждало этих более важных дел, а лишь отвергало или принимало решения, предложенные теми, кто заседал в собрании *principes*, отвергало или принимало их также без всякого обсуждения, лишь нечленораздельным шумом и стуком оружия выражая свое несогласие или согласие. Говорили здесь лишь те, кто выступал с речами, которыми старался склонить народ к принятию постановленного ими в палате господ решения. И война и мир, и выборы окружных старшин, и все другие «более важные дела» были прежде всего делами верхнего слоя германского общества той военной и воинственной знати, быт которой, так его заинтересовавший, так конкретно и художественно изображает Тацит, уделивший ему так много внимания, и если где они подвергались более широкому обсуждению, то не в народном собрании («*penes plebem*», нарочно подчеркиваем это очень выразительное в этом контексте слово), а, как мы видели, на пирушках знати, о которых перед этим была речь.

Война и мир особенно ведь близко касались этой знати, вся жизнь которой была посвящена военным приключениям, которая и духовно, и в значительной мере и материально жила войной и ее интересами, о чем красноречиво свидетельствует так широко развитый в ее среде дружинный быт, поразивший Тацита характером тех своеобразных отношений, какие устанавливались между дружинниками, в большинстве знатными юношами, и вождем дру

жины, теми теснейшими, можно сказать неразрывными, моральными узами, какие связывали дружинников с их вождем, защищать которого и оберегать и свои подвиги ему приписывать — есть самый главный и священный долг дружинника, который сражается за вождя, когда тот сражается из-за победы, который считает несмыслаемым позором выйти живым из битвы, в которой пал его вождь (с. 14).

Целых три главы своей совсем не большой книги посвящает Тацит германской дружине, которая и в жизни германцев занимала очень видное место. Она углубляла социальную дифференциацию, давно уже происходившую в германском обществе и давно уже выделившую из массы военную аристократию, опиравшуюся на рабский труд, жившую на оброки посаженных на землю ее больших владений рабов и литов (вспомним *potentiores* и *potentissimi*, о которых говорит Цезарь, приводя мотивы, которыми руководствовались вожди и главари германцев, вводя аграрный режим военного коммунизма). Дружина сильно повышала социальный и политический вес ее вождя, увеличивала его влияние и внутри страны, и за ее пределами («*nec solum in sua gente cuique, sed apud finitimas quoque civitates id nomen, ea gloria est, si numero ac virtute conitatus emineat*», с. 13). К вождям дружин посылали даже посольства из других государств, прося у них поддержки или помощи и принося им дары, и нередко одного славного имени вождя было достаточно, чтобы прекратить начавшиеся у них военные столкновения («*expetuntur enim legationibus et muneribus ornantur et ipsa plebique fama bella profligant*», с. 13). О дарах соседних племен говорит Тацит и в другом месте: вожди дружин (*principes*) «особенно рады бывают подаркам соседних племен, которые присылают им не только отдельные лица, но и все племя, в виде отборных коней, большого вооружения, попон и уездечек; и мы, — не без яда прибавляет Тацит, — уже научили их принимать и деньги» (*gaudent praecipue finitimarum gentium donis, quae non modo a singulis, sed et publice mittuntur, electi equi, magna arma, phalerae, torquesque; jam et pecuniam accipere docuimus*, с. 15).

Не менее любопытно и то, что Тацит сообщает непосредственно перед этим: «В государствах их есть обычай, чтобы каждый добровольно приносил вождям (*principibus*) что-нибудь из скота или полевых продуктов, и это принимается ими как почетный дар, но и служит для них жизненным подспорьем («*mos est civitatibus ultro ac viritim conferre principibus vel armentorum vel frugum, quod pro*

honore accertum etiam necessitatibus subvenit», с. 15). Судить о степени добровольности этих приношений мы не имеем данных, но последующая история основанных германцами на западе Европы государств настроила нас на достаточно скептический лад в этом отношении, и мы уже привыкли к тому, чтобы не слишком буквально понимать столь обычные в подобных случаях эвфемизмы, и склонны подозревать, что описанные Тацитом германцы не делали себе никаких иллюзий насчет действительного характера обязательных для них добровольных приношений, как и их потомки каролингской поры, являвшиеся на «майские поля» с весьма ценными подарками (*dona*) королю или еще более далекие им и по времени и по родству французские горожане эпохи Капетингов, не мало терпевшие от добровольных (*dons gratuits*), которые их заставляли по тем или иным поводам платить для надобностей короля.

В таких очертаниях вырисовывается перед нами германское общество, когда мы читаем Германию Тацита, освободившись от гнета навязчивых идей, родившихся в разгоряченной атмосфере романтической эпохи и принявших наукообразную форму в последующей немецкой историографии, заковавшей их в броню ученого аппарата и сообщившей им характер научных догматов, обязательных для всех. Ни первобытной общины-марки с общей собственностью на землю и равными участками всех ее членов, ни патриархальной демократии едва ли не пастушеского, кочевого или полукочевого народа, ни прямого, непосредственного народоправства, — ничего этого мы не нашли у Тацита, который, как мы видели, изображает общество оседлых земледельцев, естественно, занимающихся и скотоводством, без которого немислимо достаточно развитое земледелие, общество, далеко ушедшее по пути социального расчленения и социальных неравенств и уже знакомое в полной мере с социальным и политическим преобладанием военной аристократии крупных землевладельцев, живущих на оброки с посаженных на земли рабов (и литов) и восполняющих хозяйственные недочеты военной добычей. Вся политическая власть находится в руках этой знати, а народ низведен на положение плебса («*penes plebem arbitrium est*», с. 11), который лишь нечленораздельным шумом или стуком оружия отвергает или принимает то, что предварительно обсудила на своих шумных пирах и решила в своей палате господ военная знать, нередко стоявшая во главе дружин и распространявшая свое влияние и за пределы государства.

## ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

### СРЕДНЕВЕКОВОЕ ПОМЕСТЬЕ.

#### I

Мы уже знаем теперь, что нашли германцы на территории Римской империи и что они принесли сюда с собою, и видим, что с римским населением занятых ими провинций говорили они не совсем на разных языках, что им не так уж трудно было понимать друг друга, как думали прежде, изображая германцев носителями по существу враждебных римской культуре «начал». При ближайшем рассмотрении того, что нам сообщают о германцах римские писатели, этих «начал» у германцев не оказалось, и германское общество предстало перед нами с такими чертами хозяйственного и социального строя, которые и римским писателям кое в чем, и притом весьма существенном, показались похожими на то, что они знали у себя дома и что было так далеко от тех аграрных и социальных порядков, воплощением которых целые поколения историков, экономистов и юристов считали созданную романтически настроенным воображением ученых первой половины девятнадцатого века, имевшую такой шумный и такой прочный успех у эволюционистов-социологов второй его половины знаменитую германскую общину, марку. И германцам, исконным земледельцам, давно была знакома и частная земельная собственность, и неравномерное ее распределение, и крупное в той или иной мере поместье с возделываемыми его пахотную землю несвободными колонами. И у них социальная дифференциация ушла далеко вперед, выдвинув на первое место и в обществе, и в государстве военную аристократию крупных землевладельцев, нередко вождей дружин, и отодвинув на задний план свободную массу, сохранившую лишь чисто фор-

мальные права политического верховенства. Не удивительно, что германцам нетрудно было ориентироваться в римской обстановке и, тем или иным путем размежевавшись с римским населением, совместно с ним продолжать уже общее с ним дело европейской культуры и цивилизации.

Какое бы из образовавшихся на территории Римской империи германских государств мы ни взяли — будет ли то остготское королевство Теодориха в Италии, там же впоследствии возникшее лангобардское государство, королевство вестготов в Южной Галлии и в Испании, бургундское королевство, франкское государство, королевства англо-саксов, слившиеся постепенно в единое англо-саксонское королевство, — нигде мы не найдем того, что чуть ли не до самого последнего времени считалось общепризнанным фактом, нигде мы не встретим ни одного случая, чтобы германцы селились здесь большими или малыми общинами равноправных свободных людей, сообща владеющих занятой ими пахотной землей и относящимися к ней угодьями. Ни общины-деревни, ни общины-сотни мы не встречаем в дошедших до нас источниках. Все они в один голос говорят нам лишь об индивидуальной земельной собственности, к тому же весьма неравномерно распределенной, и о той большой роли, какую во всех этих германских государствах с самого момента их возникновения играло крупное землевладение и крупное поместье. Селились и жили германцы деревнями. «Есть деревни, которые принадлежат многим собственникам, из которых каждый владеет лишь незначительным участком земли, но есть и другие деревни, которые имеют одного господина и земли которых возделываются с помощью арендаторов и колонов», говорит римский писатель Либаний об аллеманах еще в IV веке, и слова его можно применить не к одним аллеманам. Конечно, и у аллеманов, как и у других германских племен, и тогда, и в более позднее время рядом с этими двумя чистыми типами деревни существовали и типы смешанные, т. е. деревни, в которых наряду с мелкими земельными собственниками встречались и крупные или их не-свободные или свободные держатели. Но об этом будет речь в дальнейшем. Никаких следов марки в смысле сельской общины, как ее представляли историки и социологи девятнадцатого и двадцатого столетий, не оказалось, таким образом, у германцев и после того, как они окончательно основались на римской территории. И теперь, как и во времена Тацита, их аграрный и социальный строй был далек и от коллективной собственности на землю, и от равен-

ства в распределении прав на землю между членами общины, и от всего другого, что вкладывали в понятие марки все те, кто верил в ее существование и у германцев, и едва ли не у всех других народов и даже видел в ней необходимую ступень в развитии каждого человеческого общества. И теперь, как и во времена Тацита, землю германцы распределяли *secundum dignationem* (сообразуясь с социальным положением каждого), была ли эта земля выделена им в виде трети или двух третей из владений римских землевладельцев, как это было в остготском королевстве Теодориха в Италии, в королевстве вестготов в Южной Галлии и Испании, в бургундском королевстве, или же просто взята ими у местного римского населения без формального размежевания, как это произошло в некоторых других их государствах, и владели ею на праве частной собственности, лишь в некоторых отношениях ограниченной в интересах ближайших родственников.

Короли и их ближайшие сподвижники, вся та воинственная знать, которая всегда так тяготилась мирным покоем и искала случая кинуться в битву, хотя бы и за чужое дело, получали при этом львиную долю, и их земельные богатства все умножались. Королям достались и обширные владения римского фиска, и они имели полную возможность щедро одарить своих дружинников и слуг и создать достаточно широкую социальную базу для своей власти из связанных с ними общностью интересов людей.

Дальнейшая история любого из германских государств лишь углубляла эти аграрные неравенства. Столь богатая жестокими усобицами, она в самой сильной мере благоприятствовала перемещению земельной и движимой собственности из одних рук в другие, обогащая победителей на счет побежденных, как это происходило в еще более широком масштабе и в тех случаях, когда шел процесс объединения нескольких германских государств в результате завоевательной политики какого-нибудь из них; определенно выразившей интересы социально и политически господствовавшей общественной группы с королем во главе, которая прежде всего и главным образом и пожинала плоды побед и завоеваний, становясь от этого еще богаче и могущественнее. Образование великой франкской державы Меровингов является яркой иллюстрацией к сказанному, равно как и кровавые распри между преемниками Хлодвига, ослабившие королевскую власть, но обогатившие и усилившие франкскую аристократию.

Одновременно с ростом земельных богатств светской родовой и служилой знати растет и церковное землевладение. Короли и светские магнаты строят церкви, основывают монастыри и наделяют их щедрыми земельными дарами. Не отстают от них в благочестивом усердии и люди более скромного достатка, в меру средств своих содействующие обогащению церкви. Иерархическая организация церкви с своей стороны являлась весьма важным моментом в процессе роста крупного землевладения вообще и церковного в частности: церковные иерархи по самому положению своему были и земельными магнатами, и, организуя христианскую церковь, государственная власть должна была обеспечивать ее соответственными земельными фондами и рабочими руками.

Таким образом, в основанных на римской территории германских государствах с самых же первых моментов их существования мы наблюдаем много такого, что так напоминает нам аграрную и социальную картину, которую германцы нашли на своей новой родине и которая по существу мало изменилась и после их поселения. То же мы наблюдаем и у тех германских племен, которые поселились вне пределов римской территории — у саксов, у фризов: и у них крупное землевладение и социальное и политическое господство аристократии засвидетельствованы древнейшими памятниками их истории и с своей стороны лишней раз свидетельствуют о том, что на римскую территорию германцы не принесли с собой никаких новых «начал» аграрного и социального устройства, неведомых и враждебных римским порядкам, и не могли принести, а лишь воспроизвели на римской почве тот жизненный уклад, какой сложился у них уже давным давно и при отсутствии каких-либо чрезвычайных условий мог лишь развиваться и осложняться, раз продолжали существовать те общие жизненные условия, которым он соответствовал, независимо от того, на какой территории они поселялись. На римской территории германцы получили полную возможность развернуться во всю ширь своих аграрных интересов в соответствии со своим исконным, уже сильно дифференцированным социальным строем (*secundum dignationem*). Дальнейшее развитие их аграрных отношений уже двигалось по одному пути с римским аграрным развитием, воздействуя на него, а еще более испытывая на себе воздействие его более выработанных правовых форм.

В новой политической обстановке так называемых варварских королевств римское поместье постепенно утратило те особенности, которыми оно было обязано римскому фиску, сделавшему его своей

опорой и своим орудием, возложившему податную ответственность на его владельца и «вечными узами права» прикрепившему его колон. Римская империя и над всем господствовавший и все определявший римский фиск отошли в прошлое; поместье перестало быть органом государственного управления; колон и его труд уже не были одним из видов, и притом едва ли не самым ценным, казенного имущества; фискально-крепостная неволя, заковавшая в цепи наследственного рабства все сословия и классы римского общества, уже не имела никакого смысла. Государственная организация варварских королевств была проще и элементарнее и по своим задачам и по своей структуре и не нуждалась в том сложном аппарате, который был необходим для мировой державы даже в эпоху ее упадка и разложения и в то же время ложился на нее тяжким, сокрушительным бременем, беспощадно истощавшим ее последние силы. Нужно было тем или иным путем освободиться от этого бремени римскому обществу, точнее говоря, всему находившемуся под римской властью человечеству, чтобы получить возможность творить новую жизнь и культуру. Это был вопрос жизни и смерти для европейской культуры. Только высвободившись из мертвящих тисков выродившейся римской государственности, когда-то явившейся благой вестью для него, европейское человечество могло обеспечить себе культурную будущность. И вот при содействии германцев давно уже обветшавшее грандиозное сооружение рухнуло наконец и развалилось, уступив место менее импозантным и в ином стиле проектированным государственным образованиям. Так называемое падение Римской империи, распадение ее на ряд варварских государств, и было этим освобождением и возрождением европейского человечества к новой жизни, которая медленно и постепенно слагалась из основных элементов старой культуры и того культурного капитала, какой принесли с собой выступившие теперь на широкую арену истории германцы. Раскрепощенное самим фактом крушения имперской государственной системы, римское общество тем легче могло слиться с германским, которое, как мы видели, много общего имело с ним в своей социальной структуре. И римское крупное поместье, утратив свое административно-фискальное значение и перейдя всецело в сферу частного права, постепенно ассимилировалось с германским, приближаясь к нему, но и приближая его к себе путем внесения в его аграрную и социальную структуру своих более развитых правовых форм.

Последующая история средневековой Европы видела лишь дальнейший рост крупного землевладения и всестороннее развитие внутренней структуры поместного строя в его разновидностях. Индивидуальная история каждой из стран и их отдельных областей и районов накладывала индивидуальный отпечаток на поместный строй и поместную жизнь, не закрывавший, однако, их типических черт, общих каждому поместью и дающих возможность говорить о поместном строе средневековой Европы и воссоздавать его идеально-типический образ. Среди многочисленных и чрезвычайно разнообразных причин дальнейшего роста крупного землевладения в средневековой Европе, как светского, так и церковного, весьма видное место занимает широкие круги захватывавший процесс развития зависимых отношений, превращавший до тех пор экономически самостоятельных мелких землевладельцев в держателей крупных земельных собственников, которым они передавали свою землю, чтобы получить ее обратно, уже обремененную платежами и повинностями. В каждом отдельном случае такой передачи действовали индивидуальные, нередко весьма различные мотивы, но в общем можно сказать, что основным мотивом, главным двигателем всего этого процесса является инстинкт самосохранения, стремление более мелкого люда укрепить свою социальную позицию и прежде всего свою хозяйственную базу, непрочную и ненадежную в условиях социального преобладания богатых и сильных, не знавших границ и сдержек своему инстинкту усиления и обогащения, и прежде всего насчет тех, кто не мог устоять в жизненной борьбе, оказавшейся для него непосильной.

Юридической формой, в которую отливались эти зависимые отношения, была прекария, институт, выработанный еще римским правом, но в обстановке так называемых варварских государств подвергшийся в своем дальнейшем развитии весьма существенным изменениям в соответствии с новыми потребностями и интересами гражданского оборота. В древнем римском праве прекарием (precarium) называлось чисто фактическое пользование, которое патрон предоставлял своему клиенту по просьбе (preces) этого последнего в отношении к тому или иному участку своей земли, с правом в любой момент взять этот участок обратно. Таков был исходный момент в истории этого института. В дальнейшем мы видим, что прекаристом (лицом, получавшим прекарий) мог быть и совершенно посторонний земельному собственнику человек, и что, желая получить прекарий, он должен был просить об

этом собственника письменно («per epistolam»). В эту письменную просьбу стали затем вносить и заявления прекариста, что по его просьбе ему выдана земля на таких-то условиях, и весь этот документ стал называться *epistola precaturia*, *epistola precaria* (просебное письмо). Условия, на которых выдавался прекарий (характер и размер платежей и служб), и срок, на который он выдавался, могли быть различны; обыкновенно, впрочем, срок был пятилетний (*lustrum*), и по истечении его прекарист мог опять обратиться с письменной просьбой к собственнику, если хотел продолжить пользование его землею. Одно оставалось неизменным: собственник земли во всякое время сохранял за собою право потребовать у прекариста свою землю назад, фактически не осуществляя его иногда целыми десятилетиями и предоставляя иногда таким образом прекаристу фактическую возможность передавать прекарий своим наследникам. Особенно широкое развитие прекарий получил на церковных землях, где с ним и познакомились германцы, основавшиеся на римской территории, и откуда он распространился и на владения светских магнатов как римской, так и германской расы. Теперь вместо прекарий стали говорить и писать прекария (*precaria*), обозначая этим словом и право пользование выданной прекаристу землей, и самую эту землю. Вошло кроме того в обычай, чтобы и выдававший прекарию землевладелец вручал прекаристу так называемую *epistola prestatia*, документ, в котором он воспроизводил текст письменной просьбы прекариста и изъявлял на нее свое согласие. С течением времени прекарная аренда становится наследственной, и право собственника земли во всякое время взять ее обратно, столь характерное для римского прекария, отмирает, и признаком, отличающим прекарию от других видов земельной аренды, является теперь письменная просьба желающего получить землю в аренду.

В прекарные отношения могли вступать люди самых различных общественных положений и с самыми различными целями, так как эта правовая форма не была связана с каким-либо строго определенным в хозяйственном и социальном смысле содержанием и давала самое широкое место разнообразию индивидуальных комбинаций. Раздача земли в прекарное владение играла очень большую роль в жизни средневекового поместья, которое таким путем приобретало необходимые для него рабочие руки. Едва ли не большую еще роль играла она в жизни малоземельной и безземельной массы, давая ей возможность стать на ноги, найти приложение своей

рабочей силе на чужой земле, но и под защитой ее собственника и остаться в строю созидателей европейской культуры. Через посредство прекарий осуществлялось и притяжение мелких владений крупными, о котором была речь выше, происходило расширение поместий церковных и светских на счет участков мелких собственников, передававших их сильным людям и учреждениям, чтобы не стать жертвой насилия или хозяйственной невзгоды.

Мелкий собственник передавал крупному свой участок и получал его обратно на прекарном праве с обязательством нести за него те или иные повинности и платежи. Эта была так называемая *гресария облата* в отличие от обыкновенной прекарии, о которой выше была речь, так называемой *гресария дата*, и особенно широкое распространение имела она на церковных землях. Весьма нередко кроме своей земли прекарист получал при этом еще и другую, и этот вид *гресария облата* носил название *гресария remuneratoria*. Если через посредство *гресария облата* светские и особенно церковные владельцы увеличивали свои земельные богатства, то *гресария remuneratoria*, как и простая прекария, обеспечивала им их хозяйственную эксплуатацию обычными в ту эпоху способами, будет ли то оброчная или барщинная система или же сочетание их обеих. Значение *гресария remuneratoria* станет еще яснее, если иметь в виду, что очень часто те участки, которые прекаристы получали в придачу к своим собственным, еще не были под обработкой, и они обязывались привести их в культурное состояние. Путем таких раздач огромные пространства невозделанной почвы Западной Европы поступали в культурный оборот, и соответственно росла хозяйственная мощь и социальная сила крупного землевладения. Само собою разумеется, что в этой огромной культурной работе участвовали и другие категории зависимых от крупных землевладельцев людей: и обыкновенные прекаристы, и посаженные на землю рабы, и литы, и колоны, и все те, кого источники называют *ассолае*, *хоспиты*, *экстранеи*, *адвенне*, разумея под ними всякого рода мелкий безземельный люд, являвшийся обыкновенно со стороны и садившийся на землю крупного собственника, в большинстве случаев еще требовавшую предварительной работы, прежде чем стать новой доходной статьей, дополнительным источником платежей и барщин для того, кому она принадлежала в собственность.

Садясь на чужую землю и обязуясь ее возделывать и нести следуемые с нее повинности и даже формально, путем коммендации, признав над собою частную власть ее собственника (что далеко не

всегда имело место), свободный человек не переставал сохранять свою личную свободу, не переходил тем самым на положение крепостного, хотя фактически, по своему хозяйственному положению и по своей роли в поместном хозяйстве, он имел с ним много общего и при наличии злой воли со стороны поместной администрации легко мог очутиться среди крепостных. Не следует только преувеличивать такого рода возможности и изображать чрезвычайно сложный социальный процесс, развивавшийся в обществах средневековой Европы и создавший характерные для них социальные формы, в очень упрощенном виде, как тоскливо однотонную, бесцветно схематичную картину насилия сильных и страдания слабых. В частности, не следует отводить слишком много места в этом процессе и определенно засвидетельствованным в источниках и, повидимому, весьма нередким фактам тех насилий, какие позволяли себе светские и духовные магнаты и представители королевской администрации (графы и другие) в отношении к мелким свободным собственникам, заставляя их отдавать им свою землю и даже превращая их в своих крепостных.

Сомневаться в достоверности таких фактов мы не имеем основания. С очень большой выразительностью о них говорят капитулярии Карла Великого, направленные против утеснения бедных свободных людей (*de oppressione pauperum liberum hominum*) сильными (*a potentioribus*), которые вопреки справедливости (*contra justitiam*) с помощью всяких злоумышлений (*malum ingenium*) вынуждают их продавать или передавать им свои участки и обрекают их наследников на нищету и преступление. Из этих же капитуляриев мы узнаем, что в ограблении этих бедных повинны в равной мере епископы и аббаты и их фохты, а также графы и их сотники, что всякого бедного, кто не захочет добровольно отдать им свою собственность, они донимают судебными процессами, добиваясь его осуждения, или слишком часто заставляют отправляться в поход (*et illum semper in hostem faciant ire*), пока он волей-неволей (*volens-nolens*) не будет принужден продать или передать им свою собственность; узнаем мы также, что графы и их викарии насильно заставляют свободных людей (*liberos homines*) нести для них приличествующую рабам барщину (*opus servile*) — жать, пахать, работать на винограднике, не говоря уже об угнетении их всякими поборами и постоями<sup>1)</sup>. Под гипнозом этих красно-

<sup>1)</sup> Capitularia, I 125, с. 16; 165, с. 2, с. 3; 201, с. 12; 144, с. 2; 197, с. 6.

речивых заявлений и увещаний сложилось долго державшееся в исторической науке представление, вернее сказать — целая теория, чтобы не сказать легенда, что в каролингскую эпоху произошел резкий и решительный перелом в социальном строе средневековой Европы, что до тех пор будто бы преобладавшее равенство в распределении земельной собственности или по крайней мере большая или меньшая его равномерность, обеспечивавшая свободу и независимость широких масс, быстро разрушается, и возникают крупные светские и церковные вотчины, безостановочно поглощающие более мелкие владения, а их собственников превращающие в однообразную массу своих крепостных.

Мы уже знаем, что крупные поместья — истонный факт средневековой истории, в том или ином виде хорошо знакомый уже и так называемым древним германцам, не говоря уже о том, что не прекратили они своего существования и среди римского населения после того, как Римская империя распалась и оно очутилось под властью германских королей, и что равномерное распределение земли едва ли не столь же мало было знакомо германцам, как и римлянам в поздней, и ранней поры. Мы уже видели, что крупное землевладение особенно большие приобретения сделало в момент образования германских государств на римской территории, и с тех пор оно продолжало безостановочно расти и шириться в сложном и гетерогенном процессе общественного развития, в органическом взаимодействии со всеми другими элементами и комбинациями тогдашней жизни, в теснейшей многообразной связи со всеми другими интересами и отношениями тогдашнего общества и его составных частей.

Как ни значительна подчас могла быть в этом процессе роль тех фактов, о которых говорят капитулярии каролингской эпохи, но, не говоря уже о том, что они не были новостью для этой эпохи и с ними и с подобными им явлениями приходится встречаться едва ли не на первых же страницах истории любого из основанных германцами государств, им все же принадлежит лишь одно из мест в этом сложном процессе, в котором переплетаются такие разнообразные интересы самых различных общественных групп. И мы уже видели, какое огромное социальное значение имело крупное землевладение, предоставляя широким слоям нуждавшегося в земле населения свои земельные богатства, распределяя их, с выгодой и для себя, между многими и тем обеспечивая здоровое культурное развитие страны и рост национального богатства. В том

же направлении шло влияние его на культурный процесс и тогда, когда оно притягивало в сферу своей силы и власти до тех пор самостоятельные социальные элементы, мелких земельных собственников, добровольно переходивших таким путем на положение прекаристов того или иного богатого и могущественного церковного учреждения и тем обеспечивавших ценою некоторой части продуктов своего труда и некоторым количеством самого труда спокойное пребывание и спокойную работу на своем таким способом застрахованном участке (нередко еще увеличенном выданным ему при этом новым участком) для себя и для своих наследников.

Следует в этой связи надлежащим образом подчеркнуть и тот чрезвычайно широкое значение имевший факт, что на территории крупных вотчин были приобщены к земледельческому труду массы рабов, посаженных здесь на землю и постепенно поднимавшихся до положения наследственных держателей своих земельных участков и отбывавших за них регулируемые твердым обычаем барщины и платежи; нередко многие из них получали при этом и свободу, не разрывавшую, впрочем, вполне их личной зависимости от отпустившего их на волю и сильно повышавшую их хозяйственную годность.

Посаженные на землю рабы и их потомки составляют, несомненно, как теперь выясняется, основную массу крепостного населения, сервов средневековой Европы. Господствовавшее в исторической науке направление, так называемая вотчинная теория, понимавшая социальный процесс, развивавшийся в средневековых обществах прежде всего как процесс закабаления и закрепощения до тех пор свободной и экономически независимой крестьянской массы крупными землевладельцами, склонно было как безмерно увеличивать численность крепостного крестьянства, включая в состав его едва ли не все категории в том или ином смысле зависимых от крупных землевладельцев крестьян, так и до крайности преуменьшать, если не игнорировать вовсе, ту прямо-таки главную роль, которая бесспорно по праву принадлежит в процессе образования средневековой крепостной массы посаженным на землю рабам, как отпущавшимися при этом на волю, так и не проходившим через формальное освобождение.

Нет, конечно, оснований сомневаться и в том, что в крепостные попадало по самым разнообразным причинам в общем не мало и до тех пор свободных людей; но не они во всяком случае соста-

вляли основное ядро крепостной массы и лишь в известной мере уплотняли его. Следует также иметь в виду, что как ни значительна была по своим размерам крепостная масса средневековой Европы, тем не менее в составе зависимого в том или ином смысле населения крупного поместья в общем она не составляла большинства, если не считать тех случаев, когда церковная ли корпорация или светский магнат имели возможность или надобность заселить своими рабами и крепостными целые деревни, вновь устроенные ими на незанятых до тех пор частях своей территории. Обычно же состав вотчинного населения был весьма пестр и разнообразен.

Да и сама вотчинная территория представляла собою большую часть весьма пеструю картину. Те случаи, когда вся деревня, вся ее земельная площадь находилась в руках одного крупного собственника и была занята его несвободными или свободными держателями, были далеко не часты. Несравненно чаще владения крупных церковных и светских собственников были разбросаны по целому ряду деревень, состоя из участков большего или меньшего размера, лежащих рядом с участками других землевладельцев той или иной деревни, мелких ли крестьян-собственников или других помещиков большего или меньшего масштаба. Поместье являлось живым организмом, ни на минуту не перестававшим находиться в живом взаимодействии с окружающей его социальной средой, приспособляясь к ней и приспособляя ее к себе, давая ей то, что оно могло ей дать, вбирая и усваивая из нее то, что ему было нужно, и поэтому оно никогда не пребывало в состоянии неподвижности, и облик его постоянно менялся, и не прекращались его рост и его развитие, и в сферу его влияния, силы и власти, при отсутствии неблагоприятных условий, попадали самые различные социальные элементы в зависимости от самых различных причин и мотивов, увеличивая этим его социальную силу и его хозяйственную мощь. Не удивительно, что иногда, далеко, впрочем, не часто, в руках у крупного земельного магната, чаще всего богатого монастыря, мало-по-малу сосредоточивалась на тех или иных правах вся территория когда-то независимой деревни, и все ее население становилось разнородной группой его держателей <sup>1)</sup>.

<sup>1)</sup> В дополнение сказанного выше см. Dopsch, Grundlagen, I—II. Dopsch, Wirtschaftsentwicklung der Karolingerzeit, I—II, 2-е Auflage 1921—1922. Удальцов А. Д. Свободная деревня в Западной Нейстрии в эпоху Меровингов и Каролингов. СПб, 1912.

Среди мотивов, заставлявших мелкий свободный люд переходить со своею землею под власть крупных землевладельцев и становиться их держателями, основным, как мы видели, была потребность укрыться, как говорили в римские времена о подобном же явлении, «под сень сильных» (*sub umbra potentium*), если тогда от невыносимых тягот, которые налагало государство и его неумолимый фиск, то теперь от опасностей иного порядка, от всего того, чем грозил жизни и имуществу мелких людей весьма еще несовершенный государственный порядок, неспособный еще защищать в должной мере слабых от насилия сильных и даже власть имущих. Передавая свою землю сильному человеку или учреждению и продолжая сидеть на ней уже на положении держателя, мелкий землевладелец, как мы видели, этим застраховывал себя и свою землю от всяких подобного рода случайностей и мог спокойно продолжать свою хозяйственную работу, нередко даже увеличивая свои хозяйственные ресурсы, получая от крупного собственника еще новый участок.

Вот эта-то потребность в защите от царившего в обществе насилия и произвола очень рано начинает играть, можно сказать, определяющую роль в социальном процессе, далеко выходя за пределы земельных и сельскохозяйственных интересов и охватывая широкие массы населения государств средневековой Европы. Вместе с мелкими землевладельцами отдаются под защиту крупных вотчинников и люди безземельные, все те, кто чувствует себя под угрозой необеспеченного существования. Широкие массы коммендируются крупным землевладельцам, признают над собою их власть, становятся их людьми и берут на себя обязательства, службы и платежи, и тем соответственно усиливают их могущество, их частную власть и их хозяйственные ресурсы. Становясь таким образом патроном, или, как тогда говорили, сеньером (*senior*) во франкском государстве и глафордом (*hlaford*, старинная форма слова *lord*, лорд) у англо-саксов коммендировавшихся ему людей и ставших его людьми, крупный землевладелец (как и всякий другой сильный человек) с своей стороны брал на себя обязательство оказывать им защиту и покровительство и никому не давать их в обиду, раз они будут добросовестно выполнять свои собственные обязательства.

Этот чисто стихийный, по существу гетерогенный социальный процесс, расчленявший общество на группы, на все расширявшиеся и уплотнявшиеся союзы частной власти и силы и частной

зависимости и подчинения, не мог не вызвать воздействия со стороны государственной власти, интересам которой он мог грозить серьезной опасностью, и она взяла его под свой контроль и стремилась сообщить ему направление, какое соответствовало этим интересам, вводя эти частные союзы в общую государственную организацию и для этого возлагая на обладателей частной силы и власти заботу об охране мира и права внутри подчиненных им общественных групп и ответственность за добросовестное и своевременное выполнение входящими в их состав людьми их государственных повинностей и наделяя ввиду этого этих сильных людей полицейскими, административными, военными и, наконец, судебными полномочиями и правами. Частно-правовые территории становятся иммунитетными округами, на которые не вхожи представители обычной администрации (*judices publici*) (графы и их помощники), так как там есть свои административные и судебные органы (*judices privati*) и свои судебные собрания (*privatae audientiae*), но которые от этого не перестают быть такими же составными частями общей государственной организации, как и графские и сотенные округа.

Носители частной силы и власти, сеньеры, лорды, становятся обладателями власти государственной, публичной в отношении к до тех пор лишь экономически и лично или только экономически и только лично зависимым от них группам. Постепенно так направляемый государством социальный процесс приводит к образованию системы политически соподчиненных государственных сословий, из которых каждое несет соответствующее его социальному существованию и силе государственное тягло (*functio*, как говорили в Римской империи), осуществляя таким образом то, что можно бы назвать государственным разделением труда.

Это и есть феодализм, своеобразная форма государственного устройства и управления, которую следует строго отличать от того социального строя, на который она опирается и который делает ее возможной и при известных условиях и необходимой.

Тот социальный процесс, который мы наблюдали и который вел к росту союзов частной власти и частной зависимости, сам по себе не есть процесс феодализации, и сама эта частная власть сильного человека и крупного землевладельца над лично (в результате коммендации) и поземельно (в результате всякого вида аренды) зависимыми от него людьми, их патрона (сеньера) и помещика, не

есть еще феодализм, но лишь его социальная предпосылка. Феодализм начинается лишь с того момента, когда чисто частная власть этого сеньера в отношении к зависимым от него людям оказывается осложненной элементами власти государственной, и он из представителя лишь социальной и хозяйственной силы становится обладателем публично-правовых полномочий, отщепленных от верховной власти главы государства и переданных ему через посредство иммунитетной грамоты.

Обладание публично-правовыми полномочиями — административной, судебной, фискальной властью — в отношении к хозяйственно и лично или только хозяйственно и только лично зависимому от него населению его вотчины, несомненно, должно было отразиться и на частной власти крупного землевладельца, усиливая ее в соответственной мере, а при неясности и нерасчлененности тогдашних юридических понятий, не говоря уже о злой воле, нередко и выводило ее за ее пределы, вовлекая в сферу ее действия и такие элементы населения вотчинной территории, которые находились лишь в чисто политической, феодальной в точном смысле слова зависимости от вотчинника, ставшего теперь феодальным сеньером, превращая и их в его держателей, обязанных наряду с его подлинными держателями отбывать ему барщины и платить оброки.

Для нас во всяком случае ясна граница, отделяющая феодальную власть вотчинника от его частной власти, и ее мы должны вполне отчетливо представлять себе, если мы хотим ясно представлять себе существо феодальных отношений и не смешивать их с тем, что находилось в тесном соприкосновении с ними, нередко переплеталось и сливалось с ними, являлось для них необходимым условием, но тем не менее не должно быть отождествляемо с ними, имея с ними разную природу. Ни на минуту не забывая публично-правовой природы феодальных отношений и строго отграничивая феодальную позицию и феодальную власть средневекового сеньера от его социальной позиции и его частной власти как крупного землевладельца и патрона, мы только при этом условии и можем установить и правильную точку зрения на феодальное поместье.

В одной из предшествующих глав нам уже приходилось говорить о том, что уже довольно давно история западно-европейского феодализма превратилась чуть ли не в одну из отраслей истории сельского хозяйства. Она погрузилась в тщательнейшее и деталь-

нейшее изучение хозяйственных систем, аграрных порядков, способов удобрения, оброков и барщин, надельной системы, организации управления и хозяйственного контроля в твердой уверенности, что изучение аграрных и хозяйственных распорядков средневекового поместья как раз и есть изучение средневекового феодализма в его реальном существовании. Средневековое поместье, несомненно, с течением времени, и даже довольно скоро, стало феодальным, а его собственник стал феодальным сеньером; но и поместье, и его собственник перед тем, как их захватил феодализационный процесс, представляли собою уже вполне сложившееся явление со всеми характерными для него социальными и хозяйственными особенностями. Таким образом, изучение хозяйственного строя феодального поместья едва ли может быть отождествляемо с историей феодализма, потому что если средневековое поместье и было феодальным, то его хозяйственный строй не был феодальным. В средневековой Европе существовало феодальное поместье, но феодального хозяйства в ней никогда не существовало. И после того, как поместье стало феодальным, в его хозяйственной организации в связи с этим никаких изменений не произошло. Единственное, что можно отметить в этой связи, это привлечение к участию в хозяйственной жизни поместья тех элементов жившего под властью феодального сеньера населения, которые до тех пор вовсе не были связаны с ним ни в каком отношении и в процессе феодализации попали в политическую к нему зависимость как обладателю судебной, административной и фискальной власти, возможное при неспособности тогдашнего юридического мышления к строгому разграничению частного права и права публичного. Но привлечение это если имело место, то лишь увеличивало несколько хозяйственные ресурсы феодального сеньера, но совершенно не вносило никаких перемен в хозяйственную структуру и в хозяйственные распорядки поместья и не общало ему решительно никакого феодального отпечатка.

То же приходится сказать и о социальном строе феодального поместья, о тех социальных категориях, из каких состояло население феодального поместья. Это были все те же известные нам рабы, посаженные и не посаженные на землю, постепенно, как мы видели, превратившиеся в основное ядро крепостной группы поместья (сервов), уплотненной полусвободными литами и случайно и далеко не всегда правомерно попадавшими в нее свободными, и самые разнообразные виды свободных людей, сидевших на земле сеньера или на собственной земле, часть прав на которую они или их предки

передали сеньеру по прекарному договору, дававшие сеньеру барщины и оброки и ставшие его людьми и как обладателя частной власти, а то и оставшиеся ничьими людьми, сохранившими свою личную независимость или личную зависимость от другого сеньера и жившие здесь как *extranei, advenaе, hospites* (пришедшие со стороны, пришельцы, гости), а то и вовсе и лично, и хозяйственно независимые люди, жившие по соседству с сеньером и его держателями на территории деревни еще тогда, когда сеньер был лишь крупным замлевладельцем и еще не обладал публично-правовыми полномочиями. Превращение собственника поместья в феодального сеньера лишь политически подчинило ему все эти элементы поместного населения, сделало их подсудными ему и подвластными ему в административном и фискальном отношениях, сделало их его подданными, но не внесло никаких перемен в их хозяйственное и в их личное положение. Феодальное поместье как поместье, с его хозяйственной организацией и с его социальным строем, к явлениям феодального порядка не принадлежит. Феодальным оно является лишь постольку, поскольку его собственник является феодальным сеньером, обладателем государственной власти, которую он и осуществляет над хозяйственно и лично или только хозяйственно и только лично зависимым от него населением его владений, ставшим и его подданными.

## II

Конкретные сведения о средневековом крупном поместье относятся, самое раннее, к концу VIII и к началу IX века. Их находимы в знаменитом *Capitulare de villis*, в памятнике, носящем название *Brevium exempla ad describendas res ecclesiasticas et fiscales*, и в не менее знаменитом Полиптике аббата Ирминона<sup>1)</sup>.

Трудно указать исторический документ, который нашел бы в научной литературе такую высокую оценку, которому приписывали бы также широкое влияние на историческую действительность, как это произошло с памятником, известным как *Capitulare de villis vel curtis imperii* (Капитулярый об имперских по-

---

<sup>1)</sup> Полный русский перевод *Capitulare de villis*, превосходно выполненный проф. Н. П. Грацианским, напечатан в серии «История в источниках», в выпуске, озаглавленном Западная Европа в средние века, составленном Н. П. Грацианским, а также в первом томе Социальной истории средневековья. Здесь же помещены отрывки из *Brevium exempla* и из Полиптика аббата Ирминона.

местях). До самого последнего времени в нем видели капитулярий (указ), изданный Карлом Великим и совершенно заново реорганизовавший весь поместный строй, как непосредственно, на всей территории императорских земельных владений, так и далеко за ее пределами, на территории светских и церковных владений, перестроивших будто бы свои хозяйственные порядки по созданным сверху образцам. Но этого мало. Если послушать, например, почтенного издателя этого памятника проф. Карла Гарайса (Gareis), то из многочисленных узаконений великого императора ни одно не может равняться по своему политическому значению с *Capitulare de villis*. В этом отношении он «превосходит все каролингские законы: направленный на великое широкое политический взгляд и в то же время не оставляющая без внимания и самого малого заботливость властителя, — и то и другое выступает самым блистательным образом в вотчинном уставе Карла, в каждой его строчке отчетливо показывая в его творце искусство правителя и мудрость властителя». Но особенно велико, по мнению Гарайса, социально-политическое значение *Capitulare de villis*. Оказывается, что благодаря этому капитулярию — и в этом Гарайс видит главную заслугу творца этого вотчинного устава — получили земельное обеспечение в виде бенефициев или «по крайней мере мансов» «тысячи сельскохозяйственных рабочих и ремесленников, которых мы видим занятыми на коронных имениях Карла, — а эти поместья были образцовыми хозяйствами (*die Musterwirtschaften*) для всей империи, также для церковных поместных управлений», — и таким образом «на место угнетающего рабством латифундиального производства (*an Stelle eines sklaveartig drückenden Latifundienbetriebes*) было гарантировано во всех отношениях благодетельно действующее существование наследственно обеспеченного мелкого крестьянства, и каждое крупное земельное владение приобрело характер системы органически связанных, вокруг господской резиденции группирующихся и для нее, как и для самих себя творящих мелких хозяйств». «Кто ясно представляет себе, какое значение в настоящее время имеет вопрос о сельскохозяйственных рабочих, о снабжении ими хозяйства, а затем вопрос об их прочном обеспечении, о создании арендных и рентных участков (*Pacht- und Rentengüter*) в комплексе крупных владений, и т. д., для того станут ясными во всей своей грандиозности (*in ihrer ganzen Grossartigkeit*) мероприятия, заключающиеся в вотчинном уставе Карла; и при этом нужно принять во внимание, что

каролингская эпоха не из спокойных отношений упорядоченной государственной и хозяйственной жизни должна была возводить новое здание (den Neubau) своей хозяйственной организации, но и вынуждена была в обстановке совершенно расстроженных отношений оперировать с обломками римско-галльской культуры, с одной стороны, и с остатками франко-германского образа жизни и воззрений — с другой». Кроме «разрешения сельскохозяйственно-социальной проблемы (des landwirtschaftlich-socialen Problems) путем указанного разделения земельной ренты для ряда столетий» вотчинный устав Карла Великого не менее важное значение имеет еще и в деле организации ремесла: она создает «первую организацию немецкого ремесла», «ясные начатки позднейшего цехового строя»<sup>1)</sup>.

Мы не будем идти дальше за Гарайсом, не потому, конечно, чтобы мы опасались заблудиться в совершенно фантастическом мире, созданном его поистине мифологическим мышлением с характерным для него олицетворением сложнейших процессов общественного развития и чисто религиозной верой в творческое всемогущество дел и слов властителей народа, но просто потому, что и сказанного с его слов достаточно для того, чтобы видеть, какое огромное значение придавали (да и сейчас еще придают) и какую грандиозную творческую роль приписывали (да и теперь еще приписывают) *Capitulare de villis*: ведь в сущности весь поместный строй средневековой Европы оказывается созданием творческого ума великого императора, и «капитулярий о виллах» является тем магическим словом, которым он повелел быть тому, чего не было до него.

Дальше нельзя идти. Тут уже начинаются теркулесовы столбы, за которыми уже совершенно нельзя различить никаких реальных очертаний. Правда, не все так далеко заходили, но все в унисон пели хвалу творческому гению создателя «новой системы» королевского хозяйства, ставшего образцом для вотчинных хозяйств на всем протяжении каролингской империи.

В ставшей канонической книге Инама-Штернегга *История немецкого хозяйства* (K. Th. vom Inama-Sternegg, *Deutsche Wirtschaftsgeschichte*) общепринятый взгляд на *Capitulare de villis*, так ярко расцвеченный уже слишком на высокий тон настроенной фантазией Гарайса, получил более умеренное

---

<sup>1)</sup> Gareis. Die Landgüterordnung Kaiser Karls des Grossen (*Capitulare de villis vel curtis imperii*), 1895, Einleitung.

выражение. В крупных поместьях давно уже назрела «необходимость лучшей организации всего их владения, более крепкой сплоченности их хозяйственного управления». «Становилось все более и более невозможным из резиденции владельца, с главного двора наблюдать за всеми отношениями участков, как находящихся под собственной обработкой, так и оброчных, регулировать и контролировать их производство. Стало необходимым точнее контролировать повинности обязанных гуф в меру их конкретной способности их нести и обеспечить их продуктам способом сбыта, а их рабочей силе путем предоставления более подходящего поля деятельности большую ценность. Ибо тяжеловесные формы натурального хозяйства, громоздкость его продуктов и недостаток путей сообщения и транспортных средств, наконец слабое развитие упорядоченных рыночных отношений скоро сделали неосуществимым, а также в самой высокой мере экономически невыгодным все поступления со служебных участков собирать на главном дворе, чтобы уже оттуда их добывали для потребления те, кому для этого приходилось идти сюда как раз по тем же дорогам, по которым приходили эти продукты. Да и барщинами и другими рабочими услугами тех, кто обязан был их нести, скоро уже нельзя было распоряжаться с главного двора с той уверенностью, с той возможностью их конкретно себе представлять, которые обеспечивают полное использование находящихся в распоряжении рабочих сил.

«Так возникала потребность в экономическом расчленении всей владельческой территории на ряд самостоятельных управлений, которые, при всем сохранении принципиального единства хозяйства, как местные центры брали на себя каждую заботу о важнейших задачах вотчинного хозяйства». «Карл Великий разрешил в самом грандиозном масштабе и самым совершенным образом эту важную задачу в своих собственных владениях. Вся территория королевских земельных владений была разбита на ряд доменов (fisci), из которых каждый получил самостоятельное хозяйственное управление в то время, как высшее объединяющее руководство осуществлялось им самим, королевой и обоими министрами королевского хозяйства, сеншалом и щенком. Из этих доменов часть была устроена в качестве палатцев (als Palatien) для дома и двора императора (für die Haus- und Hofhaltung des Kaisers); к палатцам принадлежащее владение возделывалось отсюда самостоятельно в качестве господской земли, частью, поскольку оно обнимало бенифиции или чиншевые участки (Zinsgüter), управлялось в вот-

чинном порядке (*grundherrschaftlich verwaltet*). Но в то же время палации образовали сборные пункты всех излишков продуктов отдельных императорских хозяйств (*Gutswirtschaften*) и благодаря этому сделались вместе с тем высшими дворовыми управлениями (*zu Oberhöfen*) для остальных доменов, равно как и важными рынками для всех земледельческих и промышленных продуктов для всей империи. Остальные же домены в качестве вилл (*villae*) или королевских дворов (*curtes regiae*) имели лишь сельскохозяйственное назначение и обыкновенное поместное управление. Сами они опять же состояли из находящегося под собственной обработкой королевского фиска главного участка (*Hauptgut*) и из комплекса участков (*Güter*) или дворов (*Höfen*), из которых одна часть, взятая в поместное управление (*zur gutsherrlichen Verwaltung eingezogen*), возделывалась подчиненными хозяйственными должностными лицами фиска, а другая часть была сдана свободным крестьянам или чиншевикам (*an Freibauern oder Zinsleute*). Чинши и службы этих гуф отбывались частью на второстепенных дворах (*an die Nebenhöfe*), частью прямо на главных дворах (*an die Haupthöfe*). Смотря по положению вилл, большее или меньшее количество таких главных дворов было экономически связано с палациумом; что из продуктов доменов не шло на надобности, связанные с самым ведением хозяйства в отдельных виллах, то должно было отправляться в соответственные палации, и должностные лица отдельных вилл также получали свои инструкции из палациума. Сумма в какой бы то ни было форме, в форме ли бенефициев, свободных или чиншевых гуф (*Frei oder Zinshufen*), сданных участков была затем внутри каждого из доменов разделена на министерии (*ministeria*); в каждом *ministerium*'е служебные гуфы (*die dienenden Hufen*) были присоединены к господскому двору и вместе с ним составляли низшую хозяйственную единицу этого многочленного организма, в который отлился строй королевских вилл. Руководство поместным управлением, как и обеспечение интересов домениального хозяйства в хозяйственной работе (*in der Wirtschaftsführung*) свободных крестьян и чиншевиков, надзор за выполнением ими их повинностей и забота о выполнении общих хозяйственных распоряжений — все это было поручено на главных дворах (*fisci*) собственным должностным лицам (*judices, villici, actores*), а на второстепенных — *majores*. «Эта организация вилл, созданная Карлом Великим в течение IX столетия, несомненно, сделалась все более и более общим образцом и примером для органи-

зации крупных поместий» (Inama-Sternegg, Deutsche Wirtschaftsgeschichte, I<sup>2</sup>, стр. 443—447, 449).

Да не посетует на нас читатель за эту длинную выдержку из Инама-Штернегга: ведь это та классическая формулировка взгляда на *Capitulare de villis* и на поместный строй каролингской эпохи, из этого памятника вычитанный, которая вот уж около полустолетия не сходит со страниц специальных исследований и общих руководств в качестве для всех обязательного догмата исторической науки. Только совсем недавно раздался решительный голос против этого взгляда, как и против всей лежащей в его основе концепции хозяйственной истории и хозяйственного строя средневековой Европы. В вышедшем в 1912 году (первым изданием) первом томе (второй том вышел в следующем, 1913 году) своей замечательной работы о Хозяйственном развитии каролингской эпохи (*die Wirtschaftsentwicklung der Karolingerzeit*) Допш привел целый ряд весьма серьезных и весьма остроумных соображений, в своем экскурсе, специально посвященном *Capitulare de villis* как историческому источнику, после которых общепринятый взгляд на этот памятник должен стать достоянием истории. Допш пришел к выводу, что *Capitulare de villis* только по недоразумению причисляется к капитуляриям (издававшимся верховной властью узаконениям), что это — вотчинный регламент, изданный не Карлом Великим, а сыном его Людовиком (известным потом как Людовик Благочестивый), в то время, когда он был еще при жизни отца королем Аквитании, и что издан он был около 794 или 795 г. Людовиком с очень определенной и очень специальной целью — восстановить порядок в тех коронных поместьях, которые имели особое назначение — поставлять все необходимое для содержания королевского дома и двора, так как в имениях этих перед тем произошло много беспорядков благодаря тому, что тут слишком свободно хозяйничали магнаты, эксплуатируя королевские имения для своих собственных надобностей и почти ничего не оставляя для их законного владельца. Имения эти вернулись теперь к тому, кто один имел право извлекать из них все то, что из них можно было извлечь; нужно было восстановить в них нормальную хозяйственную жизнь и хозяйственный режим, который бы обеспечивал в полной мере выполнение ими своего специального назначения, и так называемый Капитулярий о виллах и был издан Людовиком для этой чисто реставрационной цели, уже первой своею строкою определенно указывая на эту

цель: «Мы желаем, чтобы виллы наши, которые предназначены служить нам поставкою всего для нас необходимого, полностью служили нам, а не другим людям (*Volumus, ut villae nostrae, quas ad opus nostrum serviendi institutas habemus, sub integritate partibus nostris deserviant et non aliis hominibus*)». Мы узнаем кое-что и об этих «других людях», читая в 60 параграфе этого же регламента, что «не следует делать управляющими сильных людей; лучше их брать из людей более скромного положения, которые были бы верными людьми (*nequaquam de potentioribus hominibus majores fiant sed de mediocribus, qui fideles sint*), во 2-м находя требование, «чтобы о наших людях заботились, как следует, и чтобы никто не доводил их до разорения» (*ut familia nostra bene conservata sit et a nemine in paupertate missa*), в 3-м — «чтобы не смели управляющие ставить наших людей (*nostram familiam*) на свою службу и не заставляли их нести для них барщины (*corvadas*), рубить для них деревья и всякую другую работу для них делать и не брали бы с них никаких подарков — ни лошади, ни быка, ни коровы, ни свиньи, ни барана, ни поросенка, ни ягненка, ни чего-либо иного, кроме тыкв, садовых фруктов, яблок, кур и яиц», а в 11-м, «чтобы никто из управляющих ни для себя, ни для своих собак никоим образом не пользовался постоем у людей наших и в наших лесах».

Таким образом, все пространные соображения исследователей этого памятника, проникнутые чувством патриотического воодушевления, пробужденного удивлением перед творческим гением великого императора, оказываются лишенными реальной почвы: регламент этот вышел из других рук, ставил себе очень скромную и очень узкую задачу, совсем не имел в виду создавать что-либо новое, что служило бы образом и примером для всех, а лишь стремился восстановить в определенном месте то, что было если не везде, то во всяком случае во многих местах, во всей Аквитании, обычным порядком. Воспроизвести и понять именно этот обычный порядок, господствовавший в королевских поместьях Аквитании и многими своими чертами сходный, если не тождественный, с поместным строем во владениях и других аквитанских крупных землевладельцев, а также с поместным строем едва ли не всей франкской державы, и помогает нам так называемый *Capitulare de villis*, и в этом, и только в этом, его значение как исторического документа, значение, тем не менее, очень крупное и уже совершенно бесспорное. Господствовавшая до сих пор и сейчас имеющая еще за собою широкое признание точка зрения на *Capitulare de villis* и

на его назначение совершенно извратила историческую перспективу, в которой только и мыслим этот памятник, и тем затемнила его научное значение, заставив его давать такие показания и рисовать такие картины, какие могло вычитать из него лишь слишком определенно настроенное и не слишком строго отличающее факт от гипотезы воображение ученых, к тому же всецело находившихся во власти определенных исторических концепций. Мы привели выше слова Инама-Штернегга, которыми он рисует поместный строй, по его и по общепринятому мнению введенный Карлом Великим изданием *Capitulare de villis* и этим памятником изображаемый. Нельзя сказать, чтобы все можно было понять и конкретно представить из того, что говорит об этом будто бы созданном Карлом Великим вотчинном режиме и вообще трудно понимаемый благодаря крайней неуклюжести и досадной неотчетливости своего изложения Инама-Штернегг, тем не менее основные черты изображенного им поместного строя вполне различимы. Мы не будем подвергать разбору его построения, а обратимся прямо к самому тексту памятника и послушаем, что он сам говорит о хозяйственных порядках королевских вотчин в Аквитании, предназначенных прежде всего поставлять продукты для содержания королевского дома и двора.

О специальном назначении тех королевских вотчин, на которые направлено исключительное внимание *Capitulare de villis*, говорит чуть ли не каждая строка этого памятника. Все, что только нужно для жизни королевскому дому и двору, все это в соответствующих количествах и соответствующего качества должно поступать с этих имений (по-немецки такие имения называются *Tafelgüter*, имения для стола), которые должны быть снабжены для этого всеми необходимыми для этого хозяйственными ресурсами.

Целый ряд параграфов подробно знакомит нас с тем, что тогда ели и пили за королевским (и не только за королевским) столом, какие запасы делали, что солили, вялили, коптили, варили. «Со всяким тщанием следует наблюдать, — читаем в 34-м параграфе, — чтобы все, что изготавливается руками, именно: сало, мясо вяленое, колбасы, свежее-просоленное мясо, вино виноградное, уксус, вино ягодное, вино вареное (*vinum coctum*), маринованная рыба, горчица, сыр, масло, солод, пиво, мед для питья (*medum*), мед натуральный, воск, мука, чтобы все это приготавливалось с величайшей опрятностью». «Чтобы даильни в поместьях наших хорошо были

устроены», — читаем в параграфе 48-м, — и управляющие должны заботиться о том, чтобы никто не смел давить наш виноград ногами, но чтобы все было чисто и добросовестно». «Мы хотим, чтобы изготовлялось сало от жирных баранов, а также от свиней, и кроме того пусть в каждом поместье содержат не менее двух откормленных быков, чтобы сало их на месте употреблять, или же приводить их к нам» (с. 35). «Чтобы всегда имели в достаточном количестве откормленных гусей и откормленных кур для наших надобностей, когда должны будут служить ими нам (управляющие), или же чтобы посылать их нам» (с. 38). «Из постного ежегодно две части должны быть отправляемы для наших надобностей, как овощей, так и рыбы, сыра, масла, меда, горчицы, уксуса, пшена, проса, зелени сушеной и свежей, редьки и сверх того рещы и воска и мыла и прочей мелочи» (с. 44). Управляющий должен был регулярно снабжать королевскую резиденцию всем необходимым, повидимому в определенные сроки лично отправляясь с запасами к королевскому двору, а когда король со своею свитою приезжал в данное поместье, то здесь, на месте, он «служил» ему всем этим, причем эта «служба» (*servitium* в этом техническом смысле, в каком в этом памятнике употребляется и слово *servire*, служить) состояла не только в снабжении королевского двора готовыми запасами, но и в приготовлении новых с помощью соответствующих специалистов этого дела. «Каждый управляющий должен полностью справлять свою службу, как ему будет указано, а если окажется нужным «служить» больше этого, пусть распорядится рассчитать, должен ли он для этого увеличить число занятых на этой службе людей, или же заставить их работать и по ночам (*si servitium debeat multiplicare vel noctes*)» (с. 7). «Каждый управляющий должен отвечать за то, чтобы все то, что он должен поставлять к нашему столу (*ad discum nostrum*), было в хорошем и отличном состоянии и добросовестно и чисто приготовлено» (с. 24). «Чтобы каждый управляющий, когда он будет отправлять свою «службу», привозил свой солод во дворец, и чтобы вместе с ним приходили и мастера (*magistri*), которые бы изготовили здесь доброе пиво» (с. 61). Словом *servitium* обозначается и совокупность тех продуктов, которые поставляются королевскому двору. «Мы хотим, — читаем мы в параграфе 30-м, — чтобы (управляющие) из всех продуктов (поместья) отделяли то, что идет на то, чем они должны служить нам (*volumus unde servire debent ad opus nostrum, ex omni conlaboratu eorum servitium segregare faciant*)».

Чтобы поместья могли нести такую службу королю и его двору [а об этом их прежде всего назначении совершенно определенно, как мы видели, говорит первый же параграф *Capitulare de villis*: «мы хотим, чтобы поместья наши, которые предназначены к тому, чтобы служить нам поставкой всего для нас необходимого (*quas ad opus nostrum serviendi institutas habemus*), полностью служили нам (*sub integritate partibus nostris deserviant*), а не другим людям», управляющие их должны были располагать соответствующими персоналом рабочих рук и соответствующими приспособлениями и хозяйственными отраслями. В 45 параграфе перечисляются те добрые мастера своего дела (*bonos habeat artifices*), которых должен иметь в своем ведении каждый управляющий. Тут мы находим и кузнецов, и золотых и серебряных дел мастеров, и сапожников, и токарей, и плотников, и щитников, и рыболовов, и птицеловов (*aucipites id est aucellatores*), и мыловаров, и пивоваров, которые умели бы готовить яблочные, грушевые и всякие другие напитки (*siceratores, id est qui cervisam vel pomatium sive piratium vel aliud quodcunque liquamen ad bibendum aptum fuerit facere sciant*), булочников, которые бы готовили для нас пшеничный хлеб (*similam*), людей, которые бы хорошо умели плести сети как для охоты, так и для рыбной ловли и ловли птиц. На этом перечень и останавливается, но только потому, что было бы слишком долго перечислять тех мастеров, каких следует иметь в своем распоряжении управляющим поместий («*nesnon et reliquos ministeriales quos ad numerandum longum est*»). Управляющий должен был заботиться о том, чтобы кухни, хлебопекарни и давяльни (*coquinae atque pistrina seu torcularia*) были устроены с надлежащим тщанием (*studiose praeparata fiant*), чтобы наши служащие могли там отправлять свои обязанности приличествующим образом, хорошо и чисто (*quatenus ibidem condigne ministeriales nostri officia bene nitide peragere possint*)» (с. 41).

Хлебопашество, садоводство и огородничество, скотоводство, птицеводство, пчеловодство, рыбоводство, разведение винограда и виноделие, — все эти отрасли поместного хозяйства в изобилии доставляют необходимые для королевского двора продукты; да кроме того немалое количество их поступает в виде оброка от зависимых хозяйств держателей. «В каждом нашем поместье управляющие пусть содержат как можно больше коровников, свиных хлевов, овчарен, хлевов для коз и для козлов (*vaccaritias, porcarias, berbicaritas, capraritas, hircaritas*) и никоим образом без них не об-

ходятся (*et nullatenus sine hoc esse debent*)» (с. 23). «Чтобы при мельницах наших держали кур и гусей, смотря потому, какая мельница, и чем больше, тем лучше (*ut ad farinarios nostros pullas et aucas habeant juxta quantitatem farinarii, vel quantum melius potuerint*)» (с. 18). «При житницах наших (*ad scuras nostras*) в главных поместьях (*in villis capitaneis*) должны (управляющие) держать кур не менее 100 и гусей не менее 30. А при хуторах (*ad mansioniles*) кур должны держать не менее 50, а гусей не менее 12» (с. 16). Мы уже приводили распоряжение, чтобы управляющие имели в достаточном количестве откормленных кур и гусей, чтобы привозить их к королевскому двору, когда они будут справлять там свою «службу», или просто присылать их туда (с. 38). Управляющие должны заводить и держать не только материально полезных птиц, и в параграфе 40-м мы читаем: «Чтобы каждый управляющий непременно всегда держал в наших поместьях особенных птиц: павлинов, фазанов, уток (*enecas*), голубей, куропадок, горлиц из-за их высоких качеств (*pro dignitatis causa*)». Мы уже видели в перечне продуктов для королевского стола мед натуральный (*mel*) и приготовляемый из него напиток (*medum*). В параграфе 17-м предписывается управляющим, чтобы они в каждом из находящихся в их ведении поместий назначали людей, которые бы ходили за пчелами (*quantascunque villas unusquisque in ministerio habuerit, tantos habeat deputatos homines qui apes ad nostrum opus praevideant*). Большое место среди предметов питания занимала рыба, и в параграфе 21-м читаем: «Каждый управляющий пусть держит в наших дворах рыбные садки, где они раньше были, и если их можно расширить, пусть расширит, а где их прежде не было, а теперь могут быть, пусть будут устроены вновь». Очень большое внимание уделялось виноделию: вино тогда было предметом широкого потребления, и вынужденное воздержание от вина являлось, как увидим, одним из видов наказания, и, надо думать, далеко не легкого. Мы уже приводили не один параграф, в котором шла речь о вине и о виноградных прессах. В дополнение к ним укажем на параграф 8-й, в котором управляющим предписывается хорошо ухаживать за виноградниками, вино сливать в сосуды и тщательно смотреть, чтобы оно не испортилось (*quod nullo modo naufragatum sit*), отводки от виноградников посылать для надобностей короля (*scipatticos enim de vineis nostris ad opus nostrum mittere faciant*), а оброк вином, который следует с тех поместий, которые обязаны давать его вином, отправлять

в погреба («*censa de villis nostris, qui vinum debent, in cellaria nostra mittat*»). Управляющие должны всегда иметь наготове добрые бочки, связанные железными обручами (*bonos barriclos ferro ligatos*), которые можно бы было посылать (королю) во время похода и отправлять (ему) во дворец (*quos in hostem et ad palatium mittere possint*), а кожаных бурдюков не делать (*et buttes ex coriis non faciant*) (с. 68). Знаменитый 70-й, заключительный параграф, представляющий большой интерес для ботаника, садовода, фармацевта и огородника, включает в себе богатейший перечень самых разнообразных насаждений, которые желательнее было иметь в королевских поместьях. Чего тут только нет? И розы, и шалфей, и огурцы, дыни, тыквы и фасоль, и цикорий, и горчица, и гелиотроп, и мята, и петрушка, и пастернак, и разные породы лука, и чеснок, и горчица, и редька, и богородская трава, и брюква, и капуста, и салат, и морковь, и морена красильная, и ворсянка, и золототысячник, и проскурняк, и яблони, и груши, и сливы, и вишни разных сортов, и рябина, и кизил, и каштан, и орешник, и миндальные, и фиговые, и персиковые, и айвовые деревья, и мак, и молочай, и анис, и эстрагон.

Очень много занят *Capitulare* лошадьми, очевидно, также и ввиду того значения, какое имела конница на войне, и целый ряд параграфов посвящен коневодству (с.с. 13, 14, 15, 50).

Большое место в жизни тогдашнего общества, в особенности высшего, занимала охота, и охотничьим собакам, соколам и ястребам уделено в нашем памятнике все то внимание, каким они пользовались и в жизни. Управляющим король поручал выкармливать своих щенят, и они должны были или сами выкармливать их на свой счет, или передавать их для этого своим подчиненным (*junioribus suis*), т. е. приказчикам, десятникам или ключникам (*majoribus et decanis vel cellariis*); иногда король или королева делали распоряжение, чтобы их кормили на их счет, и тогда управляющий поручал это дело особому человеку, «который хорошо бы их кормил, и пусть корм для них отделит особо, чтобы не было надобности этому человеку ежедневно ходить в кладовые (*ad scurras rescutere*)» (с. 58).

И сам управляющий не меньше короля интересовался охотой и охотничьими собаками, и если ему приходилось на свой счет кормить королевских щенят, то он, должно быть, считал себя вправе своих собак ставить на постой к королевским людям, и король вынужден был предостеречь его от этого (мы уже приво-

дили в своем месте и в другой связи этот 11-й параграф, в котором король запрещал управляющим пользоваться постоем у его людей и для себя, и для своих собак).

Когда в поместье приезжали королевские ловчие, сокольничьи и другие служащие, исполняющие постоянную службу во дворце (*venatores nostri vel falconarii vel reliqui ministeriales qui nobis in palatio adsidue deserviunt*), управляющий должен был оказывать им всякое содействие (с. 47). Предписывается тщательно охранять заповедные чащи (*forestes*) и живущих в них зверей («*et feramina nostra intra forestes bene custodiant*»), а также заботиться о соколах и ястребах для королевской охоты («*similiter acceptores et spervarios ad nostrum profectum praevideant*») (с. 36).

Насколько детальны и колоритны предписания, касающиеся всякого рода поставок ко двору и тех специальных отраслей хозяйства, которые производили все эти съестные продукты и обрабатывали их для потребления, настолько в сущности скудны и мало конкретны те данные, которые мы находим в *Capitulare de villis* относительно самой основной отрасли сельского хозяйства, земледелия. «Когда управляющие наши должны выполнять наши работы — посев или пахоту, сбор жатвы, сена или винограда (*seminare aut arare, messes colligere, fenum secare, aut vindemiare*), каждый во время работы всюду пусть тщательно смотрит и дает распоряжение, как надо это делать, чтобы было хорошо и исправно (*ut bene salva sint*)»; в случае же своего отсутствия должны посылать вместо себя надежных людей из зависимых людей поместья (*missum bonum de familia nostra*) или другого какого-нибудь верного человека (*aut alium hominem bene creditum*) (с. 5). «Пусть каждый управляющий заботится о том, чтобы всегда иметь хорошие и первосортные семена, покупая их или иным способом добывая их (*de comparato vel aliunde*)» (с. 32). На него же возлагается обязанность принимать меры против колдовства, опасного для урожая: «Пусть каждый управляющий смотрит за тем, чтобы прибегающие к колдовству люди (*pravi homines*) никоим образом не могли прятать под землю или где-либо в другом месте наши семена, из-за чего реже была бы наша жатва. Равным образом пусть они смотрят и за другими их лиходействами, чтобы они никогда не могли их учинить» (с. 51). Предписывается им также «поля и заимки (*campos et culturas nostras*) хорошо обрабатывать и луга наши охранять в надлежащее время (*et prata nostra ad tempus custodiant*)» (с. 37), а также расчищать удобные для этого места

в лесах и не давать этим полям зарастать лесом («et ubi locus fuerit ad stirpandum, stirpare faciant, et campos de silva increscere non permittant») (с. 36).

Остается еще лишь два параграфа, из которых мы можем кое-что почерпнуть и об организации поместного хозяйства. В параграфе 62-м, где перечислены все источники и статьи поместного дохода (ex omni conlaboratione nostra), о которых управляющие должны сообщать ежегодно к празднику Рождества «раздельно, ясно и по порядку» (omnia seposita, distincta et ordinata), упоминаются быки и погонщики, которые, повидимому, ими пашут господскую землю («quam cum bubus quos bubulci nostri servant»), и мансы (крестьянские участки), которые обязаны вспахивать барское поле («quid de mansis qui arare debent»), а также оброки (quid de censis), свободные люди и сотни, несущие повинности для надобностей королевских поместий («quid de liberis hominibus et centenis qui partibus fisci nostris deserviunt»), и те, кто платит вином («quid de illis qui vinum solvunt»). Более конкретно говорит о хозяйственных порядках поместья, да и то по специальному поводу и очень коротко, 10-й параграф. «Чтобы управляющие наши и лесничие, служащие при конюшнях, ключники, десятники, сборщики пошлин и прочие служащие (majores nostri et forestarii, poledrarii, cellerarii, decani, telonarii, vel ceteri ministeriales) возделывали в должном количестве барское поле (rega faciant) и давали поросят за свои мансы (et sogales donent pro mansis eorum), взамен же ручных работ пусть хорошо справляют свои должности (pro manuopera vero eorum ministeria bene praevideant). Если же какой управляющий имеет бенефиций (beneficium), пусть посылает за себя заместителя, чтобы он выполнял следующие за него ручные работы и прочую службу (suum vicarium mittere faciat, qualiter et manuopera et ceterum servitium pro eo adimplere debeat)». В 50-м параграфе упоминаются, тоже по очень специальному поводу, крепостные (fiscalini), служащие при конюшнях (poledrarii), которые имеют мансы (qui mansas habuerint) и должны жить с них (inde vivant), а в 67-м параграфе король требует, чтобы его извещали о пустующих мансах (de mansis absis) и о вновь приобретенных рабах в случае, если не окажется участков, на которые их можно бы было посадить. Из параграфа 39-го узнаем, что держатели мансов (mansuarii) дают ежегодно кур и яйца на барский двор.

Вот в сущности и все, что дает нам Capitulare de villis об организации земледельческого хозяйства королевских вотчин. Не только

никаких новшеств, о которых так громко и торжественно в один голос говорили немецкие исследователи, мы здесь не находим, но лишь между прочим, по тому или иному специальному поводу, узнаем, скорее и чаще в виде скудных намеков, о том, что само собою разумелось и, как заведенное исстари и принявшее совершенно определенные формы, не требовало новой регламентации. Единственное, чего добивался автор *Capitulare*, это того, чтобы давным давно сложившийся хозяйственный аппарат опять заработал попрежнему, после устранения тех обстоятельств, которые тормозили его нормальное функционирование. Не удивительно, что все внимание помещика направлено не на хозяйственные порядки, а на людей, от которых зависит проведение их в жизнь и осуществление тех целей, которые им поставлены, на весь этот служебный персонал вотчин с управляющим (*judex*) во главе, соединяющим в своих руках самые разнообразные хозяйственные, административные и, как скоро увидим, и судебные функции. Автор *Capitulare* имеет в виду прежде всего подтянуть всех этих исполнителей и создать в своих вотчинах атмосферу права и порядка, который бы благотворно отражался и на хозяйственной жизни, устраняя тормозящие ее условия и обстоятельства.

Мы уже видели пред'явленное к управляющим требование, чтобы они не смели заставлять вотчинных крестьян работать на них барщину и брать с них всякие поборы (с. 3), а также донимать их постоем для себя и для своих собак (с. 11). Король желает, чтобы управляющие заботились о том, чтобы разным людям, живущим в поместьях, как крепостным, так и свободным, были обеспечены полностью их права («*volumus, ut de fiscalis vel servis nostris sive de ingenuis, qui per fiscos aut villas nostras commanent diversis hominibus plenam et integram, qualem habuerint reddere faciant justitiam*») (с. 52), и для этого почаще собирали судебные собрания и творили суд, заботясь о том, чтобы вотчинные люди жили согласно праву («*ut unusquique judex in eorum ministerio frequentius audientias teneat et justitiam faciat et praevideat qualiter recte familiae nostrae vivant*») (с. 56). Заботиться они должны и о том, чтобы зависимые люди поместий не делались ворами и колдунами (*latrones vel malefici*) (с. 53), а также добросовестно работали и не шатались без надобности по рынкам («*ut unusquisque judex praevideat, quatenus familia nostra ad eorum opus bene laboret et per mercata vacando non eat*») (с. 54). Пред'являя к управляющим ряд требований, король находит нужным указать им, что все, чего он требует от них, не

должно казаться им слишком обременительным («*nequaquam iudicibus nostris asperum videatur*»): ведь он хочет, чтобы и сами они спокойно требовали того же от своих подчиненных, — надо же, чтобы и у него, короля, было в вотчинах все то, что каждый имеет в своем доме и в своих имениях («*et omnia quicquid homo in domo sua vel in villis suis habere debet, iudices nostri in villis nostris habere debeant*») (с. 63).

Последняя фраза чрезвычайно выразительна: решительно ни о каких хозяйственных новшествах и реформах автор *Capitulare* не думает. Чтобы было не хуже, чем у других, — дальше этого его требования не идут. Более ясно формулировать свои намерения автору *Capitulare* едва ли было возможно, и остается только удивляться, как можно вычитать из этого памятника все то, что мы находим у Гарайса, Инама-Штернегга и других представителей немецкой исторической и экономической науки.

В случае если управляющий по небрежности не выполнит к сроку приказа короля или королевы или приказа сенешала и пенка, королевских слуг (*ministeriales nostri*), переданного от имени короля или королевы, его ждет серьезная репрессия: он должен воздерживаться от питья (конечно, не воды) (*a potu se absteineant*) с того момента, когда ему будет поставлена на вид его неаккуратность, и до тех пор, пока он не явится в присутствие короля или королевы и не испросит разрешения от воздержания. Если же повинны будут в небрежности его подчиненные (*juniores*), замещавшие его, когда он был на военной, сторожевой или другой какой государственной службе («*si iudex in exercitu aut in vacta seu in ambasiata vel aliubi fuerit*»), то расправа ожидает их еще более суровая: они должны пешком прийти ко двору и должны воздерживаться от питья и мяса (*a potu vel carne se absteineant*), и после того, как они представят объяснения, почему произошло данное упущение; «они получают приговор или на своей спине, или как нам с королевой будет угодно» (*et tunc recipiant sententiam aut in dorso aut quomodo nobis vel reginae placuerit*) (с. 16). Мы не знаем, практиковались ли точно такие же патриархальные методы воздействия на представителей вотчинной администрации и за пределами королевских поместий, не знаем также, из чьих рук получали провинившиеся *juniores* это отеческое наказание; но мы не сомневаемся, что и тут нельзя видеть никакого новшества, ставшего обязательным и для спины не-

королевских министериалов на протяжении всей обширной империи Карла Великого.

Между управляющим и его juniores могли возникать трения, доводившие этих последних до жалоб на своего начальника, с которыми они и являлись ко дворцу. В таких случаях управляющий посылал во дворец кого-нибудь для дачи объяснений (*contra eos rationes deducendi*) «для того, чтобы их жалоба не надоедала понапрасну нашему слуху (*qualiter eorum proclamatio in auribus nostris fastidium non genret*)»: только таким путем можно будет узнать, нужно ли им было приходить, или они пришли попустому («*utrum ex necessitate an ex occasione veniunt*») (с. 57). И крепостные могут жаловаться на своих начальников, как и эти последние, как мы только что видели, друг на друга: «Если кто-либо из крепостных наших захочет что-нибудь сказать нам о своем начальнике по нашему делу (*si aliquis ex servis nostris super magistrum suum nobis de causa nostra aliquid vellet dicere*), пусть (управляющий) путей ему к нам не заграждает (*vias ei ad nos veniendi non contra dicat*)» (с. 57). Но обращение к королю с жалобами друг на друга вотчинных людей не поощряется, и управляющему предписывается смотреть, чтобы им не было надобности ходить к королю с этими жалобами и только зря терять дни, предназначенные для работы (*de clamatoribus ex hominibus nostris unusque iudex praevideat, ut non sit eis necesse venire ad nos proclamare et dies quos servire debet per negligentiam non dimittat perdere*) (с. 29). Возможно, что по тем же хозяйственным соображениям крепостных освобождали от ведения процессов за пределами вотчины («*si habuerit servus noster intrinsecus justitias ad querendum*»), поручая ведение их постановленным над ними должностным лицам вотчины, вотчинным министериалам («*magister ejus cum omni intentione decerneret pro ejus justitia*») (с. 29).

Как ни скудны данные *Capitulare de villis* об организации земледельческого хозяйства в вотчинах короля, мы все же с достаточной ясностью можем разглядеть знакомые черты барщинной и оброчной систем, обычно, хотя и не всегда, практиковавшихся одновременно в поместьях всей средневековой Европы, с барской запашкой и зависимыми, несущими барщину и платящими оброк крестьянскими участками, мансами (*mansi* и *mansae*), на которых сидят мансуарии (*mansuarii*), несвободные (*servi, fiscalini*) и свободные держатели, с дворовыми — месячниками (*provendarii*), не имеющими наделов, живущими на барском дворе (а может быть, и возле него)

и получающими месячину с барского двора (*provenda*) (о них упоминается в с. с. 32 и 50), и с уже знакомой нам администрацией, обслуживающей разные отрасли барского хозяйства и прежде всего хозяйство земледельческое. Но больше ничего об этой организации не сообщает нам *Capitulare*, и мы совершенно напрасно стали бы искать здесь данных, которые дали бы нам материал для тех построений, какие мы находим у Инама-Штернегга и др. То, что говорит Инама-Штернегг, например, о хозяйственной роли «палатцев», о том, что «часть королевских доменов была организована в качестве палатцев для надобностей дома и двора императора (*war ein Teil als Palatien für die Haus- und Hofhaltung des Kaisers eingerichtet*)», что «к палатцам принадлежавшее владение возделывалось отсюда самостоятельно в качестве господской земли (*als Herrenland*), частью, поскольку оно обнимало бенефиции или чиншевые участки (*Zinsgüter*), управлялось в вотчинном порядке (*grundherrschaftlich verwaltet*), но что «в то же время палатии образовали сборные пункты всех излишков продуктов отдельных императорских хозяйств (*die Sammelplätze aller Produktionsüberschüsse der einzelnen kaiserlichen Gutswirtschaften*) «и благодаря этому сделались вместе с тем высшими дворами (*zu Oberhofen*) для остальных доменов, равно как и важными рынками (*zu wichtigen Märkten*) всех земледельческих продуктов для всей империи», — все это чистейшая фантазия автора, совершенно ни на что не опирающаяся. Совершенно фантастическая организационно-хозяйственная категория «палатий», дающая Инама-Штернеггу столь же фантастическое право говорить о ряде «палатцев», никакой реальной действительности не соответствует, потому что слово *palatium* в *Capitulare de villis* имеет лишь свой обычный смысл дворца, королевской резиденции, и во всех семи случаях, когда это слово в *Capitulare de villis* употребляется (с.с. 9, 16, 27, 47, 57, 61 и 68), оно относится только к королевской резиденции, и ни к чему другому, и притом к одному и тому же дворцу, а не к нескольким. Мы уже приводили почти все эти случаи. Речь шла то о находящихся во дворце («*sicut et in palatio habemus*») образцах мер, которые каждый управляющий должен иметь в своем ведении (с. 9), то о провинившихся *juniores* (подчиненных) управляющего, которые должны пешком являться во дворец («*pedestres ad palatium veniant*»), чтобы получить от короля и королевы приговор на своей спине (с. 16), то о посланцах и послах, прибывающих ко двору и отбывающих из него («*quando missi vei legatio ad palatium veniunt*

vel redeunt») (с. 27), то о ловчих и сокольныхчих и других служащих, которые постоянно служат королю во дворце («qui nobis in palatio adsidue deserviunt») (с. 47), то о являющихся во дворец (ad palatium) жалобщиках (с. 57), то о службе управляющего во дворце, куда он должен привести солод и привести мастеров (magistri), которые бы приготовили там доброе пиво (с. 51), то, наконец, о связанных железными обручами добрых бочках («bonos barriclos ferro ligatos»), которые надо послать ко дворцу (ad palatium mittere) (с. 68).

В ряде случаев слово palatium, дворец, не употреблено, но речь идет о нем, в большинстве о «службе», которую должен был отправлять управляющий, отвозя, повидимому, в определенные сроки продукты во дворец, необходимые для содержания короля и его двора, и только для этого. И эти случаи уже отчасти нам известны (с.с. 7, 23, 24, 30, 38). Приведем еще неизвестные. В параграфе 39-м король выражает желание, чтобы кур и яйца, которых обязаны давать вотчине служащие и обыкновенные держатели мансов (servientee vel mansuarii), управляющие брали с них ежегодно, и если их не нужно будет привозить или посылать для королевских надобностей, то их следует продавать («et quando non servierint, ipsos venundare faciant») (с. 39). В параграфе 55-м король требует, чтобы управляющие заносили в один список все то, что пошло на надобности короля, в другой — что сами истратили на поместные нужды, а в третий — что останется, и все эти списки присылали ему («volumus quicquid ad nostrum opus iudices dederint vel servierint aut sequestraverint, in uno breve conscribi faciant, et quicquid dispensaverint, in alio; et quod reliquum fuerit, nobis per brevem innolescant») (с. 55). Не менее интересен и параграф 59-й: король требует, чтобы каждый управляющий, когда он явится во дворец «служить» ему (quando servierit), ежедневно давал по 3 фунта воска и по 8 секстариев мыла; а кроме того к празднику святого Андрея, «где бы мы с нашим двором ни находились («ubicunque cum familia nostra fuerimus»), чтобы он поставлял по 6 фунтов воска; то же и в середине пятидесятницы. Продукты, как видим, поставляются королю исключительно для потребления и туда, где он находится в данный момент, так как из своей постоянной резиденции он может выехать со своим двором, например, в какое-нибудь из своих поместий. Это последнее обстоятельство даже специально предусматривается в одном из параграфов Capitulare; в параграфе 65-м читаем: «Чтобы рыбу из рыбных садков наших продавали и другую на ее место сажали, так чтобы всегда имелась

рыба; но когда мы не прибудем в наши вотчины (*quando nos in villas non venimus*), тогда надо продавать ее целиком, и доход с нее управляющие наши пусть обращают в нашу пользу».

Мы совершенно не можем понять, каким это образом королевский дворец (*palatium*), где король пребывал с своим двором, его постоянная резиденция, которую управляющие королевских вотчин, специально для этого предназначенных, снабжали всем необходимым, что производилось в хозяйстве этих вотчин, превратился в целый ряд дворцов (*Palatien*), из которых каждый представлял «сборное место всех излишков продуктов отдельных императорских хозяйств» и даже «важный рынок для всех земледельческих продуктов для всей империи». Если где продавали излишки, то, как мы только что видели, это как раз на местах, а вовсе не во дворце, куда никаких излишков и вовсе не поступало, а поступали продукты исключительно для потребления короля и его двора и отчеты управляющих, между прочим и об излишках (*c. s. 33, 44, 55*); в этом последнем отношении особенно поучителен параграф 33-й, в котором король требует, чтобы «после того, как все будет распределено, употреблено на семена и иным путем израсходовано, то, что останется от всех продуктов (*de omni conlaboratu*), хранилось бы до нашего распоряжения (*usque ad verbum nostrum salvetur*), чтобы согласно приказу нашему или продавалось, или же оставалось в запасе (*aut venundetur aut reservetur*); поступали и деньги, весь денежный доход с поместий, как об этом так определенно говорит параграф 28-й, в котором мы читаем: «Мы хотим, чтобы ежегодно в четырехдесятницу, в вербное воскресенье, которое называется осанною, согласно приказанию нашему (управляющие) представляли (нам) деньги с нашего хозяйства, после того, как мы познакомимся с тем, каков доход этого года (*argentum de nostro laboratu, postquam cognoverimus de presenti anno quantum sit nostra laboratio, deferre studeant*)».

Дворец, конечно, является центром для всех обслуживающих его потребительные нужды королевских вотчин. Оттуда исходят все распоряжения управляющим, как непосредственно от короля и королевы, так и от сенешала и шенка в согласии с повелением короля и королевы, потому что эти два придворных сановника как раз и ведали дворцовое хозяйство и управление, и было вполне естественным, что в их компетенцию входило ведать и высшее управление дворцовыми вотчинами, предназначенными для содержания короля и двора, и только ими, но отнюдь не всеми королев-

скими вотчинами, как утверждает Инама-Штернегг и др. Сюда посылают управляющие свои хозяйственные отчеты, а также денежные доходы с поместий, не говоря уже о доставке сюда всего необходимого для содержания короля и его двора. В этом ничего нового нет. Так было давно.

Ничего нового не представляют собою и управляющие (*judices*), напоминающие прокураторов римских императорских вотчин, и их помощники (*juniores*), все эти — лесничие (*forestarii*), заведующие конюшнями (*poledrarii*), ключники (*cellerarii*), десятские (*decani*), сборщики пошлин (*telonarii*) и прочие министерялы, которых систематически перечисляет уже знакомый нам 10-й параграф *Capitulare de villis*. Мы уже кое-что знаем об их материальном положении и об их обязанностях, в особенности об обязанностях управляющего (*judex*), поражающих своим разнообразием. Обязательно ли всегда под управлением *judex*'а находилось несколько вотчин, как это мы узнаем из параграфа 17-го, где заключается требование, чтобы управляющий, сколько каждый имеет в своем ведении вотчин («*quantas villas unusquisque in ministerio habuerit*»), столько приставил людей, которые бы смотрели за пчелами, сказать с полной определенностью нельзя. К тому же это единственное указание в этом смысле во всем *Capitulare*. Может быть, с ним следует поставить в связь упоминание *maiores* наряду с *decani* (десятскими) и с *cellarii* (ключниками) в качестве *juniores* (подчиненных) *judex*'а, которым он должен передавать на кормление королевских щенят, в уже знакомом нам 58-м параграфе («*quando catelli nostri iudicibus commendati fierint ad nutriendum, ipse judex de suo eos nutriat aut junioribus suis, id est majoribus et decanis vel cellariis ipsos commendare faciat, quatenus de illorum causa eos bene nutrire faciant*»). В тех случаях, когда в ведении *judex*'а находилось несколько вотчин, во главе каждой отдельной из этих вотчин стоявший управляющий, называвшийся, как это мы знаем из других источников, *major*'ом, естественно, оказывался подчиненным *judex*'а, одним из его многочисленных в таких случаях *juniores*.

Общее впечатление, которое мы выносим, внимательно читая и перечитывая один за другим все параграфы *Capitulare de villis*, говорит в пользу предположения, что *judex* обыкновенно стоит во главе одной вотчины (едва ли бы он мог, например, лично присутствовать при полевых работах сразу в нескольких вотчинах; а ведь присутствовать при этих работах он был обя-

зан, и в 5-м параграфе, как мы видели выше, это ему категорически предписывается), и что в таком обычном случае он сам является в роли обыкновенного управляющего вотчиной, которого в те времена обыкновенно и называли *major*'ом. Предположение это делает понятным то, что мы читаем о *majores* в параграфе 60-м, где выражено требование, чтобы *majores* эти не назначались из сильных людей, но из людей более скромного положения, на верность которых можно бы было положиться («*nequaquam de potentioribus hominibus majores fiant, sed de mediocribus qui fideles sint*»). Мы уже имели случай в другой связи привести этот параграф, когда шла речь о происхождении *Capitulare de villis* и об его назначении, указывая на то, что в нем мы имеем основание видеть достаточно ясное указание на тех сильных людей, которые совсем было захватили в свои руки предназначенные для содержания короля и его двора коронные земли. Трудно представить себе, чтобы могли внушать опасение королю люди, занимавшие скромное подчиненное положение в вотчинном управлении, какими представляются прежним исследователям *Capitulare* эти *majores*; да к тому же едва ли бы сильные люди шли на такие незначительные должности. Ясно, что под *majores* надо разуметь самих управляющих королевских вотчин в их хозяйственной роли, тех самых должностных лиц вотчинного управления, которые в качестве обладателей общих административных и судебных полномочий в отношении к населению вотчинной территории назывались принятым в западной части франкского государства и для управляющих поместьями в этом их качестве словом *judex*, которое, как известно, на всем протяжении франкского государства имело широкий смысл, обозначая представителей административной и судебной власти, осуществляемой от имени короля (*judices publici*) или от имени того, кому король передал эту власть в отношении к населению его частной территории (*judices privati*). Едва ли можно сомневаться, что в королевских вотчинах, о которых заботится автор *Capitulare de villis*, королевский *judex*, несмотря на это, был *judex privatus*, потому что вотчины эти были частным владением короля, и сам король в отношении к их населению являлся обладателем «частной» власти, рядовым иммунистом.

При таком понимании значения терминов *judex* и *major* (а иначе понимать их едва ли возможно, — укажем еще на 26-й параграф, в котором предписывается, чтобы у *majores* было в ведении не более того, что они в состоянии обойти и осмотреть в течение

одного дня: «*majores vero amplius in ministerio non habeant nisi quantum in uno die circumire aut praevidere potuerint*») оказываются висящими в воздухе и без того мало убедительные утверждения Инама-Штернегга о сложной системе соподчиненных административно-хозяйственных округов, на которые будто бы распадались коронные вотчины на всем протяжении империи Карла Великого после издания *Capitulare de villis*, настолько притом сложной, что, повидимому, сам Инама-Штернегг не мог справиться с нею, как это видно из его крайне сбивчивого и путаного изложения, нами раньше приведенного и с трудом переводимого на русский язык. Что наряду с большими вотчинами (*villae capitaneae*) были и хутора (*mansioniles*) [о них идет речь в параграфе 19-м, в котором выражено желание, чтобы при житницах в главных поместьях (*villae capitaneae*) содержалось не меньше 100 кур и 30 гусей, а при хуторах (*ad mansioniles vero*) не меньше 50 кур и 12 гусей], как это во все времена бывало и в настоящее время — вещь обычная, этого еще недостаточно для построения сложной системы.

О совершенно фантастических «палатиях» речь уже была. Большую надежду возлагает Инама-Штернегг и другие представители ходячего взгляда на термин *fiscus*, фиск, встречающийся раз пять в *Capitulare de villis*, разумея под фиском административно-хозяйственный округ, состоявший, по их мнению, из ряда вилл, вотчин, и находившийся под управлением *judex*'а, как должностного лица, отличного, по их мнению, от *major*'а, простого приказчика одного лишь поместья, всецело подчиненного *judex*'у. Внимательно перечитывая эти пять параграфов, мы не находим и в них материала, достаточного для построения сложной хозяйственной системы. Надо сказать, что в памятниках меровингской и каролингской эпохи словом *fiscus* обозначали владения короля или короны безотносительно к их размерам, будет ли то целая вотчинная территория, отдельное поместье или даже просто один барский двор. *Capitulare de villis* не отступает от такого понимания этого слова. В нем ведь все время речь идет только о королевских вотчинах, о фисках в этом общеупотребительном тогда значении этого слова, и когда *Capitulare* приходится употреблять слово *fiscus*, то он только, в этом смысле его и употребляет и даже раз'ясняет. В параграфе 4-м упоминаются «свободные люди, которые живут в фисках, т. е. виллах, поместьях наших (*franci autem qui in fiscis aut villis nostris commanent*)»; в параграфе 52-м, уже нам известном, король выражает желание, чтобы управляющие «разным людям, фиска-

линам, т. е. нашим сервам, и свободным, которые живут в фисках, т. е. в виллах (поместьях) наших, обеспечивали полностью их право (*volumus ut de fiscalis vel servis nostris sive de ingenuis qui per fiscos aut villas nostras commanent diversis hominibus plenam et integram, qualem habuerint, reddere faciant justitiam*). В 6-м параграфе предписывается управляющим полностью «давать со всех продуктов (*ex omni conlaborati*) десятину церквам, которые находятся в наших фисках (*quae sunt in nostris fiscis*)», в параграфе 50-м упоминаются фискалины (*fiscalini*, так назывались в ту эпоху крепостные королевских вотчин), наделенные земельными участками (мансами) и служащие при конюшнях (*poledrarii*), и, наконец, в параграфе 62-м говорится о «свободных людях и сотнях, которые обслуживают нужды нашего фиска (*quid de liberis hominibus et centenis qui partibus fisci nostri deserviunt*)». Вот и все. Едва ли можно из этих данных извлечь больше того, что они дают.

Таким же фантомом, как и «палашии» и «фиски», являются и «министерии» (*ministeria*) в запутанной хозяйственной системе, построенной Инама-Штернеггом для королевских вотчин *Capitulare de villis*. Мы уже приводили его слова: «Сумма в какой бы то ни было форме, в форме ли бенефициев, свободных или чиншевых гуф (*Frei oder Zinshufen*), сданных участков была затем внутри каждого из доменов разделена на министерии (*ministeria*); в каждом *ministerium'e* тяглые гуфы были связаны (*angegliedert*) с господским двором и вместе с ним составляли низшую хозяйственную единицу (этого) многочленного организма, в который отлился строй королевских вилл (вотчин)» (I, 323). Слово *ministerium* довольно часто встречается в *Capitulare de villis*, но нигде оно не имеет здесь того смысла, какой ему Инама-Штернегг приписывает. Нам уже не раз попадалось оно в своем ему принадлежащем значении службы и должности, сферы ведения; от этого слова *ministerium* ведь происходит и слово *ministeriales*, министерялы, служащие, будет ли то управляющий, лесничий, служащий при конюшнях, свободный или крепостной, ключник, десятский, сборщик пошлин и прочие министерялы (*vel ceteri ministeriales*), обязанные «хорошо справлять свою службу (*eorum ministeria bene praevideant*», с. 10, — см. еще с. 50, где, как мы знаем, идет речь о служащих при конюшнях, *poledrarii*, которые могут иметь за свою службу бенефиции, «*et in ipso ministerio beneficia habuerint*», или же высшие сановники двора; сенешал и шенк, от имени короля и королевы рассылающие приказы управляющим вотчин — «*aut*

ministeriales nostri, sinescalcus et buticularius, de verbo nostro aut reginae ipsis iudicibus ordinaverit», с. 16). Из десяти случаев в семи в *Capitulare* идет речь о ministerium'e, т. е. о службе, о сфере ведения управляющего: о виноградниках, находящихся в его ведении («ut iudices nostri vineas recipiant nostras, quae ad eorum sunt ministerio», с. 8), об образцах мер, которые управляющий должен иметь в своем ведомстве (in suo ministerio, с. 9), о виллах (вотчинах), в его ведении находящихся («quantascunque villas unusquisque in ministerio habuerit», с. 17), о том, чтобы управляющие не имели в своем ведении больше того, что они могли бы обойти и осмотреть в один день («maiores vero amplius in ministerio non habeant nisi quantum in una die circumire aut praevidere potuerint», с. 26), о ремесленниках, которых он должен иметь в своем ведении («et unusquisque iudex in suo ministerio habeat artifices», с. 45), о том, чтобы королевские вотчинные люди, находящиеся в его ведении («homines nostri de eorum ministerio»), не делались ворами и колдунами (с. 53), о том, чтобы он почаще устраивал судебные собрания для вотчинных людей, в его ведении находящихся («ut unusque iudex in eorum ministerio frequentius audientias teneat et justitiam faciat et praevideat qualiter recte familiae nostrae vivant», с. 56). В одном случае словом ministerium обозначена должность графа («et comes de suo ministerio», с. 27). И из этих данных ничего нельзя извлечь больше того, что они могут дать.

То же можно сказать и о данных, касающихся ремесла. Мы уже приводили в другой связи параграф 45-й, в котором автор *Capitulare de villis* выражает желание, чтобы в вотчинах его имелись «и кузнецы, и золотых и серебряных дел мастера, и сапожники, и токари, и плотники и щитники, и рыболовы, и птицеловы, и мыловары, и пивовары, которые умели бы варить пиво и готовить яблочные, грушевые и всякие другие напитки, булочки, которые бы готовили для короля пшеничный хлеб (similam), люди, которые хорошо могли бы плести сети как для охоты, так и для рыбной ловли и ловли птиц, и всякие другие находящиеся на такой службе люди, которых перечислять было бы слишком долго *neque enim et reliquos ministeriales, quos ad numerandum longum est*)». Не всегда и не везде это желание выполнялось, как это мы знаем из других источников, и ничего нового оно не представляло, вполне естественно вытекая из специального назначения тех королевских вотчин, о которых идет речь в *Capitulare de villis*, и об организации ремесла и тем более о цехообразной организации его параграф этот

ровно ничего не говорит. И о личном положении ремесленников он не дает никаких сведений. Мы можем предположить, что они могли быть крепостными; но ничто не мешает нам думать, что среди них могли быть и люди лично свободные: ведь мы видели среди населения королевских вотчин и свободных людей («*franci autem qui in fiscis aut villis nostris commanent*», с. 4; «*de ingenuis qui per fiscos aut villas nostras commanent*», с. 52; «*quid de liberis hominibus et centenis qui partibus fisci nostris deserviunt*», с. 62). Свободные люди могли быть и среди министериалов; так, в параграфе 50-м мы читаем о служащих при вотчинных конюшнях, о так называемых *poledrarii*: «И эти служащие при конюшнях люди, если они из свободных людей и имеют бенефиции за свою службу, пусть живут на свои бенефиции; если же они крепостные и имеют мансы, пускай живут с них; а если нет у них этого, пусть получают с господского двора месячину (*et ipsi poledrarii qui liberi sunt et in ipso ministerio beneficia habuerint de illorum vivant beneficiis; similiter et fiscalini qui mansas habuerint, inde vivant, et qui hoc non habuerit, de dominica habuerit provendam*)». Возможно, что на таких же типических для министериалов [ср. уже известный нам с. 10, где выражено требование, чтобы управляющие (*maiores*), лесничие, служащие при конюшнях (*poledrarii*), ключники, десятские, сборщики пошлин и другие министериалы (*et ceteri ministeriales*) возделывали господское поле (*rega faciant*) и давали поросят за свои мансы (*pro mansis eorum*), а взамен ручных работ хорошо справляли свои должности («*pro manupera vero eorum ministeria bene praevidiant*»), а какой управляющий имеет бенефиций (*beneficium*), чтобы он посылал за себя заместителя (*vicarium*), и тот бы выполнял следуемые за него ручные работы и прочую службу (*et ceterum servitium*)] условиях отправляли свою службу для вотчинных надобностей и все те ремесленники, которые перечислены в 45-м параграфе и которые также ведь находятся на положении министериалов и прямо министериалами и именуются («*nespon et reliquos ministeriales quos ad numerandum longum est*»).

Ничего не может дать для желающих видеть у ремесленников *Capitulare de villis* начатки цехового строя и встречающееся три раза в этом памятнике слово *magister*. Мы уже встречались с ним: в первый раз, когда управляющему предписывалось привозить во дворец во время отправления там своей «службы» солод и привозить с собой мастеров, которые изготовляли бы там хорошее пиво («*ut unusquisque iudex quando servierit suos bracios ad palatium*

ducere faciat, et simul veniant magistri qui cervisam bonam ibidem facere debeant», с. 61), во второй — когда шла речь о том, чтобы управляющий не заграждал путей к королю перед крепостным, который захочет показать что-либо на своего начальника по королевскому делу («si aliquis ex sirvis nostris super magistrum suum nobis de causa nostra aliquid vellet dicere, vias ei ad nos veniendi non contradicat», с. 57), и в третий — когда король выражал требование, чтобы, когда его крепостному приходится вчинять иск за пределами вотчины, то дело это брали бы на себя поставленные над крепостными должностные лица вотчины, иначе говоря, министерялы («если же крепостному нашему придется вчинять иск на стороне, начальник его со всяким тщанием пусть отстаивает его дело; и если где-либо ему не удастся добиться справедливости, то пусть (управляющий) не допускает, что из-за этого крепостной наш утруждал себя, но начальник его самолично или через своего посланца пусть доведет об этом до нашего сведения», — et si habuerit servus noster forinsecus justitias ad querendum, magister ejus cum omni intentione decertet pro ejus justitia, et si aliquo loco minime eam accipere valuerit, tamen ipso servo nostro pro hoc fatigare non permittat, sed magister ejus per semetipsum aut suum missum hoc nobis notum facere studeat», с. 29). И только. Нужно находиться совершенно в плену у предвзятой навязчивой идеи, чтобы в приведенных текстах увидеть указание на существование у ремесленников, обслуживавших потребительные нужды королевских вотчин, о которых печется *Capitulare de villis*, зачатков цеховой организации и в магистре, в них упоминаемом, признать цехового старшину или его родоначальника, несмотря на то, что в двух из трех случаев этот *magister* никакой связи с ремесленниками не имеет, а в третьем является просто мастером своего дела, наряду с другими такими же мастерами.

В этой связи заслуживает внимание, что в капитулярии 862 года, в так назыв. *Edictum Pistense*, колоннам запрещается продавать свои участки «без позволения их господ или их магистров (*sine licentia dominorum vel magistrorum*, — *Capitularia*, II, стр. 323).

Об организации промышленности в королевских вотчинах действительно реальные, хотя и краткие, сведения дают те параграфы *Capitulare de villis*, в которых идет речь о так называемых генициях (*genitiae*). В с. 49 выражается желание, «чтобы наши гениции были в добром порядке, именно, что касается светлиц, зимних горниц и подвальных, и чтобы вокруг них были ограды

и крепкие двери, чтобы дело наше выполнялось как следует (ut genitia nostra bene sint ordinata, id est de casis, pislis, teguriis id est screonis; et sepes bonas in circuitu habeant et portas firmas qualiter opera nostra bene peragere valeant)». «Женским помещениям нашим (ad genicia nostra) во-время, как установлено, давать материал для работы, именно: лен, шерсть, алую и красную краску, гребни для чесания шерсти, ворсянку, мыло, жиры, сосуды и прочую мелочь, которая нужна там» (с. 43). В параграфе 31-м выражается требование, чтобы ежегодно управляющие «отделяли то, что нужно выдавать месячникам (ad provendarios) и в женские помещения (vel genicias), и своевременно полностью выдавали им, что им следует, и осведомляли бы нас, на какое дело это пошло и откуда (qualiter inde faciunt vel unde exit)».

Едва ли можно сомневаться, что льняные и шерстяные ткани, которые выходили из этих женских мастерских, шли прежде всего, если не исключительно, на удовлетворение потребностей королевского дома. Следует ли из этого, что на всем протяжении королевских вотчин, как на всем протяжении империи Карла Великого, господствовало натуральное хозяйство? А ведь творцы натурально-хозяйственной концепции средневекового строя (Маурер, Нич, Инама-Штернегг) отправлялись как раз от *Capitulare de villis*, видя в нем совершенно непоколебимый фундамент для своего построения. Мы уже достаточно знакомы с этим памятником, знаем, что свидетельства его относятся не ко всем коронным вотчинам Франкской державы, а лишь к небольшой их части, к тому же имевшей весьма специальное назначение служить своими продуктами прежде всего нуждам короля Аквитании Людовика и его двора, и для нас натурально-хозяйственное назначение, сознательно, с определенной целью данное этим королевским вотчинам в отличие от других, не может служить свидетельством общего преобладания и даже существования натурального хозяйства. Да и сильно подчеркнутые потребительные задачи, поставленные этим королевским вотчинам, не исключают и других, для данных вотчин, пожалуй, и второстепенных в известной мере задач, вводящих их хозяйственную жизнь в общий хозяйственный оборот страны на широкой почве менового денежного хозяйства, несомненно, и в ту эпоху, как это мы хорошо знаем из целого ряда других источников, достаточно широко развитого.

Мы уже приводили весьма красноречивые в этом смысле свидетельства *Capitulare de villis*: не говоря уже о распоряжениях короля

управляющим продавать не отправленных во дворец в виде «службы» кур и яйца, которых обязаны давать ежегодно в виде оброка служащие и простые держатели мансов (*servientes vel mansuarii*) (с. 39), рыбу из живорыбных садков, в особенности когда она была заготовлена к приезду короля, а он не приехал в данную вотчину (с. 65), мы имеем здесь еще два более общего характера уже известных нам распоряжения: «После того, как все будет распределено, употреблено на семена и иным путем израсходовано, все, что останется от этого из всего продукта (*de omni conlaboratu*), хранить до нашего распоряжения (*usque ad verbum nostrum salvetur*), чтобы оно согласно приказу нашему или продавалось, или оставалось в запасах (*quatenus secundum jussionem nostram aut venundetur aut reservetur*, с. 33)». Мы хотим, чтобы ежегодно в четырехдесятницу, в вербное воскресенье, называемое осанною, (управляющие), согласно нашему распоряжению, представляли нам деньги с нашего хозяйства после того, как мы познакомимся, каков наш доход в настоящем году (*juxta ordinationem nostram argentum de nostro laboratu, postquam cognoverimus de praesenti anno quantum sit nostra laboratio, deferre studeant*, с. 28). Рубрики и источники всех возможных доходов и перечислены в параграфе 62-м. Уже одно большое внимание к отчетности, так бросающееся в глаза в *Capitulare de villis*, само по себе достаточное свидетельство в пользу того, что далеко не одни чисто потребительные надобности должны были обслуживать даже эти имевшие специальное назначение вотчины короля.

Мы исчерпали почти все содержание *Capitulare de villis*, предоставляя самому памятнику говорить то, что он действительно хотел сказать, и не затемняя прямого смысла его слов совсем не вытекающими из них построениями. Получилась картина, мало похожая на ту, какую из этого памятника вычитывали, но благодаря этому более соответствующая той действительности, с какой этот памятник имел дело. Картина эта местами лишь намечает самыми общими штрихами и случайными упоминаниями то, о чем нам хотелось бы иметь более конкретное представление, но общий характер хозяйственной жизни и хозяйственного строя королевских вотчин, имевших специальное назначение снабжать всем необходимым короля и его двор, она передает с достаточной определенностью. Если с возможной отчетливостью выделить на этой картине те черты, которые объясняются этим специальным назначением вотчин, то из сравнительно узких ее пределов

открывается более широкая перспектива на то, что происходило и в других поместьях той эпохи, безотносительно к тому, принадлежали ли они королю или другим светским или церковным владельцам. Ввиду этого картина эта может быть в основных своих пунктах конкретизирована с помощью материала других, близких по времени и основному содержанию к так называемому *Capitulare de villis* памятников той эпохи. Если в хозяйстве этих вотчин ввиду их особого назначения особенно подчеркнута его потребительная сторона, их «служба» (в специальном значении этого слова, выше разъясненном), которую они несут через посредство стоящих во главе их управляющих (*judices, majores*), что дает совершенно недостаточное основание исследователям говорить о натуральном хозяйстве, будто бы господствовавшем и в этих королевских виллах, и во всех других поместьях тогдашней Европы, то организация производства, производства прежде всего сельскохозяйственных продуктов, в основных своих чертах ничем по существу не отличается от обычной в то время и еще долго потом системы с ее барским двором и зависимыми свободными и несвободными держаниями, несущими барщину на барском поле и дворе и платящими натуральные и денежные оброки, хорошо знакомой и древнему миру в разные периоды его истории (Гарайс, как мы видели, склонен думать, что система эта впервые увидела свет в *Capitulare de villis*, автор которого — а Гарайс таковым признает Карла Великого — «на место гнетущего рабством латифундиального производства создал во всех отношениях благотворно действующее состояние наследственно обеспеченного мелкого крестьянства»).

Очень близким по времени к *Capitulare de villis* памятником (начало IX в.) являются Образцы для описания земель церковных и королевских [*Brevium exempla ad describendas res ecclesiasticas et fiscales*, напечат. в *Capitularia Regum Francorum* (изд. Boretius'a) I, стр. 250 — 256]. В них мы находим в виде образцов и конкретные описи определенных церковных и королевских поместий и благодаря этому мы можем данными их иллюстрировать нередко слишком общие указания *Capitulare de villis*.

Особенно богато конкретными данными описание владений Аугсбургского епископства. На территории этого епископства, «на острове, именуемом *Staffelsee*, нашли мы церковь, построенную в честь святого Михаила, а в ней алтарь с серебряною и золотую

оправую». «Нашли мы там двор и господский дом (curtem et casam indomnicatam), который тянет вместе с прочими постройками к названной выше церкви (cum ceteris aedificiis ad praefatam ecclesiam respicient). Принадлежит к названному двору (pertinet ad eandem curtem) пахотной земли 740 юрналов (моргенов) (jurnales), лугов столько, что с них можно собрать сена 610 возов (carradas). Хлеба (de annona) совсем не нашли кроме того, что мы раздали провандариям (provendariis, месячникам), 30 возов, и они обеспечены (sunt provendati) до праздника св. Иоанна, и их 72 человека». «Есть там женское помещение (genitium), в котором находится 24 женщины, и нашли мы в нем сукна пять кусков (sarciles V), холста 4 куска (cum fasciolis IV) и полотна 5 кусков (camisiles V). Есть там одна мельница, дает оброка (reddit) ежегодно 12 модиев»<sup>1)</sup>).

«Тянет к этому господскому двору (respiciunt ad eundem curtem) 23 свободных имеющих держателей манса (mansu ingenuiles vestiti XXIII). Из них 6 таких, из которых каждый ежегодно дает (reddit) хлеба (de annona) 14 модиев, поросят (friskingas) 4, полотна 1 сейгу (sejagam 1), 2 кур, 10 яиц, льняного семени 1 секстарий<sup>2)</sup>, чечевицы 1 секстарий, работает каждый (operatur) 5 недель в году, вспахивает 3 юрнала, косит на господском лугу (in prato dominico) воз сена и привозит его; ставит подводу (scagam facit). Из остальных есть 6 мансов, из которых каждый ежегодно вспахивает 2 юрнала, засеивает их и свозит урожай (seminat et introducit), косит на господском лугу 3 воза (сена) и привозит их, работает на барщине (operatur) 2 недели; дают с каждых двух мансов на военное дело (in hoste) 1 быка, если сами на войну не идут (quando in hostem non pergunt), несет (каждый) верховую службу, куда прикажут (equitat quocumque illi praecipitur). И есть 5 мансов, которые дают ежегодно по два быка, несут верховую службу, куда будет приказано. И есть 4 манса, из которых каждый ежегодно вспахивает 9 юрналов, засеивает их и свозит урожай, косит на господском лугу 3 воза (сена) и привозит (их), работает (operatur) 6 недель в году, ставит подводу для доставки вина (scagam facit ad vinum ducendum), унаваживает (fimat) 1 юрнал господской земли (de terra dominica), дров дает 10 возов (de ligno donat carradas X). И еще есть один манс, который вспахивает ежегодно 9 юрналов, засеивает (их) и свозит (урожай), косит сено на господском лугу 3 воза и привозит их, ставит под-

<sup>1)</sup> Модий=52 $\frac{1}{2}$  литра.

<sup>2)</sup> Секстарий= $\frac{1}{6}$  модия.

воду, дает коня (*parafredum donat*), работает (*operatur*) 5 недель в году. Рабских же мансов (*serviles vero mansi*) занятых (*vestiti*) 19, из которых каждый ежегодно дает (*reddit*) поросенка, 5 кур, 10 яиц, кормит четырех господских поросят (*nutrit porcellos dominicos IV*), справляет половину пахоты (*arat dimidiam araturam*), работает 3 дня в неделю (*operatur in ebdomada III dies*), ставит подводу, дает коня. А жена (ихог) его изготавливает 1 кусок сукна и 1 кусок полотна (*facit camisilem I et sarcilem I*), готовит солод и печет хлеб (*conficit brasem et coquit panem*).

«Есть еще в этом епископстве 7 господских дворов (*curtes VII*), которые здесь не описаны (*de quibus hic breviatum non est*); но в итоге дано все (*sed in summa totum continetur*). Именно: всего имеет Аутсбургское епископство свободных мансов занятых (*mansos ingenuiles vestitos*) 1 006, пустующих (*absos*) 35, рабских же (мансов) занятых (*vestitos*) 421, пустующих (*absos*) 45; свободных же и рабских вместе — занятых 1 427, пустующих 80».

В виде образца описей приведена и опись королевского фиска *Asnarium* (где-то в теперешней Франции), причем под фиском королевским (*de Asnario fisco dominico*) разумеется, прежде всего, барский двор, который описывается подробно с находящимися на нем «королевскими хоромами, из камня наилучшим образом выстроенными (*salam regalem ex lapide factem optime*), с тремя покоями, с навесом вокруг, с 11 зимними горницами, с погребом, с двумя входами», с «17 другими домами, из дерева рублеными, со столькими же покоями и прочими принадлежностями, хорошо оборудованными», с конюшней, кухней, пекарней (*pistrinum*), двумя сараями, тремя амбарами, с крепким тыном (*tunimo*) окружающим двор, с каменными воротами (*porta lapidea*); с надстройкой над воротами для хранения продуктов (*ed desuper solarium ad dispensandum*), с малым двором (тоже обнесенным забором), хорошо устроенным и засаженным разного рода деревьями. Подробно исчисляется и все, что было найдено во всех этих сооружениях. Отметим только кое-что из продуктов (*de conlaboratu*), здесь найденных, из чего можно заключить о хозяйственном масштабе королевской вотчины: полбы (*spelta*) прошлогодней старой 90 коробьев (*corbes; corbis*—12 модиям), из которых можно намолоть муки 450 пенс, ячменя 100 модиев, полбы этого года было 100 коробьев, из которых 60 пошло на посев, пшеницы 100 модиев, из которых на посев пошло 60, ржи 98 модиев — все пошло на посев, ячменя 1 800 модиев, посеяно 1 500 модиев; овса 430 модиев,

бобов 1 модий; гороху 12 модиев. С 5 мельниц (*de molinis*) получено 800 модиев малой меры (*ad minorem mensuram*), из них выдано месячникам (провендариям) (*prebedariis*) 240 модиев; с 4 пивоварен (*de cambis IV*) получено 650 модиев малой меры; с 2 мостов (*de pontibus*) — соли 60 модиев и 2 солида, с 4 садов (*ortis*) 11 солидов и 3 модия меду; оброка (*de censu*) получено: масло (*butyrum*) 1 модий, окороков (*bacones*) прошлогодних 10, новых 200, сыров (*formaticos*) этого года 43 пенсы.

Вкратце описываются и «хутора, которые тянут к вышеописанному господскому мансу (*item de mansionilibus, quae ad supra scriptum mansum aspiciunt*»); так, «в *Crisione villa* мы нашли господские хутора (*mansioniles dominicatas*), где имеется 3 амбара (*scuras III*) и двор (*curtem*) с оградой; имеется там сад с (плодовыми) деревьями, 10 гусей, 8 уток, 30 кур»; «в другом местечке (*in alia villa*) мы нашли мы господские хутора и двор с оградой (*et curtem sepe munitam*), а внутри двора три амбара, виноградника 1 аришени, сад с плодовыми деревьями, 15 гусей, 20 кур».

«Но не нашли мы там (в королевском фиске Аснапии, в вышеописанном господском мансе) на службе (*ministeriales non invenimus*) ни золотых, ни серебряных дел мастеров, ни кузнецов, ни ловчих, ни других мастеров (*neque ad venandum, neque in reliquis obsequiis*)».

Любопытно, что описание *Asnarium*'а и тянущих к нему хуторов находится под таким общим заголовком: *De ministerio illius majoris vel ceterorum*.

### III

Близким по времени и по содержанию к *Capitulare de villis* и *Brevium exempla* является знаменитый Полиптик аббата Ирминона, составленная в начале IX века при аббате Ирминоне писцовая книга монастыря св. Германа, что в лугах (*Saint-Germain des Prés*), возле Парижа<sup>1</sup>). Не вся она дошла до нас, и тем не менее она является богатейшим источником конкретных данных о поместном строе раннего средневековья. Здесь мы находим описание 25 поместий и два отрывка, относящиеся еще к двум поместьям. Каждая из этих описей (*breve*) дает индивидуальную картину по-

<sup>1</sup> Polyptyque de l'abbaye de Saint-Germain des Prés redigé au temps de l'abbé Irminon et publié par Auguste Longnon. I—II. 1886—1895. См. Н. П. Грацианский. Крепостное крестьянство на поместьях аббатства св. Германа в начале IX ст. Харьков, 1913.

местья, а все вместе позволяет представить хозяйственные порядки и социальный облик крупного поместья той поры с большой отчетливостью и обстоятельностью.

Порядки, давным давно сложившиеся на землях Сен-Жерменского аббатства, очень похожи на те, какие мы изучали по данным *Capitulare de villis*, в свою очередь свидетельствуя об исконности и этих порядков. То же соединение барщинной и оброчной системы. То же управление с теми же названиями вотчинных министерялов, его ведущих. Нет, правда, *judex'a*, но *majores*, *forestarii*, *cellerarii*, *decani*—все налицо и с более подробными указаниями относительно их держаний и повинностей; так же, как и в *Capitulare de villis*, они нередко держат лишней манс в виде бенефиция, т. е. вознаграждения за свою службу, и освобождаются «из-за службы, которую справляют» (*propter servitium quod praevidet*), от тех или иных повинностей, лежащих на их держаниях. А повинности, лежавшие на мансе держателя, весьма разнообразны, как барщины, так и оброки. Термин манс (*mansus*) имеет и реальное, и фискальное значение. В качестве фискальной величины, т. е. совокупности определенных повинностей и платежей, манс фискальный не совпадает с мансом реальным, с аграрной единицей, которая всегда весьма индивидуальна и количественно, и качественно. Держания весьма различного размера и качества в глазах вотчинной экономики являются одинаковыми, несущими одни и те же повинности; нередко из двух неравных держаний меньшее и иногда значительно меньшее считается целым мансом, а большее — половинным. На одном мансе нередко сидит несколько держателей (*socii*). Состоит манс как величина реальная из пахотного поля, виноградника, луга, иногда и леса в самых различных комбинациях, и все эти составные элементы разбросаны по всей деревенской территории. Полиптик различает мансы свободные (*mansi ingenuiles*), мансы литов (*mansi lidiles*) и рабские мансы (*mansi serviles*). Едва ли можно сомневаться, что некогда названия эти вполне соответствовали действительности, и на свободных мансах сидели свободные, на мансах литов — полусвободные литы, а на рабских — рабы; но в момент составления Полиптика этого соответствия уже не видно, и любой из мансов мог находиться в держании представителя любой из названных социальных категорий; сохранилось лишь различие в размерах этих мансов и в лежавших на каждом из этих мансов повинностях.

Всего в Полиптике первый издатель и исследователь его Герар (Guégard) насчитал 1 646 тяглых мансов, из которых на долю свободных мансов приходится 1 430, на долю мансов литов — 25 и на долю мансов рабов — 191.

Среди повинностей, лежащих на мансах, мы встречаем уже знакомую нам *riga*, т. е. повинность вспахать под озимое и яровое определенное количество господского поля (*rigam ad hibernaticum et tramisum*). Это — одна из основных натуральных повинностей. Она упоминается обыкновенно рядом с другой, столь же основной повинностью, с так называемой *curvada* (отсюда современное французское слово *corvée*, барщина), барщинной работой на господском поле с собственной упряжкой (по-немецки *Spanndienst*) («*facit curvadas et rigas*»); о некоем *Frotgrimus colonus*, держащем свободный манс, сказано между прочим, что «каждую неделю он отбывает одну *curvada* со столькими рабочими животными, сколько у него будет, сколько нужно для одного плуга», («*facit in unaquaque ebdomada curvadam I cum quantis animalibus habuerit, quantum ad unam carrucam pertinet*», XXII, 24); иногда при этом полагались и господские харчи (о некоем *Cricianus colonus sancti Germani*, держащем свободный манс, мы узнаем между прочим, что «в каждый рабочий сезон он отбывает одну *curvadam* и еще другую, но уже с хлебом и питьем», «*et in unaquaque satione facit curvadam I et alteram cum pane et poto*», IX, 153). Очень большое место среди барщинных работ занимают и знакомые уже нам по *Capitulare de villis* так назыв. ручные работы (то, что в немецкой экономической науке называется *Handdienste*), *manorega*, *manorega* (иногда *orega manu*, XXIV, 179), состоящие из самых разнообразных работ в поле и на барском дворе, производившихся без помощи рабочего скота (жатва, косьба, молотьба, рытье канав, уборка навоза, поставка изгородей и т. п.); их требуют еженедельно, от одного до четырех дней в неделю, а иногда и сколько найдут нужным потребовать («*quantum ei injungitur*»). Очень часто из этих ручных работ выделяется в особую категорию рубка деревьев в господском лесу для вотчинных надобностей, так назыв. *carlim*, того же корня, что французский глагол *couper*—рубить). Очень большую роль в вотчинном хозяйстве играла поставка подвод зависимым населением, и эти *carroregae* постоянно упоминаются среди основных повинностей, лежащих на держаниях; в большинстве случаев повинность эта не регламентирована: держатель должен поставлять подводу тогда и туда,

когда и куда прикажут («quantum eis injungitur», «quantum eis jubetur», «ubi eis injungitur», «ubicunque injungitur»); иногда она носит особое название в связи со специальной целью, для которой ее требуют; чаще всего встречается название *vineritia*, поставка подвод для перевозки вина: виноградники занимали очень большое место в хозяйстве Сэн-Жерменского аббатства в качестве очень важной доходной статьи, и ему нужны были необходимые для вывоза вина перевозочные средства в большом количестве. Уже знакомый нам *Crucianus, colonus sancti Germani*, отбывает винную подводную повинность с двумя животными или в Парижском округе, или в Орлеанском, или в Блуасском («facit vinericiam cum duobus animalibus aut Parisiaco aut in Aurilianense aut in Blisen- se», IX, 153). Ввиду большого значения виноградного хозяйства соответственное место среди повинностей зависимых держаний занимает возделывание господских виноградников, причем больше этой работы лежит на рабских мансах.

Кроме барщинных повинностей на зависимых держаниях лежал целый ряд платежей натурой и деньгами: так назыв. *herbaticum* за право пасти скот на господских лугах (через два года в третий давали с манса по овце с ягненком), *pastio* или *glandaticum* за право выпаса свиней в барском лесу (платили обыкновенно вином или деньгами), *lignaritia* за право пользоваться господским лесом для отопления и стройки (платили обыкновенно по 4 динария с манса), так назыв. *допа* (самые разнообразные приношения натурой: скотом крупным и мелким, курами, яйцами, вином, пивом, зерновым хлебом, медом, маслом и т. п.); некоторые мансы (таких случаев во всем П о л и п т и к е не больше десяти) давали половину урожая, не неся, повидимому, никаких других повинностей (о них сказано: «arat ad medietatem, пашет исполу»), а о двух из держателей записано, что они или пашут исполу, или платят деньги («aut arat eum ad medietatem aut solvit solidos, II, XII, 27»); в 15 случаях держатели мансов платят *canonica et agraria* («salvit canonica et agraria»), повидимому, тоже часть урожая, но какую именно и чем (зерном или деньгами), сказать трудно. На свободных мансах (*mansi ingenuiles*) лежит еще уже чисто государственная повинность, так назыв. *hostilitium* и *carnaticum*, взимаемый на военные надобности, *ad hostem*, налог быками и повозками и мелким скотом и вином; он нередко заменяется деньгами; иногда он обозначается словом *airbannum* (*heribannum*). Кроме этого

военного налога, падающего исключительно на свободные мансы и таким образом проводящего черту, отделяющую свободные мансы от мансов литов и несвободных мансов, есть еще и некоторые другие отличия в повинностях между разными категориями мансов: так, мансы литов не несут *herbaticum*, а остальные платежи у них меньше по размерам, несвободные мансы не платят *herbaticum* и *lignaria* и платят так назыв. *augustaticum*, денежный взнос, освобождавший от работы (какой именно, сказать трудно) в августе (вероятно, по уборке господского урожая). Барщинные повинности на всех категориях мансов в общем одинаковые. Рабские мансы меньше свободных, и поэтому и платежи их меньше. Кроме платежей, лежавших на держаниях, были платежи чисто личные: *saraticum* (поголовный), который платили обыкновенно в размере 4 динариев и колоны, и литы, и рабы, и *lidimonium*, падавший на одних литов (тоже в размере 4 динариев), причем для женщин этого сословия этот денежный налог мог быть заменен полотняными изделиями (так, в XII *breve* в art. 110 читаем: «*Iste sunt lidae — следует 19 женских имен. — Omnes iste aut faciunt camsilos de octo alnis, aut solvunt denarios IV-or,* а в *breve XIII*, 27 записано следующее: «*Iste sunt lidae: Drohildis, Dominica. Iste debent solvere camsilos IV aut denarios XVI*»). Денежными платежами иногда заменяются барщинные повинности, лежащие на мансе, полностью или только частью, и тогда манс называется *mansus censilis*; но нередко встречающееся в Полиптике слово *census* только иногда означает денежный оброк; обыкновенно же оно употребляется в смысле совокупности всех лежащих на мансе повинностей и различается при этом иногда как *census ingenuilis*, *census lidilis* и *census servilis* (в качестве синонима к нему иногда встречаем слово *debitum*).

Кроме мансов мы очень часто встречаемся в Полиптике с *hospitia*. Это — небольшие участки, несущие соответственные повинности как натурального, так и денежного характера, и держатели их носят название *hospites*.

Герар насчитал в Полиптике 1646 держательских мансов, из которых огромное большинство (1430) — свободные мансы, и только 25 приходится на долю мансов литов и 191 на долю рабских мансов. Все эти тяглые мансы должны были обслуживать трудом своих держателей господский манс (*mansus dominicatus* или *indominicatus*), как назывался барский

двор, разумея под ним не только барскую усадьбу, но и находящуюся в непосредственной эксплуатации землевладельца совокупность полевых участков (*culturae*), лугов, пастбищ, лесов. Размеры этого господского манса различны в разных монастырских вотчинах, но во всяком случае они далеки от того, что представляет собою средний зависимый манс (а ведь некоторые, даже весьма авторитетные исследователи, как, например, Лампрехт, утверждали, что господский манс не больше среднего держательского манса). В *breve de Palatiolo*, например, господский манс включает в себе пахотной земли шесть участков (*culturae*) и 287 бунуариев, на которых можно посеять 1 200 модиев пшеницы, 127 арипеннов виноградника, с которого можно получить 800 модиев вина, 100 арипеннов луга, с которого можно собрать 150 возов сена, лес, в котором могут пастись 50 свиней; есть здесь еще три мельницы (*farinarii*), приносящих дохода 154 модия зерна («*exiit inde in censum de annona modios CLIII*»). Господский манс в *Cella Equalina* имеет 8 участков в 65 бунуариев, на которых можно посеять 300 модиев пшеницы, виноградника всего  $1\frac{1}{2}$  арипенна и еще нового виноградника 13 арипеннов, луга 38 арипеннов, но зато лес таких размеров, что в нем может пастись 1 000 свиней; есть две мельницы, приносящих дохода 27 модиев зерна и деньгами 1 солид. В *Villa Nova* в господском мансе пахотной земли 172 бунуария, на которых можно посеять 80 модиев, 91 арипеннов виноградника, с которых можно получить 1 000 модиев вина, луга 166 арипеннов, с которых можно собрать 166 возов сена; есть здесь три мельницы, дающих доход 450 модиев зерна, и лес, где могут пастись 500 свиней. Общее количество пахотной земли в вотчинах, описанных в *Полиптике*, равняется, по подсчету исследователей, 18 129 гектарам, из которых 16 088 гектаров заключается в мансах держателей, а 6 041 гектар в господских мансах, так что на долю господских мансов приходится около трети всей пахотной земли.

Из приведенных примеров мы видим, что мельницы являются серьезной доходной статьей, и их очень много во владениях Сэн-Жерменского аббатства. Повидимому, аббатству принадлежала мельничная монополия, если не юридически, то фактически. За помол брали обыкновенно зерном, но не одним им: среди идущих с мельниц поступлений мы видим и деньги, и откормленных свиней, и кур, и яйца, и гусей, и коня, и угрей... и даже вино. «Между *Villamilt* и *Alnidum* находятся 22 мельницы (*farinarii*), которые дают за помол (*reddunt de multura*) в общем

(inter totos) 1490 модиев живого зерна (de viva annona), солода (de braciis) 177 модиев, деньгами (de argento) 16 солидов, 12 откормленных свиней, 36 откормленных кур, 600 яиц; и каждая дает (donat) по 2 динария вместе с откормленными свиньями, которых они дают (donant). И те, кто заведует (praevident) в Villamilt этими мельницами, если они могут поймать в этой воде угрей (anwillas), дают (solvunt) каждый по 100 угрей, что вместе составит 900. А если бы они не могли их поймать, ничего не должен давать (nihil inde solvant, IX, 2). Повидимому, как общее правило, мельницы эксплуатировались самим аббатством, с помощью заведывавших ими министериалов («*ipsi qui in Villamilt praevident ipsos farinarios*»), и в одном случае мы узнаем, что подобно другим министериалам и эти последние были держателями земельных участков, за которые вместо всяких других повинностей отправляли свою специальную службу. Некий Winedramnus держит в Villamilt 6 моргенов (jornales VI) земли и за это заведует мельницей (praevidet inde farinarium, IX, 254). Только в двух случаях мы встречаемся с арендой мельницы. Некие Gunsbertus и Cristofolus, колонны св. Германа, колон Mortgilus и жена его colona по имени Ermengudis, люди св. Германа (homines sancti Germani), держат втроем один свободный манс и несут соответственные повинности; они же владеют мельницей («*habent unum farinarium*»), за которую платят 16 модиев вина (unde solvunt de vino modios XVI, — VII, 37). В Siccavalle два колона держат вместе два манса «и имеют половину мельницы (et habent dimidium farinarium) и за эту мельницу платят в господский двор 5 модиев зерна и 1 коня (et de ipse farinario solvunt in dominicum de annona modios V et paraveredum I)». Другую половину той же мельницы держат два другие колона, также держащие вместе два свободных манса и несущие те же повинности (XXII, 92, 93).

Среди платежей, лежащих на зависимых держаниях, немалую роль, как мы видели, играли денежные платежи. Но они не дают адекватного представления о том, в какой мере хозяйственная жизнь обширных владений Сен-Жерменского аббатства носила характер денежного хозяйства. Уже самый размер натуральных повинностей и натуральных оброков, поступавших с держателей 1646 тяглых мансов аббатства, а также более мелких hospitia, которых тоже было немало, свидетельствует о том, что не непосредственное удовлетворение нужд аббатства и его обитателей было целью этого чрезвычайно обширного и сложного монастырского хозяйства,

и что не об этом думал такой выдающийся хозяин, каким был аббат Ирминон, когда он насаждал новые виноградники, строил новые мельницы и переносил на более удобные места, старые, о чем мы на каждом шагу встречаем признательные упоминания в П о л и п т и к е. Нужно всецело находиться под гипнозом натурально-хозяйственной концепции средневековой культуры, чтобы не видеть того, что, вступая на обширную территорию владений Сен-Жерменского аббатства, мы попадаем в деловую атмосферу крупных хозяйственных предприятий, рассчитанных на обширный рынок, обеспечивавший широкий сбыт и хлеба, и вина, и всяких других продуктов, в таком изобилии постулавших и с господских, и с других мансов. Достаточно взглянуть в бесчисленные подводные повинности (саггорета), которые несли держатели как свободных, так и несвободных мансов, чтобы не оставалось сомнения в меновом характере этого монастырского хозяйства, как и в том, что и тогда, как и в более позднее время, средневековое поместье работало на более и менее близкий и далекий городской рынок, что только при этом условии становится понятным хозяйственный смысл всей этой обширной, организованной и живой работы, какая велась в вотчинах духовных и светских землевладельцев средневековой Европы руками земельно и лично зависимых от них людей. Эти же земельно и лично зависимые люди и отвозили на своих подводах все то, что шло на рынок, и, в частности, держатели в вотчинах Сен-Жерменского аббатства должны были отправляться с Монастырским вином в Париж, Орлеан, Блуа, Анжу, Le Mans, Труа; ездили они, хотя и реже, и в порт Quentowicus иначе Wisus (откуда и эта повинность носила название wicahisca). И для крестьянского хозяйства рынок имел жизненное значение, и без него были бы непонятны те денежные платежи, которые среди держательских повинностей занимают далеко не ничтожное место. Хозяйство Сен-Жерменского монастыря так же далеко от натурального хозяйства, как и хозяйство королевских вотчин, каким мы его находим в так называемом Capitulare de villis, или хозяйство, о котором можно составить представление по данным Brevium exempla ad describendas res eccle siasticas et fiscales.

Социальный облик вотчин Сен-Жерменского аббатства вырисовывается самыми общими чертами. Огромное большинство держателей — колонны (coloni): из общего количества 2 800 семей держателей более двух с половиною тысяч приходится на долю колоннов, остальные — семейства рабов и литов и свободных людей (liberi или

*liberi homines*). Для выяснения юридического положения колонов, как и других, впрочем, разрядов вотчинного населения Сен-Жерменского аббатства, Полиптик дает очень мало материала. Колон (*colonus*) занимает среднее положение между свободой и не-свободой, между *liber homo* и *servus*; но он и не лит: он ближе к свободному, чем этот последний, что видно между прочим и из того, что если женщина из сословия колонов (*colona*) выйдет замуж за раба (*servus*), ее дети уже будут литами; от колона римской поры его отличает отсутствие в его положении всего того, что обуславливалось его фискальной ролью в Римской империи и что накладывало на него такой резкий отпечаток, превращая его в один из видов казенного имущества. Колон Сен-Жерменского аббатства наследственно владеет своим, обыкновенно свободным, мансом и несет лежащие на нем повинности, находится под частной властью монастыря (*homo sancti Germani*) и нередко наряду с литом и рабом платит поголовный налог (*capaticum*) монастырю, возможно, что за ту защиту и покровительство, которыми он в качестве *homo sancti Germani* пользуется со стороны монастыря; но о его крепости земле едва ли может быть речь. Фактически в хозяйственном отношении положение его мало чем по существу отличается от положения лита и даже серва; но это все же и в глазах монастырской администрации не затемняло его правового отличия и от того, и от другого, еще более ясного для нее, чем для нас. Юридическое положение так называемых *hospites* (собственно гости); держателей небольших участков, так называемых *hospitia*, работающих за них обыкновенно по два дня в неделю и дающих небольшой оброк курами и яйцами, ничем не освещено в Полиптике. По всему видно, что определенной юридической категории они и не представляли, потому что *hospitia* могли держать люди самых различных юридических категорий: и колоны, и литы, и сервы (см. напр. I, 19 — 37 и XX, 30 — 43). То же надо сказать, повидимому, и об *advena e* и *extranei*, пришедших со стороны людей, которые могли держать самые различные держания, иногда и формально вступая под частную власть монастыря, становясь людьми св. Германа (*homines sancti Germani*).

#### IV

Картина хозяйственных распорядков и социальных отношений, какую рисуют *Capitulare de villis*, *Brevium exempti* и Полиптик аббата Ирминона, в основных своих чертах

типична для поместного строя средневековой Европы, как ни значительны могли быть индивидуальные особенности, какие вносила в нее индивидуальная история каждого из европейских государств; типична она не только для Европы эпохи Карла Великого, но и для Европы последующих эпох. Как ни различны в своем живом индивидуальном облике крупные поместья средневековой Германии, Франции, Англии, Италии, тем не менее хозяйственная их структура и хозяйственное и правовое положение их зависимого населения в основе очень сходны и поддаются исследованию и уразумению с помощью одних и тех же общих понятий. Картина эта достаточно ясна, чтобы у нас не оставалось сомнений относительно ее экономического существа. Категории натурального и замкнутого домашнего хозяйства совершенно неприменимы к той хозяйственной жизни, какую мы наблюдаем в поместьях духовных и светских землевладельцев любой из этих стран и в любую из эпох средневековой истории. Почти в такой же малой мере способствует уразумению социального строя этих поместий категория крепостного права или крепостной неволи, применяемая, и то лишь с большими оговорками, лишь к некоторым элементам их зависимого населения. Даже *Capitulare de villis*, предназначенный для восстановления нормального порядка в вотчинах, которые должны были снабжать короля и его двор всем необходимым, которым были поставлены натурально-хозяйственные задачи в самом подлинном значении этого слова, даже он дает нам возможность разглядеть общие очертания господствующего тогда хозяйственного строя, которые лишь оттеняли специфический характер этих задач, благодаря этому отчетливо выступавший на общем хозяйственном фоне. Несомненно, и вотчинное хозяйство, и хозяйство зависимого от вотчин крестьянства, участвовали в меновом обороте, и говорить об их чисто потребительных задачах возможно лишь в том случае, если мы, находясь под гипнозом общепринятой концепции, заглушим в себе способность реально и конкретно представлять ту хозяйственную действительность, какую рисуют нам памятники эпохи. Сосредоточение в руках церковных и светских землевладельцев огромных, нередко колоссальных земельных богатств и соответствующих количеств рабочей силы и не прекращавшийся процесс их умножения в виде сознательно ставимой их собственниками цели, — уже один этот факт должен бы был заставить усумниться в правильности принятой доктрины, допускавшей возможность вводить хозяйственную жизнь средневековой Европы в узкие рамки зам-

кнутого и натурального хозяйства, рассчитанного лишь на непосредственное удовлетворение потребностей тех, кто его вел. Только упрощая в угоду вотчинной теории (*hofrechtliche Theorie*) всю хозяйственную жизнь средневековых обществ, совершенно вычеркивая из нее город и его огромную хозяйственную роль и в самые ранние эпохи средневековой истории, огромную роль городского рынка в жизни средневековой деревни и средневековой вотчины, можно было не замечать прямых и косвенных указаний источников, совершенно недвусмысленно свидетельствующих о тесной хозяйственной связи этой деревни и вотчины с городским рынком, вне которой остается непонятным в сущности самый хозяйственный смысл того, о чем говорят, и подчас так обстоятельно и колоритно, вотчинные документы средневековой Европы.

Только освободившись от унаследованных от вотчинной теории представлений о хозяйственном строе средневековых обществ и об его элементарности и несоизмеримости с хозяйственным строем новой Европы и вполне освоившись с той мыслью, что в новой Европе совершалось лишь дальнейшее развитие того, что уже было налицо, но в менее развитой форме в Европе средневековой, мы можем надлежащим образом квалифицировать все то, что говорят нам документы о хозяйственной жизни средних веков. Тогда и крупная вотчина (и не только она) предстанет перед нами в своем подлинном хозяйственном существе, и мы не будем бояться упреков в модернизации, называя составляющие содержание ее хозяйственной жизни явления их собственными именами, при условии, конечно, что с этими именами мы будем соединять адекватные этим явлениям общие понятия. Видеть в хозяйственной жизни крупных средневековых вотчин осуществление «принципа непосредственного удовлетворения потребностей» (*Bedarfsdeckungsprinzip*), как это делает Зомбарт даже в самом новом издании своего «Современного капитализма», не без видимого удовлетворения оставляя без внимания все то, что было сделано в исторической науке за последние годы для выяснения хозяйственного строя средневековой Европы, готовый видеть в оставлении давно занятой им, в настоящее время, совершенно архаической, позиции едва ли не измену основным принципам экономической науки, можно, лишь всецело находясь во власти теоретических построений, созданных на далеком расстоянии от исторической действительности, стремящихся насильственно приблизить ее к себе и втиснуть в заготовленные для нее схемы,

не справляясь ни с ее основной природой, ни с ее индивидуальными особенностями, отождествляя образованные для уразумения и истолкования бесконечно сложной, индивидуальной и текучей действительности общие понятия, к тому же далеко не адекватные ей, с самой этой действительностью, принимая при этом чисто исторические категории за категории социологические и заставляя их нести чисто теоретическую службу. Если понятиями «капитализм» и «капиталистический» соединять лишь признаки, характерные для современного капитализма в его индивидуальности, то строго говоря, помня, что все историческое однократно и индивидуально, никогда и нигде кроме последних двух веков в жизни Европы и Америки капитализма не существовало, не существовал он, следовательно, и в средневековой Европе, хотя ее хозяйственная жизнь далека от той элементарности, какую ей приписывает ходячее воззрение. Если бы Зомбарт и согласные с ним исследователи стояли на этой точке зрения, то спор мог бы вестись на чисто теоретической почве, не вступая на территорию конкретной исторической действительности, не затрагивая существенных интересов исторической науки, хотя и не индифферентной к его результатам. Но ведь Зомбарт не стоит на этой совершенно ясной теоретической позиции. Всецело находясь во власти ходячего представления о капитализме в его современной индивидуальности, отождествляя общее понятие капитализма с конкретными и индивидуальным понятием современного капитализма, он в такой же мере находится и во власти вотчинной теории, разделяя самые архаические ее представления о хозяйственном строе средневековой Европы, давая им руководящую роль в своем трактовании конкретного материала хозяйственной истории средних веков. В нашу задачу не входит рассматривать приемы этого трактования, мало поучительные для историка, привыкшего к иным приемам научного исследования, более углубленного и строго методического, не довольствующегося чисто случайным и поверхностным знакомством с случайно попадающим на его поле зрения материалом источников, служащим лишь готовой иллюстрацией к заранее готовым концепциям. Зомбарт отрицает существование капитализма в средневековой Европе и в качестве экономиста-теоретика, и в качестве экономиста-историка, ни в том, ни в другом случае не удовлетворяя требованиям современной исторической науки, одинаково требовательной как в отношении отчетливости и адекватности своих общих понятий, так и в отношении строго-

сти методических приемов исследования конкретного материала источников.

Если с понятием капитализма не соединять определенных социальных признаков, связанных с определенной исторической эпохой социального развития новой Европы, и не думать, что капитализм не мыслим без лишенных средств производства рабочих (*besitzlose Nugarbeiter* на языке Зомбарта), продающих по свободному договору свои рабочие руки монопольным обладателям этих средств, выступающим в роли организаторов производства, то становится ясным, что капитализм возможен в самой различной социальной обстановке. Мы наблюдали его в разные эпохи римской истории: и в эпоху царей, и в разные периоды республики, и в императорскую эпоху, ни в одной из этих эпох, далеко не тождественных по своему социальному облику, не находя, тем не менее, той социальной обстановки, которая, по ходячему воззрению, является необходимой предпосылкой капитализма. Несомненно капиталистическим является и вотчинное хозяйство средних веков. Нам мало удовлетворяет то, что говорит Допш о «вотчинном или натурально-хозяйственном капитализме средних веков (*der grundherrschafftliche oder naturalwirtschaftliche Kapitalismus des Mittelalters*)»<sup>1)</sup>. Не говоря уже о странности и неожиданности у Допша прилагательного «натурально-хозяйственный» в связи с существительным «капитализм», Допш обращает внимание исключительно как раз на социальную сторону вотчинного капитализма, совершенно не характерную для чисто экономического существа этого явления, на то, что и «вотчинный капитализм» «влек за собой те же последствия социального характера, что и денежный капитализм нового времени», именно: «общее ассоциирование и социализирование зависящих от него элементов», объединение различных по происхождению лиц общими хозяйственными и социальными интересами. В своей полемике с Зомбартом Допш указывает еще на то, что средневековый вотчинник, подобно современному капиталистическому предпринимателю, разрушал старые хозяйственные формы и вырывал целые массы населения из привычных им форм существования, и «поэтому вполне допустимо говорить о капитализме на почве вотчины, особенно в той ее форме, которая называется *Gutsherrschaft* (поместье с барским хозяйством)»; «поэтому-то не так уже невозможно говорить о натурально-хозяйственном капита-

<sup>1)</sup> Dopsch. *Wirtschaftsentwicklung*, II<sup>2</sup>, стр. 54.

лизме». Если не о натурально-хозяйственном, то о вотчинном капитализме средневековой Европы не только возможно, но и необходимо говорить, чтобы выяснить существо тех хозяйственных явлений, которые совершались на вотчинных территориях, но только не ограниваясь тем, что говорит о нем Дошш.

Сосредоточение в одних руках больших, иногда колоссальных земельных богатств, эксплуатируемых средствами барщинной и оброчной системы, достаточно крупное барское, меновое и денежное хозяйство, дававшее собственнику крупные барыши, — достаточно указать на эти общеизвестные факты, чтобы для не затемненного никакими искусственными концепциями взгляда было совершенно ясно, что мы имеем такое же основание говорить о вотчинном капитализме средних веков, как и об аграрном капитализме последних веков римской республики и первых веков империи или о современном капитализме, как ни различна социальная обстановка в каждом из этих случаев капиталистического развития. В главе, посвященной римскому хозяйственному развитию, нам приходилось высказывать свои соображения и о том хозяйственном строе, какой постепенно сложился в поместьях римских землевладельцев после того, как с переходом к новому политическому режиму крупное рабское плантационное хозяйство было постепенно ликвидировано, и восторжествовало по всей линии мелкое фермерское, колонатное хозяйство. Мы не находили оснований не признать и это фермерское хозяйство капиталистическим, потому что замена рабочих-рабов посаженными на землю рабами и свободными, обязанными обрабатывать из части продукта господские виноградники и господские поля или платить за свои участки денежную аренду и нести барщину, не меняла основной хозяйственной задачи собственника поместья — получения прибыли от продажи продуктов, произведенных в направляемых из центра поместья мелких фермерских хозяйствах, являвшихся в сущности лишь составными частями единого хозяйственного целого, а также в его собственном барском хозяйстве. И при господстве плантационного рабского хозяйства, и при господстве вытеснившего его фермерского хозяйства собственник поместья сосредоточенным в его руках земельным богатствам и движимому капиталу давал чисто коммерческое назначение — служить средствами производства в процессе образования благ, поступающих в хозяйственный оборот и приносящих прибыль владельцу этого капитала. Общая хозяйственная задача при различии средств ее осуществ-

вления в обоих случаях оставалась одной и той же задачей капиталистического хозяйства.

То же в сущности можно сказать и о вотчинном хозяйстве средневековой Европы. Крупное меновое и денежное барское хозяйство, ведшееся руками лично и земельно зависимых людей вотчинника или вольнонаемных рабочих, которые в хозяйственной жизни средних веков играли далеко не ту незначительную роль, какую им обыкновенно приписывают, исходя от неправильного представления о неподвижности и связанности средневекового общества, едва ли нуждается в раскрытии своей капиталистической природы. Но и оброчная система, эксплуатация земельного капитала в форме мелких хозяйств, ведшихся на отданных в наследственное держание или в пожизненную или срочную аренду участках, едва ли меняет дело по существу, меняя лишь способ эксплуатации того же капитала, но не меняя основной хозяйственной задачи его владельца — извлечения прибыли из всего этого раздробленного на хозяйственные атомы предприятия; только не следует при этом забывать, что оброк, поступающий с этих участков, весьма нередко и в вовсе не незначительной своей части выплачивался деньгами, а то, что получал вотчинник с своих держателей и арендаторов натурой, лишь частью шло на непосредственное удовлетворение его потребностей, в основной же своей массе поступало на рынок и также превращалось в его денежный доход; так что и в этом случае, при господстве оброчной системы, в такой же малой мере может быть речь о натуральном и замкнутом, безобменном хозяйстве, как и при господстве барщинной системы, обслуживающей обычно крупное меновое и денежное барское хозяйство. В исторической действительности, впрочем, обе эти системы, как общее правило, существовали совместно, гармонически сочетаясь в типичном вотчинном хозяйстве любой из стран средневековой Европы.

Весьма тщательное исследование американским историком Gras'ом материала отчетов приказчиков средневековых английских вотчин (маноров) показало, что уже в начале двенадцатого века в Англии существовал организованный обмен между городом и деревней, в котором участвовали как владельцы вотчин, так и их свободные и несвободные держатели, отправлявшие свой хлеб и другие сельскохозяйственные продукты на городской рынок, что тогда уже существовал особый класс хлебных дельцов (cornmongers) из разбогатевших крестьян, нередко крепостных, которые скупали хлеб

по деревням и занимались его продажей, и что, в частности, вотчинное хозяйство находилось в тесной связи с рынком, регулярно и в большом количестве продавая свои продукты. Грасу удалось установить и такой не менее резко расходящийся с натурально-хозяйственной концепцией вотчинного строя факт, как рост хлебных цен в течение тринадцатого века в Англии (более чем на 50% на пшеницу) и в то же время увеличение количества производимого в вотчинах в это столетие хлеба (на 150%). А между тем тринадцатое столетие принято считать классической эпохой английской маноральной (вотчинной) системы в ее, по общепринятому мнению, натурально-хозяйственной постановке, и именно тогда будто бы особенно полной и прочной. Мы не сомневаемся, что исследования, которые будут произведены над соответствующим материалом других стран средневековой Европы, дадут подобные же результаты, т. е. столь же убедительно, с помощью совершенно конкретных данных установят исконную тесную органическую связь вотчинного хозяйства каждой из этих стран с городским рынком, сделают для всех ясной его чисто коммерческую постановку и тем окончательно расчистят путь к правильному пониманию хозяйственной жизни и хозяйственного строя средневековой Европы.

Своеобразие хозяйственного строя средневековой вотчины состоит не в задачах, которые ставит себе вотчинное хозяйство, а в его организации, в его зависимости от зависимых крестьянских хозяйств, которые служат ему своей рабочей силой и своим инвентарем, и в его связанности общими хозяйственными распорядками деревни, сохранившей и при вотчинном режиме известную меру хозяйственного самоопределения и самоуправления. Связанность эта, выражавшаяся в необходимости подчиняться принудительному севообороту и совместной обработке и уборке полей и предоставлять и свою пахотную землю после снятия урожая под общее пастбище, стоит в связи с тем, что, подобно крестьянским участкам, и барская земля (*terra dominica*) лежит чересполосно с крестьянской, что объясняется, может быть, исторически тем, что она образовалась во многих случаях из крестьянских участков, попадавших в руки вотчинника на самых различных основаниях. Связанность эта была, впрочем, неполной, потому что у многих вотчинников барская земля состояла не из одних чересполосных, бывших крестьянских участков, и наряду с ними у них были и отдельные, свободные от общинных уз поля (*culturae, culturae separabiles*), и это относится и к самым ранним периодам средних веков. И в поль-

зовании пастбищами, лугами, лесами вотчинник должен был сформироваться и с интересами и правами крестьян, хотя ему и принадлежало высшее право собственности (*Ober Eigentum*) на эти общие угодья (в Германии они назывались и называются альмендой, *Allmende*). Можно сказать поэтому, что средневековое вотчинное хозяйство еще не выделилось из некоторого высшего хозяйственного целого, из хозяйства деревни, являясь еще в значительной мере, как и каждое крестьянское хозяйство, составной частью этого целого, с интересами которого оно должно было считаться. Поскольку вотчинное хозяйство опиралось на крестьянские хозяйства, его интересы должны были находиться в гармонии с интересами этих последних, и вотчинная администрация очень заботилась о том, чтобы тяглое население обладало всеми хозяйственными ресурсами — достаточным количеством земли, соответствующим инвентарем и соответствующими правами на пастбище и на другие общие угодья, — и зорко следила за тем, чтобы не происходило излишнего дробления крестьянских участков и скопления их в одних руках, искусственно сдерживая ввиду этого гражданский оборот среди зависимого населения, юридически возможный и фактически осуществлявшийся в достаточно широких размерах и среди самых несвободных элементов этого последнего.

Натурально-хозяйственная организация барского хозяйства вотчины в смысле зависимости его от натуральных повинностей зависимых держаний определяет и меру, а также и характер хозяйственной эксплуатации, которой подвергалось вотчинное население со стороны вотчинника и его барского двора. Хозяйственной эксплуатации зависимое население вотчины подлежало лишь через посредство держаний, лишь поскольку оно было связано с держаниями, лишь в качестве субъектов зависимых хозяйств, лишь в качестве владельцев располагавших всем необходимым для ведения собственного хозяйства участков (*mansi vestiti* по терминологии франкских источников). Ведь натуральные и денежные повинности зависимых людей связаны с землей, которую они держат, с зависимыми держаниями, и вотчинную администрацию мало в сущности интересует, кто держит данный участок, и к какой социальной категории он относится; да и сами эти категории как-то незаметно в ее глазах с держателей перешли на держания, и она стала квалифицировать в сословных терминах не людей, а ту землю, которую они держали, различая мансы свободные, рабские

и полусвободные (*mansi ingenuiles, mansi serviles* и *mansi lidiles*) (у франков), держания свободные и держания вилланские (*tenementa libera* и *tenementa villenagia*) (в средневековой Англии); держания, можно сказать, закрыли держателей от взора вотчинной администрации, и живыми, работающими и платящими существами в ее глазах являлись мансы и виргаты (английское соответственные мансов), которые даже платят брачный выкуп (меркет по английской терминологии, *merchet pro carne et sanguine*), если они вилланские виргаты (рабские мансы). Человек безземельный, не имевший земли или расставшийся с землей (вернувший ее вотчиннику или с разрешения вотчинника, если он был его сервом, продавший ее другому серву), играл сравнительно малую роль в вотчинном хозяйстве, если только он не был дворовым и не нес какую-либо службу на барском дворе в качестве сельскохозяйственного рабочего (пахаря, погонщика при плуге, пастуха и т. п.), ремесленника или органа вотчинной администрации, получая за это содержание натурой, но иногда даже частью и деньгами. Полновесной хозяйственной величиной становился он, лишь беря надел, становясь держателем, но и то лишь пропорционально размерам своего держания (*secundum terrarum suarum quantitatem*, как выражаются писцовые источники). При этом следует, однако, иметь в виду, что лежавшие на держании повинности не ложатся всем своим бременем на одного лишь держателя, что он лишь отвечает за их своевременное и добросовестное выполнение, и фактически они распределяются между членами всей сидящей на наделе группы, которая может быть и весьма значительной, нередко включая в свой состав кроме членов семьи держателя и его собственных держателей и их семьи, которым он мог сдать ту или иную часть своего надела, иногда весьма значительного. Обстоятельство это, можно сказать, вовсе оставляется без внимания при оценке вотчинного режима средневековой Европы со стороны тех требований, какие он представлял к зависимому населению и какие определяют размеры эксплуатации его труда и его средств господствующими классами, и поэтому оценка эта в большинстве случаев дает неправильное представление об истинном положении вещей, давая материал и для общих неправильных суждений о социальных отношениях феодальной Европы.

Можно сказать, что средневековое вотчинное хозяйство построено не столько на эксплуатации зависимых людей, сколько на эксплуатации зависимой земли, к тому же поставленной в опреде-

ленные рамки, регулируемой нормами вотчинного обычая, имевшего обязательную силу не только для держателя, но и для вотчинной администрации, и сколько бы ни увеличивался состав сидевшей на наделе группы, повинности, лежавшие на нем (*servicia et consuetudines*), от этого не увеличивались. Вотчинный обычай (в английском поместье он называется *consuetudo manerii*) являлся настоящим вотчинным правом, совокупностью норм материального и формального (процессуального) права, регулировавших жизнь вотчинного населения и его поземельные отношения и самым несвободным элементом его обеспечивавших их владельческие права и правомерное участие в гражданском обороте. Читая протоколы вотчинных судов средневековой Англии, так называемые *Court Rolls*, в которых чрезвычайно рельефно отражается гражданский оборот средневековой английской деревни со всеми его правовыми и бытовыми деталями, иногда совершенно забываешь, что огромное большинство всех тех, кто входит в состав этих судебных собраний в качестве полноправных его членов, а также тех, кто является в эти собрания в качестве истцов, ответчиков или за каким-нибудь другим делом, например, для того, чтобы вступить во владение доставшимся по наследству земельным участком или передать свой участок или часть его в другие руки, или вернуть его в руки вотчинника, что это почти все вилланы, сервы, самые подлинные крепостные сеньера, лорда манора, о которых официальная юридическая теория, принятая в судах королевских, в судах так называемого общего права (*Common Law*), учила, что и сами они, и вся их движимость и недвижимость — собственность их сеньера, а его ничем не ограниченный произвол (*voluntas domini*) — единственный закон, которому они должны подчиняться, — до такой степени строго юридический характер имеет все здесь происходящее.

В глазах вотчинного права виллан, серв является собственником своего участка, имеет наследственные владельческие права на свое держание, защитимые против всех неправомерных притязаний с помощью имеющих строго юридический характер процессуальных средств (свидетельства присяжных, протокол курии); может, с разрешения сеньера (имеющего чисто формальный характер), уплачивая в его пользу соответствующую денежную пошлину, продать его, отдать под залог в обеспечение долга или передать третьим лицам в условное держание; после его смерти вдова его имеет право до самой смерти владеть его держанием; а если у него оставался малолетний наследник, то и сам наследник, и его держание посту-

пали под опеку в надежные руки, — аналогия с тем, что мы знаем о земельном праве свободных людей и свободных держателей, отстаивающих свои права в королевских судах общего права, поразительная; даже практиковавшиеся в этих последних формы земельных исков, так называемая ассиза о смерти предшественника или ассиза о новом захвате находят в вотчинной курии свое полное соответствие, равно как и расследование через присяжных, о котором только что упоминалось. Не каприз и произвол вотчинника, а самое подлинное гражданское право и самый подлинный гражданский процесс регулировали земельные отношения даже несвободного, в подлинном смысле крепостного населения вотчины, и то, что в глазах общего права, регулировавшего жизнь свободного населения средневековой Англии и применявшегося в общегосударственных судах, это гражданское право и этот гражданский процесс утрачивали свою юридическую силу и обязательность, превращаясь лишь в тернистый сеньером вотчинный обычай, который в каждый данный момент может быть нарушен и даже вовсе отменен сеньером, не встречая возражений со стороны судов общего права, даже не считавших себя вправе принимать и выслушивать жалобы сервов, если бы они вздумали искать у них защиты своих прав в случае нарушения их сеньером, не лишают их юридической силы в глазах судебного собрания (курии) вотчины, их применявшего, являясь в сущности лишь юридическим выражением феодальной позиции сеньера как обладателя судебной власти, особенно автономной в отношении к несвободным элементам зависимого от него населения.

Английская феодальная вотчина (манор) имеет свои индивидуальные особенности, являясь продуктом индивидуального английского развития, своеобразие которого отчетливо на ней запечатлелось, и их нужно принимать во внимание при пользовании данными, к ней относящимися, для общей характеристики вотчинного режима средневековой Европы; но основные черты ее и хозяйственного, и правового строя, к тому же более тщательно исследованные и более ярко освещенные, чем соответствующие стороны вотчинного строя других стран средневековой Европы, несомненно, типичны и дают солидное основание для общих суждений и идеально-типических построений; в частности, они окончательно рассеивают и до сих пор еще не исчезнувшие совершенно фантастические представления о средних веках как о мрачной эпохе без-

правия и социального гнета, господства силы и произвола в отношении к массам и полного их порабощения феодалными господами.

Закон и право иначе были организованы в средневековой Европе, чем в современном цивилизованном мире; но они с такой же несомненностью существовали и регулировали жизнь тогда, как и теперь, разграничивая и охраняя интересы всех общественных групп и не делая при этом исключения и для тех, кто занимал самые низшие ступени общественной лестницы. Своеобразие тогдашнего правового строя должно быть преодолено научной мыслью во всей своей сложности, нередкой и запутанности, иногда закрывающей от недостаточно вооруженного взора истинные очертания вещей и создающей ложные перспективы, и тогда становится ясным и понятным подлинный социальный облик средневековой Европы во всем его подлинном своеобразии. Вотчинный режим предъявлял к зависимому населению требования, поставленные в определенные правовые рамки, и даже самым зависимым его элементам оставляя ту или иную меру свободного самоопределения и свободного распоряжения своими рабочими руками и своими хозяйственными ресурсами и участия в свободном гражданском обороте тогдашнего общества, достаточно широком и разнообразном, не ставил серьезных преград широкому хозяйственному обороту, все развивавшемуся; и тем с своей стороны делал возможным сравнительно раннее появление и быстрое и богатое развитие высокоценной средневековой культуры, материальной и духовной, немыслимое и непонятное при допущении, весьма популярном еще и в настоящее время, что вотчинный режим являлся сильнейшим тормозом хозяйственного развития, закрепощая и иммобилизуя массу, отдавая ее труд всецело на службу хозяйственным интересам господствующего класса в тесных рамках вотчинного натурального, чисто потребительного и замкнутого хозяйства. Вотчинный режим, несомненно, в известной мере ограничивал общий хозяйственный оборот, поскольку он в известной мере стеснял экономическую свободу зависимого населения, требуя от него хозяйственных услуг для барского хозяйства, на них опиравшегося, но отнюдь не замкнутого и не потребительного; но мы уже видели, что услуги эти были связаны с земельными наделами, и их требовали с тех, кто владел этими наделами; да и то лишь в строго определенном количестве, оставляя вне хозяйственной эксплуатации огромное большинство не связанного с землей вотчинного населения и предо-

ставляя ему возможность в полной мере участвовать в общем хозяйственном обороте, для которого границы вотчинной территории не являлись преградой.

В связи с этим нужно указать еще на одно очень важное обстоятельство, которое обыкновенно не имеется в виду при изображении поместного строя средневековой Европы и при выяснении его роли в ее хозяйственной и социальной эволюции, не имеется в виду потому, что ему не оказывается места в общей картине хозяйственного и социального строя средневековых обществ, его и не предполагающей. Картина эта отирается от не вызывающей ни в ком сомнения мысли, что вся сельская Англия, вся Франция, вся Германия и т. д. были сплошь покрыты в средние века поместьями с характерной для них в средние века хозяйственной организацией, нами сейчас изображенной. Мысль эта давно утвердилась в исторической науке и являлась одной из предпосылок вотчинной теории (*die hofrechtliche Theorie*), так долго в ней господствовавшей. Но и после того, как эта теория была поколеблена в своих основах, мысль эта продолжала оставаться в силе, и в настоящее время она, несомненно, тормозит правильное освещение основных явлений средневековой аграрной и социальной истории. А между тем более углубленное изучение этой истории, по необходимости направляющееся на отдельные районы в каждой из стран средневековой Европы и учитывающее индивидуальные особенности каждого из этих районов в их местной исторической обусловленности, все более и более подрывает правильность этой мысли, раскрывая перед нами и иные соотношения, обнаруживая существование иногда целых округов, не знавших вотчинного режима и его хозяйственной организации, хотя и подвластных тем или иным сеньерам как в судебном, так и в фискальном отношениях. Если и удавалось в той или иной мере провести в жизнь феодальный принцип, гласивший, что «нет земли без сеньера» (*nulle terre sans seigneur*), то это вовсе не означало, что там, где это происходило, непременно и неизбежно за этим следовала общая манорнализация (от «манор», средневековое поместье в Англии), превращавшая до тех пор свободные от вотчинного режима деревни в самые подлинные вотчины со всеми особенностями их хозяйственного строя, нам уже достаточно известными. Сельское население могло оставаться и очень нередко и оставалось за пределами вотчинного хозяйственного режима, хотя и находясь под судебной, фискальной и административной властью того или

инного сеньера и уплачивая ему связанные с этим, а поскольку оно сидело на его или ему им переданной земле или состояло из его лично несвободных людей, то и отсюда вытекающие пошлины, налоги, оброки, как деньгами, так и натурой, ведаясь для этого с его агентами и являясь для этого на устраиваемые ими судебные собрания (*privatae audientiae*) и отправляя на своих подводах в указанное ими место то, что они должны были давать сеньеру из продуктов своего хозяйства на том или ином основании.

СОУНЬ ИМ. В. Г. БЕЛИНСКОГО  
<http://book.ugraic.ru/>

## ГЛАВА ПЯТАЯ.

### ЭВОЛЮЦИЯ СРЕДНЕВЕКОВОГО ПОМЕСТЬЯ.

В предшествующей главе была сделана попытка в общих чертах наметить генезис средневекового поместья и дать его общую характеристику, главным образом со стороны его хозяйственной организации. Тесная органическая связь между барским крупным хозяйством, раз оно существовало в поместье (а его могло и не быть) и хозяйствами крестьянскими, мелкими хозяйствами зависимых держателей и зависимых людей, выражавшаяся в том, что барское хозяйство, и обладая собственным инвентарем и располагая рабочим персоналом дворовых людей, а также не в малой мере и трудом вольнонаемных рабочих, все же едва ли не главную свою опору находило в рабочих повинностях, лежавших на хозяйствах зависимых держателей и зависимых людей, а также в том, что оно, благодаря чересполосице, не в меньшей мере характерной для барской земли и земли крестьянской, а также и другим обстоятельствам, связанным с генезисом и ростом поместий, являлось в значительной мере, как и каждое крестьянское хозяйство, органической частью высшего хозяйственного целого, хозяйства всей деревни, с интересами которого оно было теснейшим образом переплетено и должно было считаться и при возделывании, и при уборке полей, и при пользовании общими хозяйственными угодьями, — вот основные особенности хозяйственной организации средневекового поместья, ее типические особенности, отличающие ее от хозяйственного строя римских плантаций и от хозяйственной организации современных капиталистически организованных ферм, но сближающие ее в той или иной мере с римской поместной организацией эпохи крепостного колоната, как и с русским крепостным хозяйством. Если можно

применять термин «натуральное хозяйство» к этой хозяйственной форме, то лишь в очень условном и специальном смысле, именно в смысле хозяйственной организации в тесном смысле, организации хозяйства средневекового поместья, опирающегося на натуральные повинности его зависимых держаний, но отнюдь не в смысле его безобменности, замкнутости и самодовления, совершенно чуждых ему, как хозяйству меновому, денежному и даже капиталистическому. Эта хозяйственная организация средневекового поместья имеет своей социальной предпосылкой наследственно связанных с поместьем, поземельно, лично и политически зависимых от его собственника людей несвободного и свободного состояния, отдающих для надобностей барского хозяйства часть своего труда и продуктов собственного хозяйства в меру своих держаний и в рамках вотчинного обычая, обязательного в равной мере и для сеньера, и для живущего под его властью населения.

Дальнейшая эволюция средневекового феодального поместья, являвшегося хозяйственной и социальной базой феодального государственного порядка как своеобразной формы государственного устройства и управления, восполнявшей недочеты обычной бюрократической государственной системы в том виде, в каком эта последняя тогда существовала, шла в направлении к разрыву связи между барским хозяйством поместья и зависимыми крестьянскими хозяйствами в результате перевода натуральных, барщинных повинностей, лежавших на крестьянских хозяйствах, на денежные платежи (в результате так называемой коммутации), а также к разрыву уз, связывавших барское хозяйство с хозяйственными распорядками и аграрными интересами деревни и к великому ущербу для этих последних, выразившемуся в сильном сокращении общих угодий, незанятых под обработку пространств, теперь переходивших в единоличное распоряжение сеньера, уже незаинтересованного в благополучии подвластного ему крестьянства и в прочности и благоустроенности крестьянских хозяйств, служивших до тех пор едва ли не главной опорой его собственного хозяйства, и предоставлявшего теперь деревне полную свободу устраивать свою жизнь уже без всяких ограничений сверху, становиться игрой свободного хозяйственного оборота со всеми его аграрными и социальными последствиями. Естественно, что в связи со всем этим изменялось и личное состояние несвободных элементов вотчинного зависимого населения, в несвободе которых сеньер не был уже теперь хозяйственно заинтересован, постепенно перемещая центр тя-

жести сельскохозяйственного производства в своих поместьях с барщинного труда на труд наемный и все шире и шире практикуя сдачу своей земли в чисто коммерческую, по возможности крупную и краткосрочную аренду всякого рода предпринимателям, а то и вовсе оставляя земледелие и переходя к скотоводству в крупном масштабе (как это было, напр., в Англии, имевшей широкий сбыт своей шерсти на континенте).

Параллельно этому хозяйственному и социальному процессу, ведущему к перерождению средневекового феодального поместья, в результате постепенной ликвидации его основных хозяйственных и социальных особенностей, в поместье нового, современного нам, чисто коммерческого типа, шел процесс ликвидации феодальных элементов государственного устройства и управления, проводившейся все усиливающейся бюрократической государственностью, постепенно сокращавшей в свою пользу компетенцию феодального аппарата и в судебном, и в военном, и в фискальном, и в административном отношениях, превращая таким путем представителей высшего государственного сословия из обладателей государственной власти в представителей всего лишь экономического класса более и менее крупных землевладельцев, чем они были до того, как процесс феодализации этой властью их наделил. Феодальная организация государственного устройства и управления была таким образом ликвидирована сверху, и в то же время, как мы видели, хозяйственный процесс, развивавшийся внутри феодального поместья в связи с общим хозяйственным процессом, развивавшимся в обществах средневековой Европы в направлении к расширению хозяйственных связей внутри каждого из них и за его пределами, ликвидировал его как хозяйственную и социальную базу феодальной государственности, и без того уже ликвидируемой в пользу органов государственности бюрократической. Система политически соподчиненных государственных сословий отходила в прошлое. Оставались лишь экономические классы.

В такой перспективе представляется нам проблема разложения средневекового поместного строя, перерождения средневекового феодального поместья в поместье современного нам типа. Этот процесс более изучен на материале английского развития, и мы воспользуемся данными хозяйственной и социальной истории средневековой Англии, чтобы конкретизировать набросанную нами общую схематическую его картину, тем более, что в Англии процесс этот

развивался с особенной отчетливостью и отличался богатством и общественной значительностью сопровождавших и осложнявших его социальных явлений <sup>1)</sup>).

## I

Английское феодальное поместье, манор, и по своей хозяйственной структуре, и по своему социальному облику по существу не отличается от типичного средневекового поместья континентальной Европы; не отличается оно и по характеру тех хозяйственных целей, которые оно себе ставит, далекое не в меньшей мере, чем и континентальное поместье, от натурального и замкнутого, чисто потребительного хозяйства. Конечно, особенности английской средневековой истории отразились на нем с достаточной определенностью и сообщили ему его индивидуальные черты, сказавшиеся прежде всего и главным образом на его социальном строе, на правовом положении его зависимого населения. Это последнее обстоятельство стоит в тесной связи с особенностями государственного развития и государственного порядка средневековой Англии, создавшимися под сильным, можно сказать определяющим, влиянием нормандского завоевания; которое резко и решительно остановило процесс распада государственного целого Англии на самостоятельные княжества и дало возможность организовать сильную государственную власть, незнакомую тогдашней континентальной Европе, и централизованное управление, располагавшее обширными правительственными средствами и соответствовавшим его сложным потребностям административным аппаратом. Государственная власть имела возможность в равной мере пользоваться как феодальными, так и нефеодальными ресурсами, которые предоставляла в ее распоряжение торговля ~~действительность~~, и поэтому правительственная система Англии после нормандского завоевания не была выдержана в одном определенном стиле, но представляла собою соединение двух стилей, бюрократического и феодального. Явление это не для одной, правда, Англии характерно, но обще ей в той или иной мере и со всеми другими средневековыми государствами, в которых ведь также феодальная форма государственного устройства и управления являлась лишь подсобным средством для

<sup>1)</sup> Проф. Д. М. Петрушевский. Восстание Уота Тайлера. Очерки из истории разложения феодального строя в Англии. 3-е издание, тщательно пересмотренное и исправленное. 1927 г.

формы бюрократической. Разница лишь в том, что в Англии феодальный государственный аппарат находился в сильных руках центральной власти и в полном ее распоряжении, лишь усиливая ее ресурсы, но не ослабляя их, как это бывало нередко на континенте Европы. Правда, прежде чем установилось такое соотношение между центральной властью и феодальным аппаратом, центральной власти пришлось выдержать упорную борьбу с явившимися в Англию с нормандским завоеванием представителями выродившегося в политический партикуляризм континентального, французского феодализма.

Создавшееся в Англии нормальное отношение между центральной властью и феодальным аппаратом, в ее распоряжении всецело находившимся, делающее английский феодализм особенно интересным и поучительным для всех, кто интересуется феодализмом в его социологическом существе и поэтому особенно дорожит такими случаями феодального развития, в которых феодальная организация государства выступала бы в присущих ей соотношениях со всеми другими сторонами государственного строя общества, не могло не сказаться на самой постановке феодальных институтов и приводило к обработке феодального права, правовых норм, регулировавших феодальные отношения, применительно к интересам государственного целого. В результате этого действовавшее в Англии феодальное право последовательно и в полной мере провело в жизнь феодальный принцип, что вся земля Англии имеет своего верховного собственника в лице короля, и что все землевладельцы в стране являются его держателями, непосредственными (*in capite*) или в последнем счете, и если они держат свои держания на военном праве, то от кого бы они их непосредственно ни держали, военную повинность, с этими держаниями связанную, они обязаны нести королю, а не своему непосредственному сеньеру, что предоставило в исключительное распоряжение короля все феодальные военные контингенты страны. В связи с этим вполне правомерным являлось и вмешательство короля в компетенцию феодальных курий, поскольку эти последние рассматривали и решали споры и иски о феодальных держаниях, возникавшие среди подсудных им свободных держателей.

И правовое положение несвободных держателей феодальных сеньеров, вилланской массы, носит на себе весьма осязательные следы юридической обработки определяющих его правовых норм юристами королевских судов, стремившимися преодолеть пестроту

и разнообразие социальной действительности с помощью возможно более общих и простых юридических категорий, руководствуясь при этом чисто техническими соображениями, но также и интересами государственной власти, не склонной предоставлять в полное распоряжение феодальных землевладельцев находившееся под их властью крестьянское население. Нельзя сказать, чтобы им удалось справиться с своей задачей вполне успешно и создать юридическую конструкцию, вполне безупречную в логическом отношении, чуждую противоречий и несообразностей. Противоречия и несообразности, в их конструкции обнаруживающиеся и свидетельствующие о разнокалиберности тех элементов социальной действительности, которые эта конструкция пыталась объединить, облегчают исследователю задачу выяснить генезис этой конструкции и тем самым дают ему возможность подойти к изучению этих социальных элементов<sup>1)</sup>. Весьма значительная часть зависимого крестьянства без внимания к различиям в правовом и хозяйственном положении составлявших его элементов была подведена под искусственно созданную категорию вилланов-сервов. В то время как в средневековой Франции проводилось строгое различие между вилланами, как людьми лично свободными, и сервами, как лично несвободными людьми, английские вилланы, до нормандского завоевания также бывшие лично свободными крестьянами, хотя уже и попавшие в феодальную зависимость от светских и духовных сеньеров (глафордов, лордов), составлявшие основное деревенское население крестьян-собственников, были приравнены теперь к лично несвободным сервам, и слова *villanus* и *servus* стали синонимами. Нормандское завоевание в сильнейшей мере способствовало проведению этого зловещего в данном случае знака равенства между столь различными по своему юридическому положению социальными категориями, фактически, путем насилия и захвата, превратив много свободных лично крестьян в крепостных сервов, а то и просто в рабов, и в этом отношении государственной власти оставалось лишь дать совершившемуся факту правовую санкцию. Но она этим не ограничилась. Не говоря уже о том, что она сильно расширила объем понятия «виллан», включив в него такие разряды сельского населения, какие еще и в Книге Страшного суда (*Domesday Book*) вполне определенно от вилланов и от сервов отграничиваются, и тем в соответственной мере

---

<sup>1)</sup> См. *Vilainage in England* by Paul Vinogradoff, Oxford, 1892, классический труд по истории английского крестьянства в средние века.

увеличила массу лично несвободного населения, она усилила и меру личной несвободы его, приравняв виллана-серва к римскому рабу, представлявшему, как известно, движимость своего господина, находившуюся в полном его распоряжении.

И в то же время, отдав как будто виллана вполне во власть его сеньера, отказавшись как будто совсем от вмешательства в отношения между лордом и его вилланами, лишив вилланов своей судебной защиты, государственная власть определенно стала на точку зрения относительности так широко раздвинувшего при ее содействии свои границы и приблизившегося даже к рабству серважа, учившую, что виллан-серв является сервом лишь в отношении к своему лорду, в отношении же ко всем остальным людям, ко всему остальному миру он вполне свободный, право- и дееспособный человек, что и лорд может свободно трактовать виллана как своего в отношении к нему несвободного и бесправного серва, лишь пока тот находится на территории его манора, а раз он оставил эту территорию, в глазах государственной власти он уже свободный во всех отношениях человек, и если сеньер его хочет вернуть его себе как своего серва-виллана, то для этого он должен взять на себя нелегкую задачу: доказать, что он действительно его серв, и государственная власть не только не облегчала ему этого *onus probandi* (бремени доказательства), на него ею же и возложенного, но и всячески старалась при случае сделать его по возможности еще тяжелее. Сеньер должен был доказать, что оставивший пределы его манора виллан принадлежит к аборигенам этого манора, и представить для этого настоящую генеалогию его, которая бы убедила королевских судей, что данный сеньер действительно правомерно стремится восстановить свое право на убежавшего из-под его власти виллана, а не покушается на свободу свободного. Манориальная организация, как видим, не облетчает в этих случаях положения сеньера, а скорее затрудняет, являясь лишним ресурсом в руках представителей интересов государственной власти, вовсе не тождественных интересам феодальных сеньеров. Манор и вообще не является цитаделью для его обладателя, недоступной для вторжения со стороны, защищающей зависимое население сеньера от притязаний и требований со стороны государства, политических, судебных, фискальных и даже военных: шериф графства проверяет десятки свободного поручительства (*frank pledge*), в которые было организовано его зависимое, как раз несвободное население, требует явки представителей в собрания сотни и графства для судебных и других

надобностей, облагает более состоятельные элементы его налогами на государственные надобности и применяет к ним *Assize of Arms*, требуя, чтобы и они, как и свободные, обязались соответственным вооружением, учились владеть им и по первому требованию отправлялись на войну <sup>1)</sup>.

Если и государственная власть, приравняв виллана к серву, в то же время сообщила его несвободе условный, относительный характер и этим предоставляла ему широкие возможности выступать в гражданском обороте, а также по отношению к государству и к его требованиям в качестве свободного право- и дееспособного человека, то в глазах манориального, вотчинного права (*consuetudo manerii*) виллан, как мы это видели в другой связи, является совершенно полноправным человеком и, в частности, имеет в своем распоряжении все процессуальные средства для защиты своих наследственных прав на свое держание от всяких неправомерных притязаний, может, с формального разрешения сеньера и уплатив соответствующую пошлину, продать его, может отдать его под залог в обеспечение долга или передать третьим лицам в условное держание и т. п. И пока барское хозяйство манора опиралось на вилланские хозяйства, вотчинное обычное право, и материальное, и формальное (процессуальное), вполне обеспечивало владельческие интересы виллана, как и другие его интересы, и противоречие между положением виллана с точки зрения вотчинного права и положением его с точки зрения так называемого общего права (*Common Law*) (применявшегося к королевским судам), поскольку это последнее трактовало виллана как бесправного серва, составляющего, как и все его движимое и недвижимое имущество, собственность его лорда, не давало себя знать, оставаясь в сфере чисто теоретических принципов.

Но как только гармония хозяйственных интересов барского двора и деревни, обусловленная этой зависимостью барского хозяйства от хозяйств крестьянских, начинала колебаться, это пока чисто теоретическое противоречие грозило постепенно превратиться в страшную опасность для самых жизненных, кровных интересов всей массы несвободного крестьянства Англии. Поскольку в сословие вилланов-сервов попали прежде свободные, хотя и зависимые (в судебном отношении или в связи с коммендацией) от того или иного сеньера, крестьяне, вилланы в прежнем, первоначальном

---

<sup>1)</sup> См. Pollock and Maitland, *History of the English Law*, I.

смысле этого слова — а такие составляли преобладающее большинство в сословии вилланов-сервов, — разрешение этого противоречия в пользу точки зрения общего права в корне подрывало их хозяйственное положение, ликвидируя их владельческие права на их держания в пользу их сеньера. Если прежде можно было бы говорить о разделении владельческих прав на землю, на которой сидел виллан, между вилланом и его лордом, то теперь лорд становился единоличным собственником ее и владельцем, и таким образом сеньериальные, по существу политические, феодальные права лорда манора в отношении к вилланам, поскольку они были ставшие сервами бывшие крестьяне-собственники, и к их участкам и фактически были превращены в его право частной собственности в отношении к ним, иными словами, отношения власти и зависимости, возникшие на основе публичного права, были окончательно переведены на язык частного права. Права на личность виллана-серва все более и более теряли значение в глазах сеньера с постепенным переходом барского двора к иной хозяйственной системе. Зато тем большее значение приобретали его права на землю виллана и на находившиеся в его пользовании общие угодья.

Ликвидация натуральных повинностей вилланов и замена их денежными платежами в разных районах Англии и даже в разных поместьях началась в разное время, в зависимости от самых различных местных условий, географических, экономических и всяких иных, которые определяли ее темп, ускоряя его в одних местностях и замедляя в других. Мы уже знаем, что эта так называемая к о м м у т а ц и я вовсе не означает ликвидации натурального хозяйства и перехода к денежному, как склонны были думать прежде, еще совсем недавно, когда еще не сомневались в натурально-хозяйственном характере средневековой культуры и в хозяйстве средневекового поместья видели самое яркое и самое типическое его воплощение. И до коммутации поместное хозяйство, как и крестьянское, было, как мы знаем теперь, денежным, и уже Вильгельм Завоеватель имел возможность еще во второй половине одиннадцатого века организовать государственное денежное хозяйство, свою основу имевшее в денежном поземельном налоге, который должны были платить все землевладельцы Англии, занесенные вместе со своими землями, вилланами, коттариями, бордариями и рабами в составленную по его повелению знаменитую Книгу страшного суда (Domesday Book). И в самой этой

В книге мы находим очень много прямых и совершенно ясных указаний, что зависимое население, жившее на этих землях, должно было помимо барщины и взносов натурою платить своим лордам и деньгами, нередко вовсе не малыми, а кое-где и вовсе никаких повинностей не нести, кроме денежных. О коммутации барщины едва ли тут могла быть речь. Но и в тех денежных платежах вилланов и держащих вилланскую землю, которые мы постоянно встречаем и в памятниках последующих столетий, мы уже не можем теперь без дальнейших размышлений видеть указание на коммутацию, раз мы при этом не находим прямых свидетельств о ней. Только представляя себе хозяйственную эволюцию средневековой Англии, как и всей средневековой Европы, как движение от безраздельно господствовавшего раньше натурального хозяйства к денежному, можно всякое упоминание в писцовых и всяких иных вотчинных источниках о денежных платежах зависимого населения относить за счет коммутации; а раз мы знаем, что нельзя указать ни одного момента в истории средневековой Европы, когда бы безраздельно господствовало натуральное хозяйство, хозяйственная форма, представляющая собою скорее чистую абстракцию, чем форму реально существовавшей хозяйственной жизни, то нам ничто не мешает признать, что в очень многих случаях денежные платежи вилланов могли быть их изначальными повинностями.

Частичная и временная коммутация была обычным явлением в жизни манора. По тем или иным причинам лорд манора или его управляющий или приказчик находили нужным в данном году перевести на деньги те или иные барщинные повинности, лежавшие на тех или иных вилланских держаниях, с тем, чтобы опять потребовать их, когда в них окажется надобность, и в отчетах манориальных приказчиков (Ministers Accounts) мы часто встречаем эти случаи продажи служб (Venditio Operum). Очень много таких случаев и в других памятниках, напр., в так называемых Сотенных свитках (Rotuli Hundredorum), писцовой книге, составленной в 1279—1280 гг. по повелению короля Эдуарда I и описывающей в дошедшем до нас фрагменте более 600 населенных мест в разных частях Англии; здесь вилланы иногда в целом округе (напр., в Берфордском графстве) платят за свои виргаты исключительно деньгами (в большинстве случаев по 20 шиллингов) «или барщины соответствующей стоимости» (vel opera ad valorem). И писцовые книги частного происхождения, так называемые *extenta maneriorum*, дошедшие до нас в большом

количестве от этого же тринадцатого столетия (напр. *extenta* Глостерского или Рамзейского монастыря, напечатанные в Глостерском и Рамзейском картуляриях), также дают богатый материал для изучения такой провизорной коммутации: в них против каждой натуральной повинности виллана стоит денежный ее эквивалент. Да и самое составление этих экстент (на основании даваемых под присягой показаний самих вилланов, — обычный в те времена способ собирания подобных и иных сведений, как по требованию государственной власти, так и власти частной), повидимому, прежде всего эту цель и преследовало, если судить по тому значению, какое в писцовых источниках того времени имеет глагол *extendere*, именно: переводить натуральные повинности на деньги. Надо думать, что становившееся все более и более систематическим обозначение натуральных повинностей в деньгах, стоящих против каждой такой повинности, указывает на то, что переход, хоть и временный, от барщины к деньгам становится все более и более обычным и частым явлением в жизни поместья, подготавливая и ускоряя и коммутацию окончательную.

Едва ли можно сомневаться, что одновременно с коммутацией провизорной развивалась и окончательная коммутация, и об успехах ее дает возможность судить лишь массовое изучение этого процесса, как он протекал в самых различных условиях, территориальных и бытовых. Американский ученый Грэй, изучивший огромный материал, относящийся более чем к 900 манорам, пришел к выводу, что процесс коммутации развивался в Англии до конца первой половины XIV столетия (до Черной смерти 1348 г.) очень неравномерно, и что в этом отношении вся Англия может быть разделена на следующие географические районы: 1) север и запад, где почти все натуральные повинности вилланов были переведены на деньги, 2) юг и восток, где приблизительно в половине маноров вилланы продолжали еще отбывать барщины в полном или в значительном еще размере, и 3) Кент, где крепостничество, вилланство давно, как известно, вымерло, а вместе с ним и барщина. Выводы Грэя все же не могут претендовать на точное изображение процесса коммутации, потому что он склонен во всех случаях денежных платежей видеть результат коммутации, тогда как во многих таких случаях эти денежные платежи могли быть явлением изначальным (например, на севере и западе Англии).

На вопрос об общих причинах коммутации ответить также не легко, имея в виду указанное уже разнообразие местных условий,

определявших хозяйственную жизнь поместий. Можно указать на расширение хозяйственных связей в стране, на расширение и развитие внутреннего и внешнего рынка, на рост городов, на общее хозяйственное развитие страны, ускорившее рост ее денежно-хозяйственного оборота. Все это могло расширять коммерческие перспективы барского двора и приводить к ликвидации барщинной системы, если она оказывалась почему-либо несовместимой с осуществлением этих перспектив, и к переходу к вольнонаемному труду, а то и к сдаче господской земли в аренду частями или целиком и со всем хозяйственным инвентарем, а иногда — и нередко — и к пастбищному хозяйству, сулившему особенно большие барыши ввиду высокой ценности английской шерсти, в большом количестве шедшей за границу. Не следует только упускать из вида, что барщинная система вообще, по самой своей природе, вовсе не враждебна интересам даже весьма интенсивного, на самую коммерческую ногу поставленного сельского, земледельческого хозяйства, как о том свидетельствует, напр., рост крепостного права и барщины в восточных провинциях Пруссии в XVI в., и что, с другой стороны, коммутация иногда могла свидетельствовать не о хозяйственном прогрессе, а об упадке. Повторяем: процесс коммутации представляет собою очень сложную и трудную проблему, требующую для своего вполне научного разрешения не тех элементарных приемов, с которыми к ней обыкновенно подходят.

Если после ликвидации барщинной системы сеньер продолжал вести собственное барское хозяйство, нередко даже увеличивая его размеры, то при этом он был вполне уверен, что заменить крепостной труд вилланов свободным, вольнонаемным трудом не будет для него делом трудным и хлопотливым, так как ему было хорошо известно, что в пределах его поместий и за их пределами много находится всякого мелкого люда, всегда ищущего заработка, чтобы восполнить пробелы своего скудного бюджета. Это были нередко держатели мелких клочков пахотной земли и огородов, которые не могли прокормить их и их семей, и им приходилось искать работы или в своей деревне, или в чужой, а то и отправляться в город и там находить применение своим рабочим силам. Они могли устраиваться в качестве захребетников на земле своих же сосельчан, держателей полных или неполных, свободных или вилланских наделов, или наниматься к ним в батраки, не говоря уже о том, что они могли найти работу и на барском дворе, где и до коммутации наемный труд играл, по всем видимостям,

весьма немаловажную, можно сказать, даже очень большую роль. Коммутация только расширяла спрос на наемный труд и увеличивала кадры вольнонаемных сельских рабочих. Составляясь из свободных и несвободных элементов сельского населения тогдашней Англии, этот все расширявшийся в объеме рабочий класс представлял собою пловучую массу, передвигавшуюся по стране, чтобы быть к услугам нанимателей к началу сельскохозяйственных работ, в разных районах и начинавшихся, и оканчивавшихся в разное время.

В связи с коммутацией, но и независимо от нее развивался в поместьях процесс индивидуализации барского хозяйства, освобождения его от связывавших его деревенских хозяйственных распорядков и прежде всего от принудительного севооборота. На этой почве возникали частые столкновения между барской экономией и деревней, интересы которой, несомненно, страдали от перехода сеньера к более сложным системам культуры (напр., к четырехпольной системе). Еще более страдали эти интересы, когда лорд манора, может быть, видя всю трудность борьбы на этой почве, вместо того, чтобы медленно, шаг за шагом отвоевывать у деревни одну вольность за другой (а он знал, как трудно бороться с деревенским обычаем, принудительная сила которого могла охранять и его интересы) и таким путем лишь постепенно выпутываться из той сети, которую сплела чересполосица, более простым и быстрым способом создавал совершенно независимое барское хозяйство, наряду со старым доменом (*vetus dominica*) с его старыми порядками устраивал для себя еще и новый домен (*nova dominica*), новый во всех отношениях, выделяя его из общей пустоши, на которой пасли свой скот как сам он, так и все крестьяне деревни, и приводя для этого соответствующую часть ее в культурное состояние (эта последняя операция на языке этого времени обозначалась выражением: «*assartare et in culturam redigere*» или «*de vastis suis se appruare*»).

Были и другие мотивы у лорда к тому, чтобы сокращать в свою исключительную пользу общее пастбище, помимо желаний устроить свободное от всяких стеснений рациональное собственное хозяйство, и едва ли не более побудительные, и среди них на первом месте следует поставить намерение в возможно более широких размерах использовать все развивавшийся с ростом населения спрос на землю, усиливавшийся еще тем, что кроме людей безземельных и малоземельных, число которых с ростом населения становилось

все больше и больше, земли искали все увеличивавшиеся в числе всякого рода предприниматели, будут ли то разжившиеся на скупке хлеба и всяких других сельскохозяйственных продуктов для надобностей городского рынка крестьяне, нередко из побывавших в манориальных приказчиках вилланов, или разбогатевшие на городских промыслах всякого звания люди. Все они не без основания рассчитывали извлечь немалую выгоду, вложив в землю свои сбережения, арендуя землю у крупных землевладельцев. И светские и духовные магнаты, а также и менее богатые землею сеньеры охотно отдавали всем им до тех пор служившую деревенским пастбищем землю, и тем охотнее, что сдавать они могли ее в денежную и срочную аренду, выгодно отличавшуюся от наследственного держания с фиксированными платежами и всякими другими ограничивавшими сеньера «обычными» условиями; применялась здесь, правда, часто и эта последняя, феодальная арендная форма, но связанные с нею повинности обыкновенно уже были переведены на определенную денежную плату (4 пенса за акр). Прежде, чем сдавать пустошь арендными участками, сеньеры, как об этом нередко сообщают источники, приводят ее в культурное состояние, превращают ее в экзаргу (это называлось тогда *assartare et in culturam redigere*): ведь им было гораздо легче это сделать, превратить пустошь в пахотную землю (*terram arabilem facere*), чем мелкому малосильному человеку, — а таких было очень много среди арендаторов, как и среди держателей, — который не мог располагать хозяйственными средствами, необходимыми для этой операции.

Но и на этом пути сеньерам пришлось встретиться с серьезными осложнениями. Юридическая теория, принятая в судах общего права (*Common Law*) давно, как мы знаем, признала лорда манора собственником всей территории манора, включая и общие угодья, которые она квалифицировала как «пустошь лорда» (*lord's waste*), и право заимки (*right of appurtenance*) в отношении к этой пустоши было его совершенно бесспорным правом. Но манориальное обычное право (*consuetudo manerii*) стояло и в этом вопросе на совершенно другой точке зрения, признавая за каждым держателем, как свободным, так и вилланом, право выгонять свой скот на общее пастбище, считая каждого из них имеющим совершенно бесспорное пастбищное право на каждую точку деревенской пустоши («*ubique*»). Естественно, что все учащавшиеся случаи осуществления сеньерами признанного за ними общим правом (*Common Law*) права заимки

(right of approver) должны были встретить протест и отпор со стороны держателей. Протест этот, поскольку он исходил от свободных держателей, принимал форму исков, в частности, иска о новом захвате (*assisa novae disseisinae*) перед королевскими судьями. Вилланы не имели хода в королевские суды, но в этом случае, как и в других подобных, их интересы совпадали с интересами их соседей, свободных держателей, и, выступая с исками против сеньера от своего имени, эти последние защищали и их интересы.

Протесты эти и эти бесконечные иски вызывали жалобы со стороны сеньеров, и более крупные из них имели возможность довести свои жалобы до самой высокой инстанции, и в 20-й год царствования короля Генриха III (1236 г.) был издан так называемый Мертонский статут, который прямо ссылается на мотив, побудивший правительственную власть вмешаться в это дело. Многие магнаты Англии жаловались на то, что их военные и невоенные свободные держатели (*milites et libere tenentes*), державшие небольшие держания в их манорах, препятствуют им «извлекать выгоду из остальной части каждого из их маноров, как то: из пустошей, лесов и пастбищ (*commodum suum facere... de residuo maneriorum suorum sicut in vastis, boscis et pasturis*), хотя бы у них (держателей) было и достаточно пастбища при их держаниях (*quum ipsi feofati habeant sufficientem pasturam quantum pertinet ad tenementa sua*). Статут постановляет, что если судебное расследование выяснило, что предъявлявшие иск о новом захвате (*assisa novae disseisine*) свободные держатели имеют достаточно пастбище со свободным входом и выходом к нему («*sufficientem habent pasturam cum libero et sufficienti ingressu et egressu*»), то в таком случае лорд вправе извлекать выгоду из остального («*tunc licite faciant alii commodum suum de residuo*»).

После этого высоко-авторитетного разъяснения захват пустошей лордами маноров принимает все более и более широкие размеры. Нередко под обработку поступали одновременно сотни акров, а иногда и тысячи. Так, граф Сэррей с разрешения короля Эдуарда III выделил в свою частную собственность столько пустующей земли, относившейся к пяти его манорам, чтобы сдача ее в денежное держание и в денежную аренду могла дать в год 200 фун. стерл. Обычной в то время арендной платой было 4 пенса за акр; следовательно, граф Сэррей получил в свое полное распоряжение около 12 000 акров.

Аренда была явлением едва ли не исконным в жизни манора. Нередко сдавался в аренду весь барский двор со всею домениальной землей и со всем живым и мертвым инвентарем и даже запасами хлеба. Арендатор (он назывался *firmarius*’ом, т. е. откупщиком) вступал во все права лорда манора и обязывался уплачивать лорду определенную ренту продуктами или деньгами, ничего не меняя в распорядках поместья, в системе барщин и оброков и всех других повинностей его зависимого населения. Иногда в роли такого откупщика выступала вся деревня. Обычным явлением была и сдача в аренду отдельных участков. Сдавались они обыкновенно *ad voluntatem domini*, на волю лорда, с правом лорда во всякий момент взять участок назад, и кроме этого последнего обстоятельства ничем не отличались от вилланских держаний, наследственных и обеспеченных со стороны манориального обычного права, неся все те же повинности, что и эти последние. Рядом с этой совершенно необеспеченной арендой существовала аренда пожизненная (*ad terminum vitae, ad totam vitam*) с более высокой арендной платой; еще более обеспечивала арендатора выдававшаяся ему при этом нередко грамота (*scriptum, carta*). В связи с развитием арендной практики развивается и арендная форма, и уже во второй половине XIII столетия мы наблюдаем случаи сдачи земли лордами маноров на определенное число лет (*ad terminum annorum*); о степени ее распространенности в это время можно судить между прочим и по тому, что среди вопросов, на которые должны были отвечать при составлении Сотенных свитков (*Rotuli Hundredorum*) 1279—80 года присяжные в Кэمبرиджском графстве, был и такой: «кто держит пожизненно и кто на срок в несколько лет (*qui tenet ad terminum vitae vel annorum*)? Учащаются эти случаи аренды на срок с XIV в., особенно со второй его половины. Аренда эта — денежная, обыкновенно по 4 пенса за акр, и чем дальше, тем все больше и больше она делается краткосрочной.

Насколько велика была потребность в земле среди деревенского населения тогдашней Англии, об этом свидетельствует также и развитие междукрестьянской аренды, денежной и краткосрочной. Нельзя представлять себе средневековую деревню однородной по составу своего населения и в том смысле, что все элементы этого последнего находились в зависимости от того или иного сеньера, являясь его непосредственными держателями (*tenentes in capite*). В частности, нельзя сказать этого и об английской деревне: и здесь наряду со

свободными и несвободными держателями лорда манора с давних пор существовали крестьяне, сидевшие на земле этих непосредственных держателей, носившие нередко название «anleperemen», «undersettles», «levingmen», соответствующее нашим захребетникам, старо-малороссийским «подсуседкам». Все это был все увеличивающийся с ростом населения мелкий безземельный люд, для которого одним из выходов было снятие клочка земли у своего же брата, надельного крестьянина, на срок жизни или в наследственное держание за натуральные или денежные повинности. Таких мелких держателей (*parvi tenentes*) мы очень много встречаем в Сотенных свитках (особенно в Бедфордшире), и там они нас поражают иногда малыми размерами своих держаний (напр., некая Юлиана de Pond держала от приора госпитальеров в Suldriope вместе со своими мелкими держателями (*cum suis parvis tenentibus*) всего лишь один акр.

К тому же времени, т. е. ко второй половине XIII века, относится и развитие междукрестьянской аренды, о чем красноречиво свидетельствует масса записей этого рода арендных сделок в протоколах манориальных курий (*Court Rolls*), уже начиная с первых лет царствования Эдуарда I, вступившего на престол в 1272 г. Насколько распространенным было уже тогда это явление, можно судить и по такому, напр., факту. В заседании манориальной курии деревень Waltham и Estre в Эссексе в 1286 г. была избрана комиссия, которой было поручено произвести расследование о том, кто из держащих землю по манориальным обычаям (*de custumariis*) купил или продал свободную землю или вилланскую или отдал ее в аренду (*vel tradidit ad firmam*) и кому продал или отдал. Протоколы манориальных курий знакомят нас и с формальной стороной междукрестьянской аренды. Крестьянин, чаще всего виллан, желая сдать обыкновенно виллану же часть своего вилланского держания со всеми лежащими на ней повинностями, предварительно передает эту землю в руки лорда (*in manus domini*) в заседании манориальной курии (лорда заменял обыкновенно при этом его сенешал), и арендатор получает ее уже из рук лорда (его сенешала), уплачивая при этом ему соответствующую пошлину (*finis*) и принося ему присягу на верность, обязуясь нести в течение того времени, на какое ему передана лордом земля, все связанные с нею повинности в пользу лорда. Что при этом арендатор должен уплачивать арендную плату виллану, сдавшему ему землю, об этом только впоследствии стали заносить в протокол курии.

Тогда же произошло и упрощение описанной процедуры сдачи земли одним вилланом другому. Вот типический случай применения упрощенной процедуры. В курию в Plessetis в Эссексе явились в 49-й год царствования Эдуарда III (1371 г.) виллан Джон Portier и его жена Матильда и с разрешения лорда (*per licenciam domini*) сдали (*dimiserunt*) виллану Джону *atte Tye* один акр вилланской земли (*unam acram terre native*) с тем, чтобы он держал его до конца срока следующих девяти лет (*tenendum eidem Johanni atte Tye usque ad finem termini novem annorum proxime sequentium et plenarie completorum*), уплачивая за него ежегодно Джону и Матильде по семи пенсов к празднику св. Михаила Архангела (*reddendo inde annuatim predictis Johanni Portier et Matildi septem denarios ad festum sancti Michaelis Archangeli*) и отбывая лорду обычные повинности (*et faciendo domino servicia et consuetudines*). За это Джон *atte Tye* обязан уплатить лорду соответствующую пошлину, в чем поручился за него Джон Blacche (*et dat domino de fine pro termino illo habendo ut patet per plegium Johannis Blacche*).

То, что арендные сделки между крестьянами совершались публично в сенъериальной курии (иначе *halimote'e*, сельском сходе) и заносились в протокол курии, сообщало им вполне юридический с точки зрения манориального права характер и обеспечивало неприкосновенность прав арендатора на взятую им в аренду землю, как со стороны лица, у которого он взял в аренду, так и со стороны всех третьих лиц, сменявших это лицо до истечения срока аренды, и ссылка на протокол курии (*totulus curiae*) являлась достаточным аргументом при отстаивании арендатором-вилланом своих прав на арендуемую им землю (права эти с течением времени стали обозначать ставшим техническим словом *terminus*, первоначально означавшим срок), как и при отстаивании вилланом своих наследственных прав на свое вилланское держание; отсюда часто встречающееся в манориальных протоколах выражение: *dimittere per totulum curiae* (сдавать по протоколу курии), приобретающие технический смысл.

Нечего и говорить, что междукрестьянская аренда была крайне мелкая аренда: десять, пятнадцать акров составляли редкое исключение; обычный размер арендуемых участков был гораздо меньше: один, два, полтора, три акра, а еще чаще — отдельные части акра, что делало возможным для одного виллана (или свободного держателя) иметь нескольких арендаторов.

И эта возможность вовсе не оставалась одной лишь возможностью. Протоколы манориальных курий позволяют нам разглядеть в жизни английской деревни XIV в. явление, резко расходящееся с обычным представлением о средневековой деревне, об ее хозяйственной связанности и неподвижности. Перед нами проходит ряд деревенских дельцов, превративших сдачу земли в аренду своим нуждавшимся в земле сосельчанам в чистейшую спекуляцию. Некоторые из этих предприимчивых вилланов не порывали с крестьянским делом, но другие совсем отошли от него, совсем освободили себя от земледельческого труда и жили (и богатели) исключительно на доходы со своих арендных операций, которые они вели, далеко не всегда проявляя щепетильность в отношении и к праву, и к морали, едва ли, впрочем, ограничивая свою приобретательскую деятельность одним лишь этим видом барышничества. Те и другие не только сдавали в аренду мелкими участками свои вилланские держания, но — и это самое существенное — сами снимали землю у сеньера и передавали ее, также по мелочам, третьим лицам.

Это мелкое маклачество с землей было для них только началом иногда очень большой карьеры, завершавшейся иногда взятием на откуп, как тогда говорили (*ad firmam*), целого манора, которое делало их здесь полными хозяевами, отдавая в их распоряжение и весь живой и мертвый инвентарь (*staurum vivum et mortuum*), и запасы зерна, и все платежи и повинности несвободных и свободных держателей манора. Не трудно себе представить, как почувствовало себя зависимое население манора, попав в загребущие и никому спуску не дающие руки такого хозяина, едва ли особенно стеснявшегося и с монариальным инвентарем, как об этом свидетельствуют попадающиеся в протоколах манориальных курий случаи привлечения к судебной ответственности зарвавшихся стяжателей этого типа, что произошло, напр., с неким вилланом Джоном Власше, одновременно со своим братом Уильямом всеми правдами и неправдами, прежде всего при посредстве земельной спекуляции, умножавшим свои сбережения и, наконец, дорвавшимся до самого лакомого куска. На шестом году царствования короля Ричарда II (1382 г.) по распоряжению сенешала лорда двенадцати присяжным деревни Уолтэм (*Waltham*) в Эссекском графстве было поручено произвести расследование об ущербах (*de vastis et damnis*), которые потерпел манор Уолтэм и другие (*vel alii*) за время, когда Джон Власше держал его на откупу (*fuit firmarius ibidem*).

Одновременно с развитием междукрестьянской аренды наблюдается и процесс дробления крестьянских держаний и их уплотнения. Протоколы манориальных курий и для освещения этой стороны манориальной эволюции дают нам богатый конкретный материал, начиная с первой половины XIV века, когда нас начинает поражать количество случаев приобретения (покупки) земли вилланами друг у друга и у свободных держателей. В прежнее время, когда барское хозяйство опиралось в сильной мере на крестьянские хозяйства, манориальная администрация должна была очень внимательно следить за тем, чтобы держатель вилланского надела как-нибудь не ослабил и не подорвал своего хозяйства, и ему запрещалось продавать настолько значительную часть своего надела, чтобы таким образом он не оказался не в силах нести лежавшие на нем натуральные повинности. С переводом этих повинностей на деньги для лорда было уже безразлично, сколько у кого земли, и мобилизация вилланской земли уже не встречала с его стороны препятствий и сдержек. Вилланы могли теперь свободно приобретать землю друг у друга. Отпало и препятствие приобретать ее и у свободных держателей. Мало того. Виллану не возбранялось уже приобретать ее и за пределами своего манора и его юрисдикции, на территории и в пределах юрисдикции чужого сеньера, чего так прежде боялись.

Если виллан приобретал землю у виллана или у свободного держателя в пределах своего манора, что он делал обыкновенно посредством грамоты (*per cartam*), то он после этого являлся в манориальную курию, предъявлял (*ostendit*) здесь свою грамоту и передавал ее сеньеру или заменявшему его сенешалу, вносил сеньеру пошлину за ввод во владение приобретенной им землей (*finis pro ingressu*), приносил ему присягу на верность и таким образом становился непосредственным держателем сеньера по этой земле, обязанным отбывать все лежавшие на ней в отношении к лорду повинности. Грамота эта очень часто, а может быть и всегда, возвращалась виллану на хранение, чтобы служить гарантией приобретенного на землю права (*ad custodiendum pro vacancia sua*). Если виллан приобретал свободную землю (а не вилланскую, — мы имеем сведения только о таких случаях) за пределами манора, за пределами власти своего лорда, он лишь предъявлял в манориальной курии своего лорда грамоту, по которой он приобрел эту землю, чтобы этим засвидетельствовать свою зависимость от него (*pro recognitione*, как тогда говорили), и для этого же принося ему при-

сягу на верность и обязываясь ежегодно уплачивать ему ничтожный по размеру дополнительный в отношении к его денежной ренте за свое вилланское держание взнос, так назыв. *incrementum redditus*, чтобы этим показать, что, становясь, благодаря приобретению земли на территории другого лорда, держателем этого лорда, он от этого не перестает быть вилланом своего лорда. В отчетах манориальных приказчиков (в так назыв. *Ministers' Accounts*) мы находим в эту эпоху целые рубрики, посвященные вилланам, держащим свободную землю за пределами власти своего лорда (*de redditu assiso libere tenentium natiuorum cotariorum et tenentium ad voluntatem et quorundam natiuorum pro licencia tenendi terram liberam extra dominium termino martini*).

## II

В таком направлении развивался процесс эволюции английского средневекового поместья, все более и более утрачивавшего характерные черты своего хозяйственного строя, когда над Англией, как и над всей средневековой Европой, разразилась катастрофа Черной смерти. Чума проникла в Англию к началу августа 1348 года и прекратилась к Михайлову дню (29 сентября) следующего 1349 года и в течение этих четырнадцати месяцев уменьшила население едва ли меньше, чем на половину, особенно много жертв вырвав из среды простого народа и из рядов духовенства. «Тогда прекратились доходы, тогда земля вследствие недостатка в колонах осталась невозделанной». Так формулирует хозяйственные последствия Великой чумы один из современных ей летописцев, и эта краткая формула очень верно передает существо вызванного чумою хозяйственного кризиса, как он дал себя знать землевладельческому классу, и находит себе полное подтверждение в протоколах манориальных курий и в отчетах манориальных приказчиков. Доходы, действительно, если и не везде вовсе прекратились, то у очень многих землевладельцев, особенно менее крупных, сильно сократились, иногда до самого малого минимума. Уменьшение числа держателей соответственно сократило количество поступавших с держателей и арендаторов всякого рода и наименования платежей, а находившаяся в их руках земля возвращалась в руки сеньера, который и свое барское поле теперь не имел средств обработать, тем более, что и рабочих теперь трудно было найти, так как очень много их погибло от чумы, а те, кто уцелел, сильно

подняли плату. Земля держателей и арендаторов возвращалась в руки сеньера часто не потому только, что те, кто держал ее и арендовал, умерли, но и потому, что они бросали ее, не будучи в состоянии справиться с ней благодаря ослаблению своих хозяйственных сил (чума унесла многих из членов их семей, а случившийся одновременно падеж скота нанес сильный урон и их инвентарю); к тому же рабочий кризис и повышение заработной платы открывали перед ними новые перспективы.

Чтобы удержать у себя своих уцелевших держателей и арендаторов, землевладельцы принуждены были уменьшить их платежи, а иногда на некоторое время и вовсе ничего не брать с них, а барщину заменить легким оброком. «Магнаты королевства и другие, менее значительные сеньеры, имевшие держателей, — читаем мы в хронике лестерского каноника Генри Найтона, — решили не взимать с них части денежной платы, опасаясь, чтобы держатели не ушли вследствие недостатка в рабочих и общей дороговизны. Одни сеньеры отказались от половины денежной платы, другие от большего, а другие от меньшего, одни на два года, другие на три, а иные на год в зависимости от того, как они с ними согласились. Точно так же те, кто в течение целого года получал в определенные дни труд от своих держателей, как это имеет место в отношении к вилланам, принуждены были отказаться от него и или совершенно ничего не требовать с вилланов, или же посадить их на легкий оброк, чтобы дома не приходили в полное, непоправимое разрушение, и земли не оставались совершенно без обработки».

Само собою разумеется, что Черная смерть не во всех поместьях обрушилась на их население с одинаковой силой и не везде вызвала одни и те же хозяйственные последствия, в более крупных магнатских владениях не оставив прочных следов, вызвав лишь временное потрясение их хозяйственной жизни, не помешавшее ей скоро вернуться в нормальную колею, в манорах средней руки произведя ряд глубоких перемен в их хозяйственной организации или резко ускорив уже и раньше начавшиеся изменения, не говоря уже о том, что этим манорам было гораздо труднее и сдать выморочные держания новым держателям-арендаторам, и найти рабочих для своего собственного хозяйства.

Во всяком случае рабочие всем были нужны, как магнатам королевства, духовным и светским, владельцам десятков, а иногда и сотен вотчин, так и лордам одного-двух маноров, не говоря уже

«О тех, кто «жил возделыванием своей земли, но не имел сеньерий и вилланов, которые служили бы им (*vivent par geunerie de lour Terres... et que n'ont Seigneries ne Villeins pur eux servir*), т. е. о весьма многочисленном классе арендаторов и держателей, стоявших между сеньерами и настоящим крестьянством, втягивая в свой состав более зажиточные элементы и этого последнего, как свободных, так и вилланов. Без наемных рабочих не могло тогда обходиться никакое не чисто крестьянское хозяйство, и сильное вздорожание рабочих рук, вызванное чумою, подорвавшей хозяйственное равновесие и потрясшей хозяйственный бюджет огромного большинства поместий и арендных владений, должно было дать себя знать, хотя и не с одинаковой силой, во всех их. Если крупные магнаты могли сравнительно легко справиться с наступившим рабочим кризисом, не затрудняясь давать сильно поднявшим цену на свой труд рабочим ту плату, какую они с них требовали, то для других землевладельцев выйти из затруднений, созданных дороговизной рабочих рук, собственными средствами было невозможно. Потребовалось государственное вмешательство, которое только одно, как думали тогда, могло сломить «наглую и корыстную волю» (*elatum et cupidam voluntatem*) рабочих, успешно справиться с их «коварством и наглостью, низостью и жадностью», заставить их брать прежнюю плату и сделать их доступными для всех нанимателей.

18 июня 1349 г. шерифам всех графств королевства Англии был разослан королевский ордоннанс с требованием оповестить его по всем городам и торговым селам, портам и другим местам, где они найдут это необходимым, в пределах иммунитетов и вне их. Это был «Ордоннанс, касающийся рабочих и слуг» (*An Ordinance concerning and Servants*). Вот о чем шерифы должны были оповещать народ во всех названных местах.

Во время чумы погибла значительная часть народа, и больше всего рабочих и слуг (*et maxime operariorum et servientium*). И вот, многие, видя затруднительное положение господ и малочисленность слуг (*videntes necessitatem dominorum et paucitatem servientium*), не желают служить иначе, как за чрезмерное вознаграждение (*nisi salaria recipiant excessiva*), а иные предпочитают вести совсем праздную жизнь и просить милостыню вместо того, чтобы трудом добывать средства к жизни. Принимая во внимание те серьезные затруднения, которые может вызвать недостаток в особенности в пахарях и других сельских рабочих (*cultorum et ope-*

gariorum hujusmodi), король (Эдуард III) имел об этом рассуждение с прелатами и знатью и другими сведущими людьми и по их единодушному совету постановляет:

«Чтобы каждый мужчина и каждая женщина королевства нашего Англии, какого бы состояния они ни были, свободного или крепостного (*cujuscunque condicionis fuerit liberae vel servilis*), здоровые и не старше шестидесяти лет, кто не живет торговлей и не занимается каким-нибудь ремеслом (*non vivens de mercatura, nec certum exercens artificium*), не имеет собственных средств к жизни (*nec habens de suo proprio unde vivere*) или собственной земли, возделыванием которой был бы занят (*vel terram propriam circa culturam cujus se poterit occupare*), и не находится на службе у другого (*et alteri non serviens*), если его или ее позовут служить соответственно их состоянию (*si de serviendo in servicio congruo considerato statu suo fuerit requisitus*), обязаны были поступать на службу к тому, кто их зовет, и притом за такую плату деньгами или натурой (*vadia, liberaciones, mercedes seu salaria*), какую в местностях, где они обязаны служить, обыкновенно давали в год царствования нашего в Англии двадцатый или в последние пять или шесть лет. При этом сеньеры должны иметь преимущественное перед другими право удерживать у себя на службе вилланов или держащих у них вилланскую землю (*provisio quod domini preferantur allis in nativis seu terram suam nativam tenentibus sic in servicio suo retinendis*), но так, однако, чтобы эти сеньеры удерживали лишь столько, сколько им было необходимо, и не больше (*ita tamen quod hujusmodi domini sic retineant tot quot sibi fuerint necessarii et non plures*)».

За отказ наниматься, удостоверенный двумя заслуживающими доверия лицами перед шерифом графства, бэйлиффом сотни или деревенским констеблем (*constabulario villae*), такой человек немедленно, по распоряжению этих должностных лиц, подвергается аресту и отправляется в ближайшую тюрьму, откуда может быть освобожден, лишь представив ручательство, что будет служить, как сказано выше.

Жнецы, косцы и всякие другие рабочие и слуги (*aut alius operarius vel serviens*) всякого состояния подвергаются тюремному заключению и за уход без разумной причины и без позволения хозяина раньше условленного в договоре срока, равно как и те, кто посмеет (*presumat*) нанять такого рабочего и держать его у себя.

+ Рабочий не смеет требовать, а наниматель не смеет ему давать плату выше обычной под страхом уплаты вдвое тому, кто терпит от этого ущерб, или тому, кто вздумает преследовать ослушника судебным порядком в соответствующем судебном месте. Если виновным оказался лорд манора или его министриалы, то он должен будет уплатить в пользу истца втрое больше того, что он или его министриалы уплатили или пообещали уплатить рабочему или слуге. Все заключенные до издания этого ордоннанса контракты с рабочими, если они противоречат ему, объявляются недействительными.

Тюрьма ожидает и ремесленников, если они будут брать за свой труд и мастерство (*pro labore et artificio suo*) больше того, что им платили в данной местности в двадцатый год настоящего царствования и раньше (перечислены: «седельные мастера, скорняки, кожевники, сапожники, портные, кузнецы, плотники, каменщики, кровельщики черепицей, лодочные и корабельные мастера, возчики и всякие иные ремесленники и рабочие»).

Так как в связи с чумой сильно вздорожали и съестные припасы, то ордоннанс предписывает мясникам, продавцам рыбы, содержателям харчевен, пивоварам, хлебникам, торговцам живностью и всем другим продавцам жизненных припасов продавать свой товар «по разумной цене» (*pro precio rationabili*), сообразуясь с ценой на эти предметы в ближайших местностях и пользуясь умеренным барышом, а не чрезмерным (*moderatum lucrum, non excessivum*), сообразно с расстоянием от тех мест, откуда эти припасы привозятся. За этим должны наблюдать мэр и городские бэйлиффы и присуждать нарушивших это постановление торговцев к штрафу в пользу потерпевших или возбудивших против них судебное преследование.

Ордоннанс был разослан и епископам с просьбой распорядиться, чтобы священники читали его по всем церквам и спасительными увещаниями убеждали своих прихожан ввиду настоящей нужды (*sicut instans necessitas exigit*) не уклоняться от труда и исполнять выслушанные ими предписания. И еще об одном просил король епископов: обуздать (*compescatis*) живущих на жаловании капелланов (*capellanos stipendiarios*) их диоцезов, которые тоже, говорят, не хотят уже служить иначе, как за чрезмерную плату (*sine excessivo... salario*), заставить их угрозой временного лишения священнических прав и страхом отлучения брать обычное вознаграждение за свой труд.

Ордоннанс не оправдал возлагавшихся на него надежд. По словам знакомого уже нам лестерского каноника «рабочие не обращали внимания на приказ короля и нагло шли наперекор ему, а те, кто нуждался в них, должны были давать им, сколько они ни потребуют: им не предоставлялось ничего другого, как или потерять все свои плоды и все свои нивы, или исполнить наглую и жадную волю рабочих». То же мы слышим и от самого короля, который в приказах, назначавших определенных лиц членами специальных судебных комиссий для расследования дел о нарушении ордоннанса, жаловался на то, что рабочие, ремесленники, слуги и продавцы с'естных припасов ни во что не ставят ни самого короля, ни его ордоннанс, нанося ущерб его народу и явно его утесняя. На то же жалуются и общины, явившиеся в первый после чумы парламент, созванный в феврале 1351 г. в Уэстминстере. Чтобы «обуздать злонамеренность этих слуг (*pur refreindre la malice des ditz servanz*)», парламентом был издан Статут о рабочих (*Statutum de Servientibus, Le statut d'artificers et servauntz*) 25 года царствования Эдуарда III.

Предписания статута гораздо детальнее по сравнению с соответствующими статьями ордоннанса. В статуте указаны размеры платы и ее характер в каждой отрасли труда, и для этого более отчетливо разграничены различные категории рабочих. Прежде всего названы: возчик (*charetter*, лат. *carectarius*), пахарь (*caruer*, лат. *carucarius*), погонщик при плуге (*chaseour des carues*), пастух для овец (*bercher*), свинопас (*porcher*), скотница (*deye, daya*) и все другие слуги (*servantz*, лат. *servientes*), составлявшие постоянный элемент барского двора, нанимавшиеся на год или на другие более или менее продолжительные сроки. От них статут требует, чтобы они нанимались на круглый год или на другие обычные сроки, но никак не по денно, и брали плату (натурой и деньгами) (*liveresons et lowers*), какая была в обычае в 20-й год настоящего царствования и четырьмя годами раньше; где платят пшеницей, им позволяется брать деньгами: вместо бушеля пшеницы — десять пенсов. Следующая категория — рабочие в собственном смысле (*overours*, лат. *operarii, laboratores*) и именно сельскохозяйственные рабочие, которых нанимали для полевых работ, преимущественно во время уборки хлеба и сена, а также для молотбы уже собранного хлеба. За выпалывание сорных трав и за уборку сена им полагается 1 пенни в день; косцу лугового сена за 5 скошенных акров или за день—

5 пенсов; жнецу в первую неделю августа—по 2 пенса в день, остальные три недели—по три; но где меньше платили, там и теперь давать столько же; молотильщику за молотбу квартера пшеницы или ржи — не больше 2½ пенсов; там, где жали за определенный сноп и молотили за определенный бушель, а не за деньги, там и теперь этот порядок должен оставаться в силе, и размер платы не может быть повышен сравнительно с тем, что платили в двадцатый год настоящего царствования и раньше. Никакой еды или другого угощения рабочий не может требовать, а хозяин не может ему давать (*saunz mangier ou autre curtoysie demander, doner ou prendre*).

Наем рабочих должен происходить публично, на рыночной площади, куда и должны являться рабочие с орудиями своего труда. Два раза в год рабочие должны давать клятву перед лордами маноров или их сенешалами или перед бэйлифами сотен или перед деревенскими констэблями, что будут соблюдать эти постановления и не будут уходить летом на заработки из деревни, где они живут зимою, если и здесь они могут найти работу за установленную статутом плату; только жители графств Стаффордского и Ланкастерского, а также Крэвена (*Craven*) и местностей, пограничных с Уэлзом и Шотландией, «и других мест» могут попрежнему отправляться в августе на заработки в другие графства. За отказ дать клятву и за нарушение ее рабочие по приказанию лордов маноров или их сенешалов, или бэйлиффов сотен, или деревенских констэблей на три дня и более забиваются в колодки (*soient mys en serpes*) или же препровождаются в ближайшую тюрьму, где и сидят, пока не оправдаются; и виду этого в каждой деревне не позже праздника Пятидесятницы должны быть заведены колодки.

И в отношении к ремесленникам и продавцам с'естных припасов статут частью воспроизводит, частью дополняет и уточняет соответствующие постановления ордоннанса.

Всем нарушителям статута грозит одновременно и штраф в пользу короля, и тюрьма, где каждый должен отсидеть в первый раз сорок дней, во второй раз — четверть года, в третий — полгода и т. д.; взятые ими за свой труд или за свои изделия излишки (*lexcesse*) они должны возвратить. Статут грозит тяжелыми карами и тем, кто подстрекает и поощряет слуг и рабочих к нарушению его постановлений. Стремится он пресечь и бегство рабочих и слуг в поисках лучших условий из одного графства в другое и для этого предписывает шерифам задерживать бежавших в их графства рабочих и слуг и препровождать в главную тюрьму графства, где

они и должны содержаться до ближайшей сессии специальных судебных комиссий, к которым теперь перешла юрисдикция по делам о нарушении ордоннанса и статута. Комиссии эти должны были собираться на сессии во всех графствах Англии по крайней мере четыре раза в год. Сенешалы лордов-маноров, бэйлиффы сотен и деревенские констэбли должны были представлять им заготовленные к их приезду списки обвиняемых в нарушении статута слуг, рабочих, мастеровых, ремесленников, а также держателей харчевен, постоялых дворов и продавцов с'естных припасов. Они были подчинены этим чрезвычайным судьям и поставлены под их контроль и под их юрисдикцию и должны были дать им клятву, что будут добросовестно исполнять свои обязанности по расследованию всех нарушений статута и сообщать им имена нарушителей, задерживать их по требованию судей и приводить в суд; и, прежде чем приступить к разбору дел, судьи производили расследование о том, действительно ли эти местные органы добросовестно выполняют свои обязанности, не позволяют ли они себе не вносить в списки кого-нибудь за подарки, благодаря родству или из потворства и, найдя их виновными в этом, присуждают их к штрафу.

Ни ордоннанс, ни статут не разрешили поставленной себе задачи, и правительству долго еще приходилось выслушивать неумолкавшие жалобы общин на безуспешность его мероприятий и требования новых репрессий. В парламенте 28 года царствования Эдуарда III (1354 г.) общины жаловались, между прочим, на то, что рабочие берут у сеньеров по бовате (земля, которую можно обработать с помощью одного быка) и по полбоваты земли, вовсе не достаточной для того, чтобы можно было жить с нее или быть занятой ее обработкой (*quele n'est pas sufficiencie pur eux dount vivre, ou estre occupez*), и делают они это только с той целью, чтобы иметь предлог не наниматься на обычные сроки и остающееся свободное время употреблять на поденную работу, получая за нее плату деньгами. «Общины просили, чтобы статут о рабочих выразился на этот счет определеннее, но король отвечал, что он и без того достаточно определен в этом пункте, и только нужно исполнять его надлежащим образом. Этот ответ короля имел огромное значение, давая расширительное толкование тому определению рабочего, которое мы находим в ордоннансе 1349 года и которое нам уже известно. Оно считает рабочим того, «кто не имеет собственных средств к жизни или собственной земли, возделыванием которой он был бы занят (*nec habens de suo proprio unde vivere*

vel terram propriam circa culturam cuius se poterit occupare)», т. е. человека безземельного. Ответ короля подводит под действие ордоннанса и статута и людей, сидящих на земле, и открывает широкое поле произволу в решении в каждом данном случае вопроса о достаточности или недостаточности земельного участка, не говоря уже о том, что он подводит под действие рабочих законов и под угрозу их едва ли не все мелкое крестьянство Англии, составлявшее большинство ее сельского населения, и судебная практика, как мы знаем из дошедших до нас судебных протоколов, вполне усвоила эту расширительную точку зрения.

Самым обычным для рабочих и мастеровых способом уклонения от закона было бегство. С ним боролся уже, как мы видели, статут 25 года и грозил беглецам тюрьмой. Мера эта не оказалась действительной. Бегство рабочих стало хроническим бедствием нанимателей, и собравшийся в 1361 г. (34 Edw. III) парламент, подтвердивший почти все статьи статута 25 г. и дополнивший их рядом новых постановлений, решил бороться с бегством рабочих и мастеровых с помощью более суровых мер. Если рабочий или мастеровой убежит от своего нанимателя в другую деревню или в другое графство, и шерифу не удастся по приказу рабочих судей задержать его и посадить в тюрьму, то такой рабочий или мастеровой объявляются судьями находящимся вне закона (*il soit utlaie*), а если его после этого удастся задержать, то, по приговору судей, ему выжигают на лбу раскаленным железом букву F, чтобы клеймить его недобросовестность, фальшивость, как тогда говорили («*en signe de Fauxine*»). Не может беглец укрыться и под защитой городских вольностей: и там достанет его неумолимая рука закона, грозя мэру и бэйлифам города тяжелыми штрафами, если бы те вздумали на эти вольности осылаться.

Но для борьбы с законом у рабочих и мастеровых было в распоряжении не одно бегство. У них были и более усовершенствованные средства, была организация, и парламент 1361 г. и на нее направляет свои удары, постановляя, что всякого рода союзы (тайные) между каменщиками и между плотниками, взаимные клятвы, собрания, издававшиеся их тайными бюро распоряжения, что все это объявляется теперь не существующим в настоящем и в будущем («*et que totes alliances et covignes de Maceons et Carpenters, et congregacions Chapitres ordinances et serementz entre eux faites ou affaires, soient desore anientiz et anallez de tout*»); каждому каменщику и каждому плотнику предписывается

во всем слушаться только своего нанимателя и исполнять всякую работу, какая с него следует. Запрещая тайные рабочие союзы, парламент допускает образование артелей среди рабочих, ничего не имея против того, чтобы они целыми артелями нанимались к сеньерам и другим («mes bien lise a chescum Seignur et autre de bargainer et covenancer de lour overaignes en grosse ou tiels laborers et artificers quant leur pletta»), лишь бы только они добросовестно (bien et loialment) выполняли свои обязательства. Парламент определенно говорит только о тайных организациях среди каменщиков и плотников. О существовании тайных организаций среди сельскохозяйственных рабочих мы узнаем из другого источника. О них сообщают нам судебные протоколы, повествующие о косцах (falcatores bladorum), которые «связали себя взаимным договором (invicem confederati)» или «дали друг другу клятву» (adinvicem sunt jurati), что не будут обращать внимание на статут и ни на кого («quod non volunt justiciari per statutum nec per aliquem») и будут брать за свой труд не меньше определенной суммы, причем в одном случае сумма эта доходит до 20 пенсов в день с завтраком, и что, что особенно любопытно, вступившие в тайное соглашение рабочие решили брать ее специально с блюстителей закона (si debeant deservire cum aliquo homine de lege), а об одном из них мы узнаем, что в течение двух лет, 37-го и 38-го годов царствования Эдуарда III (1364 и 1365 г.), он брал во время косьбы по шести и по восьми пенсов в день, и, кроме того, «нередко в течение этого времени собирал различные собрания разных рабочих в разных местах этого графства (Сэффолькского) и убеждал их и уговаривал брать за свой труд не иначе, как шесть или восемь пенсов в день со столом, или двойную плату, и сам иначе не хотел поступать»<sup>1)</sup>.

Но не одни рабочие повинны в том, что ордоннанс и статут остаются мертвой буквой. В парламенте 1372 года общины указывают как на причину бегства рабочих и слуг на то, что им дают чрезмерную плату там, куда они уходят, покидая своих хозяев, и «надлежащего наказания не несут те, кто их принимает к себе», благодаря тому, что мировые судьи, к этому времени уже соединившие в своих руках и функции рабочих судей, не получают от короля жалованья и поэтому не исполняют с должным старанием своих обязанностей во вред королю и народу (en desavan-

<sup>1)</sup> Record Office. Ancient Indictments, №№ 65, 92.

tage de Roi et del Poeple). Само собой разумеется, что чрезмерной платой могли привлечь рабочих и слуг только крупные светские и духовные магнаты и богатые монастыри. И они действительно это делали, не останавливаясь перед смирением рабочих друг у друга, иногда даже у самого короля.

Таким образом, одновременно с ожесточенной борьбой, которую правительство, охраняя интересы прежде всего тех слоев землевладельческого класса, которые были представлены в Палате общин, вело с рабочими, стараясь путем суровых мероприятий заставить их брать указанную в законе плату и таким путем парализовать естественные последствия Черной смерти, шла экономическая борьба, не менее упорная, из-за рабочих рук между нуждавшимися в них нанимателями, и победителями в ней оказывались сильнейшие, «прелаты, графы и бароны и другие магнаты», выходявшие к тому же нередко из границ чисто экономического соревнования и пускавшие в ход приемы настоящей войны. Судебные протоколы того времени рассказывают нам о вооруженных нападениях, которые предпринимали землевладельцы с толпою своих слуг на усадьбы соседей с тем, чтобы захватить их слуг и рабочих, хотя бы это были вилланы этих последних.

Своеобразное положение в этой социальной борьбе занимали иногда представители местной администрации. Про некоего Джона Бронуайна, главного констэбля (*capitalis constabularius*) Уэйнфордской сотни в графстве Сэффольк, судебные протоколы сообщают нам, что он, «пользуясь своим должностным положением (*colore officii sui*), в понедельник после праздника св. Маргариты девы, в год царствования нынешнего короля (Эдуарда III) 37-й, сдал (*dimisit*) Томасу Левербеттеру на два дня шестерых косцов, взяв с этого Томаса 2 шилл. вознаграждения (*de fine*), кроме платы косцам, и таким путем получил с разных людей, с рабочих и с ремесленников, которых сдавал в аренду (*ad firmam per eum dimissis*) в своем округе, с одних по 2 шилл., с других больше, а с других меньше, всего на сумму 100 шилл., к утеснению народа». Таким же способом содействовал социальному умиротворению и помощник констэбля (*subconstabularius*) Блэвбернской сотни в том же Сэффолькском графстве Джон Шеперд. Про него тоже сообщает судебный протокол, что и он пользовался своим служебным положением, чтобы набирать разных рабочих, а затем сдавать («*dimisit*») их всякому, кто в них нуждался, беря за это деньги как с рабочих, так и с нанимателей

(«cepit de diversis hominibus tam laborariis quam magistris suis»<sup>1)</sup>). Пример блюстителей закона и королевских чиновников не оставался без подражания и среди частных людей. Некто Джон Кин из Ингуорса в графстве Норфольк «присвоил себе рабочих (appropriavit sibi laborarios), которые должны были работать у соседей за соответствующую плату, и сдавал их другим (et illos locavit aliis)»<sup>2)</sup>.

Читая весьма пространный Билль о рабочих (Bille des Laboriers), представленный общинами в знаменитый Добрый парламент 1376 года, последний парламент Эдуарда III, мы видим, что положение мало изменилось сравнительно с 1349 и 1350 годами, когда были изданы ордоннанс и статут о рабочих. Для общей пользы королевства были изданы парламентами разные ордоннансы и статуты, чтобы по ним судить рабочих и ремесленников; но по своей великой злонамеренности (par grande malice) и те, и другие находят способы избегать кары закона. Так начинают общины длинный свиток своих жалоб на свое бедственное положение, вызванное невозможностью справиться с бунтом рабочих (la riote des Laboreres), не только не утихающим, но все более и более разгорающимся. Несмотря на полную безуспешность прежних средств, принятых правительством для борьбы с игнорирующими закон рабочими и нанимателями, общины все еще не утратили веры в действительность административных репрессий и сопровождают свои жалобы новыми предложениями в этом смысле. Мы не будем излагать их. Да и парламент не увидел в них надобности, и общинам был дан ответ, что и прежних мер достаточно; нужно только надлежащим образом их исполнять. Не будем мы излагать и тех жалоб и предложений, с которыми являлись общины в парламенты, созыывавшиеся в новое царствование, когда Эдуарда III сменил на английском престоле его внук Ричард II. И сказанного достаточно для характеристики социальной борьбы, возникшей в связи с Черной смертью и вызванным ею рабочим кризисом, и для оценки успешности направленных против него правительственных мероприятий, которые, по словам современных им хроникеров, «мало, а то и вовсе не принесли пользы общинам» и явилась только лишним утеснением для народа, хотя и увеличили доходы короля.

<sup>1)</sup> Record Office. Ancient Indictments, № 92.

<sup>2)</sup> Ibid, № 65.

Но, не достигнув поставленной ему цели, рабочее законодательство не прошло бесследно в социальной истории средневековой Англии и, в частности, не осталось без влияния и на занимающий нас процесс эволюции английского феодального поместья, который к тому же оно так ярко освещает и на таком широком пространстве, поражая нас подчас определенностью своих общих показаний. Среди этих последних прежде всего останавливает наше внимание поистине классическое по ясности и отчетливости определение той социальной категории, на какую направлено острие закона. В ордоннансе 1349 года мы читаем: «Каждый мужчина и каждая женщина королевства нашего Англии, какого бы состояния они ни были, свободного или крепостного, здоровые и не старше шестидесяти лет, кто не занят торговлей и не занимается никаким ремеслом, не имеет собственных средств к жизни или собственной земли, возделыванием которой был бы занят...» Трудно точнее и конкретнее определить пролетария той эпохи. Полной неожиданностью он для нас, конечно, не является. Мы встречались с ним, и довольно часто, и раньше и еще чаще подозревали его существование там, где о нем прямо и не упоминалось; но мы все-таки не догадывались о той широкой роли, какую он уже играл в хозяйственной жизни и крупного феодального поместья, и скромной фермы более и менее зажиточного йомэна, держателя и арендатора, являясь совершенно необходимой для них рабочей силой, вздорожание которой могло оказаться едва ли не главной причиной хозяйственного кризиса, поставившего под вопрос самое существование их хозяйств («si qe les housbandries ne poent estre mauntenuz, ne les Terres ou Roialme cultifiez») (Rot. Parl., III, pp. 45, 46) и грозившего им самим конечным разорением, а также и всему королевству.

А между тем это было так. Пролетариат уже существовал как широкая масса и был главным источником, из которого все не чисто крестьянские хозяйства добывали необходимые для них рабочие руки, и на него прежде всего были и направлены правительственные мероприятия, когда после чумы 1348 года наступил захвативший всю страну хозяйственный кризис. До такой степени на задний план отошла уже к этому времени барщинная система в феодальных поместьях, и виллан перестал уже играть в их хозяйственной жизни ту роль, которая некогда ему принадлежала. Ордоннанс и другим своим указанием это резко подчеркивает и даже заносит руку на самый институт вилланства, на личную

зависимость виллана от сеньера, лорда манора, в котором он живет или к которому он принадлежит (*regardant al maner*). Вилланство им не отменяется, как и права сеньера над вилланом. Но к чему сводятся им эти права? «Сеньеры должны иметь преимущественное перед другими право удерживать у себя на службе вилланов или держащих у них вилланскую землю, но так, однако, чтобы эти сеньеры удерживали лишь столько, сколько им необходимо, и не больше». Так говорит ордонанс непосредственно после приведенного выше определения рабочего и указания ему на его обязанность быть к услугам всякого, кто в нем нуждается. Чтобы иметь возможность осуществить свое исконное право на труд своего виллана, сеньер должен теперь доказать, что он действительно нуждается в нем (*avoit besoign de son service*, как выражаются судебные протоколы); в противном случае виллан поступает в распоряжение всякого нанимателя, которому он нужен как рабочий, и сеньер не может потребовать его себе обратно до истечения срока договора найма, заключенного вилланом с его нанимателем.

На этой почве возникали тяжбы между сеньерами и нанимателями, и коронные суды, их разбиравшие, не находили убедительной простую ссылку сеньера на свои сеньериальные права в отношении к своему виллану как принадлежавшему к такому-то его манору (*villein regardant a manor N.*) и решительно становились на сторону нанимателя. Правда, коронные суды и прежде признавали законными и правомерными сделки вилланов с третьими лицами, проводя последовательно ту точку зрения, что вилланское состояние имеет условный, относительный характер, что оно есть скорее отношение между вилланом и его лордом, лордом того манора, к которому данный виллан принадлежит, и что в отношении ко всем остальным людям виллан является человеком свободным, правоспособным и дееспособным; но они во всяком случае не подвергали сомнению неприкосновенность этих прав сеньера над его вилланом, остававшихся и для них бесспорными, раз и виллан не отрицал своей принадлежности к данному манору и данному сеньеру. Теперь правам этим наносился самый решительный ущерб, и простое их пред'явление сеньером уже оказывалось недостаточным.

И прежде манориальные перегородки не служили серьезной преградой для народно-хозяйственного оборота, связывавшего хозяйственную жизнь манора с жизнью, за его пределами развивав-

шейся, и мы видели, как в сущности мало манориальный режим ограничивал фактическую, экономическую свободу несвободного населения, в особенности мало или вовсе не связанного с землей. К половине XIV века, как это особенно ясным становится при чтении рабочего ордонанса и статута, манориальное хозяйство уже в сильной мере освободилось от связи с крестьянскими хозяйствами и вошло в еще более широкую и тесную связь с хозяйственной жизнью всей страны, и это не могло не отразиться и на правовой стороне манориального строя, поскольку она могла оказаться на пути этой хозяйственной эволюции в качестве тормозящей ее преграды. Вызванный Черной смертью рабочий кризис выдвинул на первый план интересы нанимателя относительно к его социальному положению, и поскольку исключительные права сеньера в отношении к вилланам его манора противоречили этим народно-хозяйственным по существу интересам, они должны были быть устранены. И ордонанс 1349 года это и делает, заставляя сеньера и юридически поступиться своим привилегированным положением в интересах нанимателя, занимая таким образом видное место в эволюции манориального строя.

Но, высвобождая виллана из-под власти его сеньера, государство отдавало его рабочие руки в распоряжение всякого нанимателя, делало их общим достоянием. Весьма ограниченная несвобода виллана в отношении к своему лорду заменяется теперь полным и безусловным закрепощением его за всеми нуждающимися в его рабочей силе землевладельцами, и, под страхом колоток, тюрьмы, объявления вне закона, позорного, выжженного на лбу клейма и других кар и взысканий, он должен был неукоснительно выполнять взятые на себя по договору найма обязательства, беря с нанимателя лишь установленную законом плату и не смея соблазняться более выгодными предложениями со стороны.

В прежнее время, и не порывая связи со своим лордом и со своим манором, виллан мог свободно располагать своими рабочими руками как внутри манора, так и за его пределами, ничем в сущности не отличаясь в этом отношении от совершенно свободного человека; если он держал землю, то, конечно, должен был отбывать лежавшие на ней и поставленные в весьма определенные рамки повинности, к тому же отбываемые не одним им, а всей сидевшей на этой земле, иногда весьма значительной группой, что сокращало, конечно, его свободное время, но далеко

не до minimum'a, если даже он был держателем полного или частичного надела; но если он был человек безземельный или владел клочком внаделной земли (а таких, как мы знаем, в средневековой деревне было очень много, и с течением времени число их только увеличивалось), то его хозяйственная свобода была, можно сказать, совершенно неограничена, и он мог избирать такой род жизни и деятельности, какой был для него возможен, и если он устраивался за пределами своего манора, то должен был (и это было больше похоже на нравственное должествование, чем на настоящую повинность) представлять своему сеньеру ежегодно к Пасхе каплуна для засвидетельствования ему своей зависимости от него (pro recognitione). Нужно ли говорить, что политике террористический режим, созданный для вилланов, как и для всех других элементов рабочего класса, рабочим законодательством XIV века и превративший и виллана в непрерывно травимого и поставленного вне закона зверя, должен был быть воспринят им как неслыханное угнетение, как никогда невиданное рабство, как всякую меру превышающую поправу всех человеческих прав и должен был вызвать в нем, как и у всех других, на кого он был направлен, самую яркую злобу и ненависть ко всем тем, кого они считали виновниками своего порабощения?

А между тем творцы этих жестоких законов вовсе не обязательно должны были быть жестокими людьми, руководившимися лишь грубыми и совершенно обнаженными, чисто материальными интересами определенной общественной группы, взятыми ими под защиту государства в ущерб интересам других общественных групп. Творцы этого истинно драконовского законодательства защищали интересы не одного класса в ущерб интересам других, а всего общества и всего государства, которые по их совершенно искреннему убеждению жестоко страдали от совершенно по их столь же искреннему убеждению не оправдываемого ни с точки зрения божеских законов, ни с точки зрения законов человеческих образа действий рабочих и слуг, приносивших в жертву своим своекорыстным и в своем своекорыстии всякую меру превышающим интересам законнейшие интересы всех других общественных групп к великому ущербу всего общества и всего государства.

Авторы рабочего ордонанса и статута были воодушевлены идеями социальной справедливости и боролись за ее восстановление, направляя свои жестокие удары на тех, кого они счи-

тали ее нарушителями, не делая при этом различия между рабочими и нанимателями, если и эти последние оказывались ее нарушителями, не щадя при этом и законнейших прав высших классов, если они стояли на пути к достижению поставленной цели, и налагая на них более тяжелые денежные взыскания, чем на других, когда они были повинны в нарушении закона. В начавшейся после чумы ожесточенной социальной борьбе государственная власть, несомненно, взяла на себя роль восстановителя социального мира и всей тяжестью своих административных ресурсов обрушилась на всех тех, кто в ее глазах был ее виновником. В полном согласии с исповедуемыми католической церковью той эпохи этико-экономическими воззрениями творцы ордонанса и статута считали морально недопустимым преследование человеком своих хозяйственных интересов в ущерб интересам другого, своего ближнего и, в частности, своекорыстное использование им затруднительного положения, в какое он попал, и притом без всякой его вины, и видели свою прямую обязанность в том, чтобы в интересах справедливости воздействовать на него всеми находившимися у них в распоряжении средствами принуждения.

Рабочие воспользовались чрезвычайно трудным положением, в каком очутились землевладельцы, земледержатели и арендаторы на протяжении всего королевства, оставшись после чумы без необходимых для их хозяйства рабочих рук и без возможности их найти на прежних условиях, и подняли сверх всякой меры плату за свой труд и тем еще более усилили их затруднительное положение, в своих своекорыстных интересах совершенно пренебрегли интересами всех, кто занимался земледелием, грубо нарушая эти интересы, а вместе с тем и интересы всей страны. Всякий должен брать за свой труд, как и за продукты своего труда, лишь справедливую цену (*justum pretium*), и государственная власть и городские власти во всей средневековой Европе зорко следили за тем, чтобы в хозяйственном обороте строго придерживались этого принципа, и все меры принимали к тому, чтобы устранять затрудняющие проведение его в жизнь условия, не останавливаясь перед самыми суровыми наказаниями, грозившими тем, кто искусственно поднимал рыночные цены. Естественно, что и английское правительство не могло остаться равнодушным зрителем, когда после чумы 1348 года страшно поднялись цены на труд, и интересы целых групп занятого сельским хозяйством населения очутились в очень серьезной опасности.

Возможно, что моральная окрашенность мотивов, которыми руководились творцы рабочих законов и те, кто проводил их в жизнь и внесла в рабочую политику XIV века поражающую нас непреклонность, ни перед чем не останавливающуюся жестокость. Выступая против «бунта» рабочих и слуг, правительство имело на своей стороне моральный авторитет таких людей, как Лэнгли, автор поэмы о Петре Пахаре (Piers the Plowman), которого никак нельзя заподозрить в пристрастии к интересам землевладельческих классов, певец крестьянина и крестьянского труда, видящий в крестьянине, предвосхищая народников гораздо более поздних времен, носителя высшей правды, указывающего путь всем, ищущим ее.

Как ни суровы были правительственные мероприятия, но они потерпели неудачу, встретив на своем пути препятствия, преодолеть которые они не могли. Жизнь оказалась сложнее, чем они ее представляли, и заставить ее войти в предписанную ей колею было не по силам и такой сильной государственной власти, какой была она в средневековой Англии. Пресечь в корне борьбу хозяйственных интересов, разгоревшуюся после Черной смерти, не допустимую с точки зрения экономической этики, видя в ней случайное отклонение от естественного порядка, как гармонии интересов, вызванное злой волей сбившихся с пути добродетели индивидуумов, поддавшихся греху корыстолюбия, восстановить социальный мир простым лишь воздействием на эту злую волю—была задача совершенно утопическая. Свободная игра и борьба хозяйственных интересов и прежде не была чем-то, совершенно неведомым средневековому обществу, которое ведь вовсе не было в такой мере связанным, как думали прежде, и манориальные перегородки не были для нее непреодолимой преградой; едва ли ее могли устранить и в узких пределах средневекового города самые энергичные усилия городских властей, вооруженных всеми административными ресурсами «городского хозяйства». Тем свободнее и шире стала она развиваться по мере того, как хозяйственная организация манора перестраивалась по-новому, разрывалась связь и зависимость барского хозяйства от хозяйства крестьянского, и хозяйственная жизнь всего манора еще теснее связывалась с общей жизнью страны, становясь еще более ее органической частью. Мы уже достаточно внимательно наблюдали этот процесс, чтобы видеть, в какой мере не случайным было то, против чего выступило рабочее законодательство, до какой степени неизбежно и естественно вытекающими из

самого существа определенно сложившегося к тому времени хозяйственного порядка явлениями были те социальные конфликты, бороться с которыми государственная власть считала своею обязанностью и своим нравственным долгом. Не удивительно, что борьба эта не увенчалась победой.

### III

Если светские и духовные магнаты и крупные монастыри сравнительно легко выходили из хозяйственного кризиса, вызванного Черной смертью, не затрудняясь платить рабочим то, чего они требовали в противность ордоннансу и статуту, то трудное положение огромного большинства сеньеров, не говоря уже о держателях и арендаторах, пользовавшихся наемным трудом, грозило принять хронический характер. А выхода все-таки нужно было искать. Одним из таких выходов могла быть ликвидация барского хозяйства и сдача домена в аренду частями или целиком. А еще проще было вовсе оставить земледельческое хозяйство и перейти к овцеводству. В конце концов по этим дорогам и пошли. Но, прежде чем окончательно решиться на это, делались попытки удержаться на прежней почве, напрягая до крайних пределов все свои хозяйственные ресурсы и стремясь для этого максимально использовать свои сеньеральные права в отношении к зависимому и прежде всего вилланскому населению манора. Источники весьма конкретными чертами рисуют нам эту так называемую «феодалную» реакцию, наступившую после Черной смерти, сыгравшую, как увидим, весьма заметную роль в социальной истории средневековой Англии.

В протоколах манориальных курий (Court Rolls) мы встречаем много относящихся к этому времени случаев принуждения вилланов брать выморочные вилланские держания и отбывать за них «старинные службы и повинности, с них следуемые по праву (per antiqua opera et servicia inde debita de jure)»; мы не можем не подчеркнуть этих слов, которые прежде в связи с вилланскими повинностями нам не встречались; теперь мы часто с ними встречаемся и едва ли можем сомневаться, что под antiqua opera et servicia следует разуметь здесь барщину в полном виде, в каком она требовалась в старину, до коммутации. В тех же Court Rolls мы находим очень много случаев требования сеньерами своих вилланов, живших за пределами манора, с тем чтобы посадить их на землю и заставить нести следуемые с них повинности или, как

выражается протокол, «для получения и исполнения того, что было бы справедливо (*ad recipiendum et faciendum quod justum fuerit*)»; а если живший на стороне виллан приобрел там держание, то лорд приказывал конфисковать в свою пользу это держание, а также и движимость виллана «как держание и движимость, принадлежавшую сеньеру по закону страны, а также согласно обычаю крепостничества (*tanquam tenementa et catalla domini secundum legem terre et similiter juxta consuetudinem de bondagio*)».

До Черной смерти так не писали протоколов манориальных курий, не уснащали их этими декларациями сеньериальных прав, выдержанных в духе принципов общего права (*Common Law*), столь чуждых манориальному праву, признававшему за вилланом и право собственности на землю, и его общие право- и дееспособность и всецело определявшему и охранявшему гражданский оборот внутри манориальной группы, пока интересы лорда мирно уживались с интересами вилланов, внося в жизнь элемент патриархальности.

Это вторжение в мирную атмосферу манориального обычая (*consuetudo manerii*) принципов и порядков общего права в самом бессердечно-эгоистическом и беспощадном их применении для обеспечения торжества односторонних интересов сеньера, вызванное хозяйственным кризисом, связанным с Черной смертью, хотя и подготовленное уже давно начавшимся расхождением интересов барского двора и деревни в результате уже знакомой нам эволюции хозяйственного строя манора, сразу же провело резкую черту между сеньерами и вилланами, превратив их в два враждебные стана. Сеньер всяким случаем стал пользоваться теперь, чтобы внушить виллану, что он, виллан, человек подневольный, всецело зависящий от его воли и всем обязанный «особой его милости (*de gracia sua speciali*)»; если прежде при передаче земли одним вилланом другому говорилось просто: такая-то земля с разрешения лорда (*de licenciam domini*) передана таким-то такому-то, то теперь уже иначе не выражались, как «сеньер по своей особой милости уступил (*dominus de gracia sua speciali concessit*)» такую-то землю такому-то виллану и «его приплоду» (*sequela sua*), а не «его наследникам» («*heredibus suis*»), как обыкновенно говорили прежде. До сих пор ни в ком не вызывавшие сомнения, гарантируемые манориальным обычаем права виллана теряют теперь в глазах сеньера всякое значение, и для восстановления их юридической силы необходимо их санкционирование сеньером, далеко не безвозмездное.

Манориальная администрация проявляет чрезвычайную активность в деле осуществления сеньером его прав, которые он теперь так назойливо выставляет перед всеми, спешит возместить всякое упущение и не допускает никаких уступок и послаблений. Мы только и слышим, что о приказах ее того-то розыскать, арестовать, доставить в манор и посадить на надел, того-то потребовать в курию для предъявления титула, на каком он держит свой участок, арестовать и подвергнуть штрафу вилланов, выучившихся портняжному ремеслу без разрешения сеньера (о необходимости которого прежде, наверное, никто никогда и не слыхивал), разыскать и доставить в манор вилланку, которая давно уже вышла замуж за пределами манора (когда манор еще принадлежал другому владельцу), и потребовать с нее уплаты пошлины за позволение жить вне манора и за разрешение вступить в брак и т. п. Нет поэтому ничего невероятного в том, что сеньеры не останавливались и перед требованием с вилланов уже переведенной на деньги барщины, раз они находили это фактически осуществимым; что же касается юридической стороны дела, то она никакого вопроса не представляла и с точки зрения общего права (*Common Law*), на которой теперь всецело стояли сеньеры, да и с точки зрения права манориального, не видевшего никогда препятствий к тому, чтобы лорд манора мог свободно, в зависимости от надобностей своего хозяйства, или «продавать барщины» (вспомним часто встречающуюся в отчетах манориальных приказчиков рубрику «*venditio orgium*») тех или иных вилланов, или опять требовать их отбывания. Это не значит, что сеньеры повсеместно стали возвращаться к барщине. Но есть все основания предполагать, что это было широко распространенное явление.

Вилланы не могли не реагировать на эту «феодалную» реакцию, вызывавшую среди них все усиливавшееся раздражение и всеми доступными им средствами старались отстаивать то, что они считали своим правом, и мирными и не мирными, ведя судебные процессы со своими сеньерами и прибегая к вооруженному сопротивлению требованиям манориальной администрации. В своих тяжбах с сеньерами вилланы обыкновенно старались доказать, что они — вилланы старых коронных имений (*antiquum dominicum, ancient demesne*), т. е. имений, которые принадлежали короне еще в эпоху нормандского завоевания и теперь или оставались в ее руках, или перешли уже в частные руки, но от этого не утратив своего особого положения. Это особое их положение состояло в том,

что их вилланы были вилланы привилегированные: это были лично свободные люди, несшие определенные вилланские повинности и прочно сидевшие на своих вилланских участках, и если бы их лорд вздумал увеличить или изменить их повинности или отнять у них землю, они имели против него право иска, который они вчиняли в его же манориальной курии силою королевского приказа (*breve*), так называемого «закрытого малого приказа о праве по обычаю манора (*parvum breve de recto clausum secundum consuetudinem manerii*)» и так называемого «*breve de Monstraverunt*». Данные о том, принадлежал ли тот или иной манор к старым коронным именям, надо было искать в Великой переписи, произведенной по повелению Вильгельма Завоевателя, в Книге страшного суда (*Domesday Book*). Вот в эту-то группу привилегированных вилланов и стремятся проникнуть вилланы, не желавшие мириться с создавшимся для них в результате «феодалной» реакции положением. Это и есть главная цель многочисленных тяжб их с сеньерами, о которых сообщают нам источники этой поры. Но это был лишь один из способов борьбы, которая далеко не всегда оставалась в легальных пределах. Какие размеры и какой характер она постепенно приняла, об этом мы можем составить вполне определенное и совершенно конкретное представление, читая петицию, представленную общинами в парламент первого года царствования Ричарда II (1377 г.).

По словам общин во многих местах английского королевства вилланы и держащие вилланскую землю (*les Villeyns et Terre-Tenauntz en Villenage*), как в светских сеньериях, так и в церковных, по совету, подстрекательству и при поддержке лиц, действующих в своих выгодах, которые они могут извлечь из этих вилланов и державших вилланскую землю (*par conseil, procurement, meunte-nance, et abettement de certaines persones, pur profit pris de Villeyns et Terre-Tenauntz suis ditz*), добывают в королевской курии выписки из Книги страшного суда, относящиеся к манорам и деревням, где они живут (*purchaunt en Court le Roi Exemplifications de la Livre de Domesday, des Manoirs et Villes deins queux les ditz Villeyns et Terre-Tenauntz sont demourantz*), и, плохо понимая их (*par mal entendement de ycels*), а также благодаря неправильному толкованию их этими советчиками и подстрекателями (*et par moivoise interpretacion faites par les ditz conseillers, procurours, meintenours et abettours*), отказываются исполнять сеньерам свои обычные службы и повинности (*ils ount retret et retreount lour*

custumes et services dues a leurs seigneurs), полагая, что они совершенно избавлены от всякой несвободы, как личной, так и поземельной (entendauntz q'ils sont quitement deschargeez de toute manere servage du si bien de leur corps come de leur tenures susditz). Вследствие этого они не позволяют министралам сеньеров принуждать их к выполнению этих повинностей и соединяются в союзы для противодействия своим сеньерам и их министралам вооруженною рукою (et dunt denoie as Ministers des ditz Seigneurs de les destreindre par les Custumes et Services susditz, et sont confederes et antre-alies de countrestere leurs ditz Seigneurs et leurs Ministres a fort maun), и каждый готов являться на помощь другому, как только их подвергают задержанию за это (et q'chescun serra aidant a autre a quele neure q'ils soient destreinez par celle cause); и они грозят министралам своих сеньеров смертью, если они будут прибегать к принудительным мерам, чтобы заставить их исполнять обычные повинности и службы, так что сеньеры и их министралы не принуждают их к их повинностям и службам из страха смерти, которая легко может приключиться от их бунта и сопротивления (par leur Rebellion et Resistance). Благодаря этому сеньеры теряют и уже потеряли много доходов со своих сеньерий к великому урону своего положения (et issint les ditz Seigneurs perdout et ount perdu graunt profit de leur Seigneuries, a tres-graunde disheriticion et anientisement de leur estat); из-за этого во многих частях королевства хлеб стоит нескатый и гибнет к великому ущербу для всей общины (et les blees des plusours parties du Roialme demuront nient scies, et sont peris par touz jours a la cause susdit, a graunt damage de toute la Commune). Для поддержания своих заблуждений и мятежей вилланы и держащие вилланские земли собирают между собой большие суммы денег для покрытия издержек (et par sustenaunce de queux Errours et Rebellions y ount coilles entre eux grauntz sumes de Deniers, par mettre costages et despenes). Многие из них обращаются в суды, ища здесь поддержки своим целям (et sont venuz si a Court ore a present plusours d'eux, par avoir counfort de leur purpos susdit). Общины опасаются, что если не будут быстро приняты меры, то легко может возникнуть в королевстве из-за этого мятеж вилланов и держащих вилланскую землю (que de leger gere purroit sourder deins mesme le Roialme a cause de leur Rebelion susdit), и они присоединятся к неприятелю, чтобы отомстить своим сеньерам (ou q'il soy aherderon as Enemys de delaa par soy venger de leurs Seigneurs sodeyne venue des dits Enemys y fuist). Общины даже

бояться, как бы не произошло в Англии того, что произошло лет двадцать назад во Франции благодаря такому же мятежу и союзу вилланов против своих сеньеров (et pur eschuerе till peril come nad-gair sourdy en la Roualme de Fraunae par tiel rebellion et entre alliaunce des Villeins encountre leur seigneurs) (Rot. Parl., III, 21).

В ответ на эти заявления общин парламентом был издан статут для борьбы с беспорядками с помощью обычных средств административного воздействия. Но средства эти были бессильны справиться с все разраставшимся движением, которое к тому же было осложнено и усилено реформационным брожением, начавшимся в английском обществе и волновавшим массы резкой постановкой социальных проблем. Проповедники нового учения (враги их называли их лоллардами) не ограничивались суровой критикой церковных не порядков, обличением роскошной жизни князей церкви, их нерадения о духовных интересах их паствы, требованием возврата церкви к апостольским временам и секуляризации ее несметных богатств. Разосланные Уиклиффом по всей стране бедные священники (poor priests) и другие независимо от них поучавшие народ ревнители нового евангельского христианства не оставляли без рассмотрения и то, что им казалось противоречащим Божьему закону (Goddislave) и в порядках мирского общества.

Об одном из таких странствующих проповедников, самом знаменитом из них, капеллане Джоне Болле (John Ball) мы узнаем от его современников, что он очень любил брать отправным пунктом своих проповедей, которые он произносил перед толпами спешившего его послушать народа, ставшее тогда весьма популярным двустигшие «Когда Адам копал землю, а Ева пряла, кто же был тогда дворянином?» (Whanne Adam dalfe and Eve span, Who was thanne a gentil man?). В начале мира, говорил Болл, не было ни рабов, ни господ, но все были равны, происходя от одного отца и от одной матери, от Адама и Евы. Если бы богу угодно было, чтобы существовало рабство, он бы еще в самом начале определил, кому быть господином, а кому рабом. Если рабство все-таки существует, то лишь по вине нечестивых людей, которые поработили своих ближних и тем нарушили волю божью. Вилланы — такие же люди, как и сеньеры. Впредь не должно быть ни сеньеров, ни вилланов, ни богатых, ни бедных, но все должны быть одинаково свободны, одинаково знатны и одинаково богаты; только тогда все пойдет в Англии, как следует.

Слова эти падали на очень восприимчивую почву, взрыхленную в достаточной мере и рабочей политикой правительства, и «феодалной» реакцией сеньеров, обеспечивая этим успех лоллордскому движению среди широких масс и давая в то же время абсолютную религиозную санкцию усилиям вилланов дать отпор грозившей им опасности нового закрепощения. Не мало было и других причин, которые поддерживали и усиливали возбужденное настроение в широких кругах английского общества второй половины четырнадцатого века. Столетняя война с Францией уже давно перестала льстить национальной гордости англичан после того, как блестящие победы стали сменяться поражениями, и налоги на военные нужды начали вызывать раздражение и ропот, все усиливавшиеся благодаря еще тому, что в последние годы царствования Эдуарда III, попавшего в руки всякого рода сомнительных дельцов, обнаружались большие неурядицы и злоупотребления во внутреннем и, прежде всего, финансовом управлении. Нужен был лишь толчок, чтобы до крайних пределов напряженная атмосфера разрешилась общим взрывом. Столкновения, происшедшие в конце мая 1381 года при взимании налога, разрешенного на военные нужды ноябрьским парламентом 1380 г., так называемой *Roll tax*, поголовной подати, которую должны были платить все, как мужчины, так и женщины, не моложе пятнадцати лет за исключением настоящих нищих, и были этим толчком, и уже в первых числах июня целый ряд английских графств вместе со столицей государства был в огне грозного восстания народных масс, с силой стихийного катаклизма потрясшего самые основы социального строя Англии.

#### IV

Восстание 1381 года, или, как оно обыкновенно называется по имени одного из своих вождей, восстание Уота Тайлера, является прежде всего крестьянским восстанием, хотя в нем принимали участие и горожане, в особенности столичное население, резко подчеркивавшее своим чрезвычайно деятельным участием в нем политическую сторону восстания, вызванного прежде всего беспорядками в финансовом управлении и тяжестью военных налогов. Простое столкновение с сборщиками поголовного налога быстро превратилось в восстание народа против королевской администрации и суда, в кровавую расправу с судьями, шерифами, финансовыми чиновниками, обвинительными присяжными, адвокатами, сопрово-

ждавшуюся разгромом их домов и сожжением всякого рода документов, найденных в них, и прежде всего податных списков, особенно ненавистных восставшим. На них восставшие взваливали всю вину и, двигаясь к столице, имели определенное намерение потребовать от короля выдачи главных из этих «королевских изменников» — канцлера королевства, каким был в это время архиепископ кентерберийский Симон Сэдбери, и казначея королевства Роберта Гэлза (Hales), тогдашнего магистра госпитальеров, у которых они хотели потребовать отчет «в тех суммах, какие были собраны в английском королевстве в течение последних пяти лет». Восставшие осадили Тауэр, куда укрылся король и его двор вместе с главными сановниками королевства, и король вынужден был выдать им и канцлера, и казначея, которые были тут же возле Тауэра и обезглавлены ими, а головы их были выставлены затем на Лондонском мосту. Такой же жестокой расправе подверглись и другие ненавистные восставшим лица. Избежал ее пользовавшийся особенной ненавистью как раз у горожан Лондона фактический глава государства (король Ричард не достиг еще совершеннолетия), дядя короля, Джон, герцог Ланкастерский: его не было в это время в Лондоне, он вел мирные переговоры с Шотландией; но зато его лондонский дворец Савой был сожжен со всеми своими несметными сокровищами. Был разгромлен и Темпль, в которой помещалась корпорация адвокатов и школа права, подготовлявшая молодых людей к адвокатской деятельности, и все книги корпорации и документы были изрублены топорами и сожжены на улице. И много других разрушительных деяний совершили восставшие в столице и за ее пределами, свидетельствующих о том, что восстание 1381 года было прежде всего взрывом политического недовольства, давно накопившегося и теперь нашедшего выход раздражения против всех тех тягостей, которые приходилось терпеть народу от бесконечных налогов и дурного управления.

Но одновременно с этим восстание выступает перед нами и с не менее резко выраженными чертами социальной революции. Одновременно с разгромом домов «королевских изменников» и истреблением находимых в них податных списков и других официальных документов восставшие с первых же дней восстания нападают на усадьбы духовных и светских землевладельцев и с особенной ревностью жгут и иными способами истребляют протоколы манориальных курий, а также кустумарии и рентали, в которых были записаны натуральные и денежные повинности крестьян, и всякие

иные документы, которые свидетельствовали о личной и земельной зависимости их от землевладельцев, «для того, чтобы с утратой памяти о прошлом их господа не могли потом предъявлять к ним никаких прав (*ut obsoleta antiquarum rerum memoria, nullum jus omnino ipsorum domini in eos in posterum vindicare valerent*». *Chron. Angliae*, p. 287).

Не всегда восставшие прибегали к одним лишь средствам насилия. Современники сохранили нам не мало очень живых рассказов о том, как у ворот богатого монастыря собирались толпы крестьян, прибывших из разных принадлежавших монастырю деревень и терпеливо дожидались, пока их уполномоченные вели переговоры с аббатом и другими представителями монастырской администрации о выдаче им грамоты, закрепляющей за ними права на поля, пастбища, рыбные ловли и другие угодья монастыря, а потом «с великой помпой» (*cum magna pompa*) отправлялись в монастырский лес и вступали во владение как огороженными, так и неогороженными лесами и полями монастыря с соблюдением всех требуемых обычаем обрядовых формальностей в виде передачи древесных веток и т. п. Когда восставшее крестьянство получило возможность представить свои требования королю, в сочувствии которого оно не сомневалось и в котором готово было видеть чуть ли не руководителя его «верных общин», поднявшихся против его «изменников», то оказалось, что требования эти могли быть далеко не чрезмерными, совпадая в самом существенном с тем, чего многие, как мы видели, добивались в более мирной обстановке в ответ на поднявшуюся в связи с неудачей рабочей политики «феодалную» реакцию.

Когда король в сопровождении своей свиты явился на условленное свидание на Майл-Энд (теперь в черте Лондона), где ждали его тысячи народа, собравшегося здесь, главным образом из Кентского и Эссекского графств, к нему подошло несколько человек и от имени остальных подали ему письменную петицию, требуя, чтобы он королевским приказом (*per Regis litteras patentes*) утвердил за ними то, чего они просят. Современный хроникер сохранил нам, повидимому, подлинный текст этой петиции. Вот этот текст: «Все в пределах королевства Англии должны быть освобождены от всякого рода личной зависимости и рабства (*ab omni bondage et jugo servitutis*), так чтобы впредь не было ни одного виллана (*ita quod de cetero nullus foret nativus*). Всем своим подданным король должен простить всякого рода совершенные теперь против

него преступления, как то: восстания, измены, убийства и грабежи, захват чужих прав, вымогательства, и даровать им, всем и каждому, свой крепкий мир. Всем подданным короля должно быть даровано право свободно покупать и продавать во всех городах, местечках, селах, где производится торговля, и во всех других местах в пределах королевства Англии. Землю, которую прежде держали на вилланском праве, за службу, впредь должно держать только за деньги, платя не выше четырех пенсов за акр, а если раньше брали меньше, и впредь не повышать (*quod nulla acra terrae, quae in bondagio vel servitio teneatur, altius quam ad quatuor denarios habetur, et si contraria antea tenta fuissent, in posterum non exaltarentur*) <sup>1)</sup>. Король дал свое согласие на все эти требования и предложил толпе мирно разойтись по домам, оставив по два или по три человека от каждой деревни, которым и будут выданы грамоты за королевскою печатью, жалующие им то, чего они просят. А ведь это было как раз то, чего добивались вилланы и мирным путем, ведя с своими сеньерами судебные процессы, а также и с помощью тех более решительных приемов, о которых мы узнаем из петиции общин в парламенте первого года царствования Ричарда II (1377 г.). Королевская грамота должна была раз навсегда покончить с вилланством, личным и поземельным, и тем навсегда сделать невозможными какие бы то ни было эксперименты со стороны сеньеров. Не удивительно, что предложение короля было встречено с одобрением тысячами присутствовавших здесь вилланов — это были, главным образом, эсекские крестьяне, — и они мирно удалились из столицы, оставив своих людей получать королевские грамоты. В тот же день более тридцати клерков уже было занято изготовлением королевской освободительной грамоты, и ее роздали эсекцам и всем, кто ее желал получить.

Не уходили из Лондона кентские крестьяне с Уотом Тайлером, Джэком Строу, Джоном Боллом и другими своими вождями. В Кенте давно уже не было вилланства, и освободительная грамота короля их мало удовлетворяла. Об их намерениях мы узнаем из рассказа современных хроникеров о происшедшем на другой день после этого (суббота, 15 июня) свидании с ними короля на Смиффилде (площадь, где по пятницам продавали лошадей). Вести перегворы с королем явился сам Тайлер, который и изложил ему требования кентцев. Он весьма запальчиво заявил королю, что

---

<sup>1)</sup> Chronicon Angliae, p. 318—319.

кентцы не уйдут из столицы, пока выданная королем грамота не будет дополнена новыми статьями, которые и изложил при этом. Все выделенные в исключительное пользование сеньеров лесные и водные пространства («*omnes wapennaе tam in aquis quam in parcis et boscis*») должны стать общим достоянием, чтобы как богатый, так и бедный могли по всему королевству во всех реках и прудах свободно ловить рыбу, охотиться за зверями во всех лесах и гонять зайцев на всех полях <sup>1)</sup>. Права сеньеров должны быть упразднены, и установлено равенство всех, кроме короля. Находящиеся в распоряжении монахов, настоятелей приходских церквей, викариев и других церковных людей имущества должны быть отняты у них за исключением того, что необходимо для их содержания, и разделены между прихожанами. В Англии должен быть лишь один епископ и один прелат, и все земли и держания епископов и прелатов должны быть взяты у них и разделены между общинами. В Англии не должно быть вилланов и вилланства, но все должны быть свободны и равны («*que nul naif seroit en Engleterre ne nul servaige ne naifte mes toutz estre free et de un condicione*»). Было еще два пункта. В королевстве не должно быть никакого закона кроме закона Уинчестерского («*que nul ley deuoiet estre fors la ley de Winchester*»). Впредь суды не должны приговаривать к лишению покровительства законов («*que nul uttelagarie seroit en nul procès de ley fait de ore en avant*») <sup>2)</sup>. Мы затрудняемся понять смысл первого из этих пунктов и не знаем, виноват ли в этом хроникер, может быть, не точно передавший слова Тайлера, или же сам Тайлер, который едва ли достаточно был сведущ в законах, хотя, по словам современных хроникеров, весьма часто и нарушал их. Сравнительно с требованиями, представленными королю на Майл-Энде и утвержденными освободительной грамотой короля, требования кентцев имеют гораздо более радикальный характер, далеко выходя за пределы тогдашней социальной действительности, с почвы которой вовсе не сходит майл-эндская петиция.

На изложенных Тайлером дополнительных пунктах (мы оставляем в стороне два последних пункта, не связанных по содержанию с остальными) ясно заметен идеологический отпечаток, сближающий их с проповедью Болла и «бедных священников», мечтавших о всеобщем равенстве и братстве и о церковном возро-

---

<sup>1)</sup> Knighton, col. 2636—2637.

<sup>2)</sup> An anonimale cronicle, 519.

ждении в духе первых времен христианства. Когда началось восстание, Джон Болл стал одним из главных его вождей и вдохновителей и начал призывать поднявшихся крестьян к осуществлению «божьей правды» на земле, потому что «настал назначенный богом час сбросить иго долголетнего рабства»; он советовал им уподобиться доброму хозяину, вырывающему плевелы на ниве своей, чтобы они не заглушали пшеницы, и прежде всего перебить всех магнатов королевства (*maiores regni dominos*), затем законовеев, судей и присяжных, всех, кто может быть вреден общинам, кто будет затруднять торжество «божьего закона», обеспечивающего всем одинаковую свободу, одинаковую знатность и одинаковую власть («*aequa libertas, eadem nobilitas, par dignitas, similisque potestas*»). Кроме Болла в качестве вожаков восставших мы встречаем и многих других священников, преимущественно того же общественного положения, что и сам он, именно капелланов, которых и сами рабочие законы поставили рядом с рабочими, т. е. с крестьянской массой, с которой они были гораздо ближе, чем нанимавшие их для исполнения своих религиозных обязанностей настоятели приходских церквей, нередко соединявшие в своих руках по несколько приходов, не жившие ни в одном из них, и самым видным из них был капеллан Джон Роу (*Wtawe*), главный руководитель восстания в Саффольке. Едва ли может быть сомнение, что для многих из них, если не для всех, неожиданно вспыхнувшее по чисто политическим поводам восстание было толчком, заставившим их, как и Джона Болла, взяться за практическое осуществление своих мечтаний, так как и они увидели вместе с ним, что для этого «настал назначенный богом час».

Как сильна была в восстании 1381 года идеологическая струя, об этом достаточно определенно говорят современные хроникеры, вовсе не склонные идеализировать восставших, не жалеющие самых сильных выражений по их адресу и в то же время передающие факты, рисуящие их, этих «омерзительнейших из крестьян (*rusticorum abjectissimos*)» бескорыстными поборниками высших стремлений. Они рассказывают о том, как вступившие в Лондон огромные толпы эссекцев и кентцев не допускали грабежа, за все платили по справедливой цене и беспощадно убивали всякого уличенного в воровстве, а отправляясь громить дворец ненавистного лондонским горожанам герцога Ланкастерского, так называемый Са в о й, сделали оповещение, чтобы никто под страхом смерти ничего не смел брать из наполнявших дворец драгоценностей, но все

должно быть разбито на мелкие куски и брошено в Темзу. «Тут можно было видеть вещь, неслыханную в наши времена, — читаем мы у одного из летописцев: — толпа крестьян, видя перед собой массу драгоценностей, не осмеливалась похищать их воровскими руками, а если кто был замечен в воровстве, того без суда и следствия предавали смерти». Когда кто-то попытался было припрятать кусок серебра, его схватили немедленно и бросили в огонь горевшего дворца с таким напутствием: «Мы — ревнители правды и справедливости, а не воры и грабители (*zelatores veritatis et justitiae, non fures aut latrones*)».

С идеологией в духе проповедей Джона Болла встречаемся мы и в Исповеди одного из главных вождей восстания 1381 года Джека Строу (*Confessio Iohannis Straw*)<sup>1)</sup>, представляющей собою показания, данные Строу перед казнию заседавшей в Лондоне судебной комиссии с лондонским мэром во главе о целях и намерениях восставших. В Исповеди Строу нашли свою формулировку все крайние тенденции восстания 1381 года. Не будет преувеличением, если мы скажем, что в известной мере эти крайние тенденции не чужды всей массе восставших в качестве настроения ее в первые моменты взрыва, когда аффект играл преобладающую роль; но в качестве программы, сознательно поставленной цели они могли быть только у сравнительно небольшой группы, так как громадное большинство восставших не сходило в сущности с почвы совершенно реальных интересов, для которых освободительная грамота могла служить вовсе не слишком уж узкой формулировкой. По словам Строу восставшие намеревались умертвить всех сеньеров, которые бы вздумали оказывать им сопротивление или имели бы против них злой умысел. Ту же участь готовили они госпитальерам и всем духовным землевладельцам (*possessionatos*) — епископам, монахам, каноникам, настоятелям приходских церквей. В живых остались бы одни нищенствующие монахи (*mendicantes*), и их было бы достаточно для совершения таинств во всей стране. «Когда бы уже никого не осталось, кто был бы значительнее нас, храбрее и учение (*cum vero nullus fortior, nullus scientior nobis superfuisset*), — говорил Строу, — мы думали по своему желанию издать законы, по которым управлялись бы поданные». Имея на своей стороне лондонское население, в особенности беднейших, они предполагали зажечь Лондон сразу с четырех сторон и все найденные

<sup>1)</sup> Chron. Angliae, 309—310.

В нем сокровища полюбовно разделить между собою. Последнее заявление совсем уже выходит за пределы какой бы то ни было социальной программы, даже самой радикальной, и представляет собою формулировку хищных вожделений явно преступных элементов, приставших к общественному движению с совершенно нескрываемыми намерениями корыстно-погромного свойства; а таких паразитов революции было очень много и в восстании 1381 года, как это мы видим, читая протоколы судебных комиссий, разосланных по стране для следствия и суда над участниками восстания. В других заявлениях Строу мы слышим мотивы, знакомые нам по проповедям Болла и по требованиям, предъявленным королю Тайлером на Смесфильде: и требование всеобщего равенства, и секуляризация церковной собственности, и раздел ее между прихожанами, и уничтожение церковной иерархии.

Искать в восстании 1381 года в настоящем смысле слова программы или программ едва ли возможно. Тем не менее мы можем различить у его участников, в их действиях и в их заявлениях, не мало такого, что является общим огромному их большинству и что сообщает достаточно определенный смысл всему движению и дает возможность найти ему место в общем процессе социальной эволюции средневековой Англии. В петиции, поданной королю на Майл-Энде, эти общие требования получили даже вполне определенную формулировку. Отмена крепостного права, вилланства, и окончательная ликвидация натуральных повинностей лежавшей еще на зависимой земле барщины, — вот что было главной целью поднявшегося крестьянства, когда оно под влиянием вызванного целым рядом причин аффекта громило помещичьи усадьбы и жгло помещичьи архивы. Когда аффект прошел, и явилась возможность представить свои требования королю, то требования эти оказались весьма умеренными и вполне осуществимыми, и как бы для того, чтобы еще более подчеркнуть мирный характер своих намерений, восставшие присоединили к своим требованиям просьбу об амнистии, о прощении им всех совершенных ими в момент аффекта проступков и преступлений. Предание смерти всех светских и духовных сеньеров, о котором говорит Джэк Строу в своей Исповеди и к которому, по рассказам современников, призывал многотысячную толпу восставших, которая ждала короля на Блэггизсе, недалеко от Лондона, Джон Болл, конфискация в пользу народа всех их земельных богатств, которой требовал и Джон Болл, и Уот Тайлер, а также водворение всеобщего равенства и братства, все это, несомненно,

встречало — и не могло не встретить — огромное сочувствие среди многих; но это не входило в намерение огромного большинства, основной массы восставшего крестьянства, настроенной весьма реалистически, как это особенно становится ясным, когда мы знакомимся с тем, что делалось тогда в провинции. В то время как в столице разыгрывались всем известные, захватывающие своим драматизмом сцены, говорились на высокий тон библейских пророков настроенные речи о грядущем и уже приблизившемся торжестве «божьей правды» и о низвержении нечестивых, ее попиравших, на местах настроение было более мирное, прозаически деловое. Лишь только являлись сюда эмиссары из центра движения и оповещали «волю короля и общин», местные жители принимались сводить со своими сеньерами старые счеты, пользуясь представившимся теперь редким случаем, чтобы уже наверное добиться от них того, чего до сих пор им не удавалось добиться, будет ли то право на тот или иной луг, лес, незаконно по их мнению захваченный сеньером, или же право (если это были горожане) иметь городское самоуправление. Для них отмена вилланства и барщины была пределом, за который они и не заглядывали, и если волна движения заносила их в столицу и делала участниками или зрителями развертывавшихся там событий, они не переставали думать о своем, не забывали и в раскаленной атмосфере революции, грозившей разрушить государственный и социальный строй Англии, о своих местных делах.

Получив согласие короля на свои требования и обещание закрепить их своей грамотой, эссекские крестьяне мирно разошлись по домам. И не одни они. Современный хроникер совершенно определенно говорит о том, что когда после убийства Тайлера на Смиффилде король приказал выдать освободительные грамоты, составленные на основе майл-эндской петиции, и жителям Кента, которые не последовали примеру эссексцев и не покинули вместе с ними Лондона немедленно после свидания с королем на Майл-Энде, но в числе чуть ли не тридцати тысяч человек явились с Тайлером и Боллом на смиффильдское свидание предъявлять королю более радикальные требования, а после свидания при содействии короля и его благоразумных советников получили возможность беспрепятственно разойтись по домам, то эти грамоты доставили и им большое удовлетворение, и они почувствовали себя «благороднее самого короля» (*aestimabant se supra lineam regiam generosos*)<sup>1)</sup>.

---

<sup>1)</sup> *Historia Anglicana*, I, p. 484.

Расправа с представителями администрации и суда, в которых восставшие видели главных виновников всех своих невзгод, и истребление находимых у них в домах документов и прежде всего податных списков,—с этого начали свое выступление на революционный путь крестьяне Эссекса и Кента после столкновения с королевскими комиссарами, посланными для расследования вызвавших подозрение правительства действий сборщиков поголовного налога. Это был взрыв давно накапливавшегося раздражения против представителей власти, в котором рабочая политика правительства, не останавливавшаяся, как мы знаем, перед самыми жестокими репрессиями, направленными против очень широких масс мелкого крестьянства, была не в меньшей мере повинна, чем бесконечные налоги и непорядки в финансовом управлении. Но немедленно же восставшие принялись громить и усадьбы духовных и светских землевладельцев и истреблять вотчинные архивы, чтобы раз навсегда покончить с возрождавшимся с новой силой крепостничеством, с которым они уже начали принимавшую организованный характер борьбу и с помощью судебных процессов, и средствами вооруженного сопротивления становившейся все более и более требовательной вотчинной администрации. Это был самый острый и самый основной вопрос для английского крестьянства, как для вилланов, так и для свободных, державших землю на вилланских правах (*les villeyns et terre-tenauntz en villenage*), во второй половине XIV века, и, приняв участие в вспыхнувшем внезапно политическом мятеже, расправляясь с «королевскими изменниками» на местах и громя усадьбы духовных и светских сеньеров, они двигались все увеличивавшимися толпами к столице, чтобы там потребовать у короля выдачи им самых главных его «изменников» и прежде всего «разорителя простого народа» (*communis vulgi depredator*), канцлера королевства, архиепископа кентерберийского Симона Сэдбери и казначея королевства, магистра госпитальеров, Роберта Гэлза, но также и отмены вилланства и барщины, окончательного разрешения ставшего самым жизненным для них и самым неотложным вопроса. Политическое по непосредственно вызвавшим его причинам и поводам возмущение, восстание 1381 года немедленно же приняло характер социальной революции, стремившейся окончательно ликвидировать старый социальный уклад, хотя и сильно уже распатанный в своих хозяйственных формах, но все еще достаточно прочный в своих правовых основах, чтобы в моменты хозяйственного кризиса обрушиться всей тяжестью своих все еще вполне пра-

вомерных притязаний на все еще бесправную в глазах государства вилланскую и на вилланском праве державшую землю массу.

Объективно майл-эндская петиция и санкционировавшая ее королевская грамота обозначали окончательное устранение препятствий, ставших на пути хозяйственному развитию страны, поскольку феодальный социальный порядок стеснял его, в той или иной мере локально связывая зависимое население, ограничивая его экономическую свободу. Рабочее законодательство, как мы видели, нанесло очень серьезный удар хозяйственной связанности виллана, об'явив его рабочей силой общим достоянием всех нанимателей, а его лорда поставив чуть ли не в одну линию с этими последними, что было лишь дальнейшим шагом в эволюции манориального строя, в частности в эволюции манориального хозяйства, уже переставшего в прежней мере нуждаться в крепостном труде и перешедшего к труду наемному как к главному своему рабочему ресурсу. «Феодальная» реакция, наступившая в связи с неудачей рабочей политики правительства, грозила затормозить ход этого хозяйственного процесса, и восстание 1381 года отбросило ставшую на пути этого процесса преграду.

Правда, восстание было подавлено, и полученная восставшим крестьянством королевская освободительная грамота была аннулирована. Вилланство было восстановлено, но попытка влить в обветшалую и давно уже выветрившуюся юридическую форму реальное хозяйственное содержание была все же сеньерами оставлена, и им пришлось искать новых путей для восстановления в своих вотчинах хозяйственного равновесия. Вилланы постепенно превратились в свободных копигольдеров, и их вилланское держание стало защитимым и в королевских судах копигольдом, наследственным держанием, опирающимся как на свою правовую основу на протокол манориальной курии, точнее — на выписку (сору) из этого протокола, а сеньеры постепенно окончательно перешли к наемному труду, если продолжали вести барское хозяйство; многие бросали его или передавали арендаторам, и чем дальше, тем все больше и больше стали заменять его менее хлопотливым и более выгодным скотоводством. Средневековое феодальное поместье уходило в прошлое со всеми своими хозяйственными и социальными особенностями, уступая место новому хозяйственному и социальному порядку.

## ГЛАВА ШЕСТАЯ.

### СРЕДНЕВЕКОВЫЙ ГОРОД И ЕГО «ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО».

#### I

Вотчинная концепция средневекового строя и его эволюции, наложившая свою печать на все представления о средневековом обществе и государстве, извратившая истинные, реальные соотношения, в нем существовавшие и развивавшиеся, в частности в совершенно искаженном виде представила и соотношение между городом и деревней, не говоря уже о том, что и город, и деревня в ее изображении приняли очертания, в такой же мере далекие от реальной средневековой действительности. Можно даже сказать, что никакого соотношения между городом и деревней до XI—XII века в ее представлении и вовсе не существовало, так как до этого сравнительно все-таки довольно позднего времени городов как будто бы и вовсе не существовало в средневековой Европе, а если они как будто и существовали, то существование это носило какой-то уж очень неопределенный и неясный, чтобы не сказать призрачный, характер, не располагающий к мысли о реальных соотношениях между городом и деревней. Да и в более позднюю эпоху, когда города в глазах представителей вотчинной теории стали уже совершенно бесспорной и вполне осязательной реальностью, в XI, XII, XIII веках, никаких соотношений между ними и деревнями, по крайней мере хозяйственных соотношений, так и не образовалось, так как поместья, вобравшие будто бы в свой состав все хозяйственные силы деревни еще к IX веку, продолжали будто бы и в XI, и в XII, и в XIII веках сохранять свою натурально-хозяйственную независимость и самодовление. И даже в значительно более позднее время: говоря о хозяйстве

в рыцарском поместье Восточной Пруссии, где вплоть до XVI столетия в существенных чертах сохранился поместный строй чисто средневекового типа, известный немецкий экономист и экономист-историк Г. Ф. Кнапп утверждает, что часто это хозяйство есть хозяйство крупное, но крупное лишь по своему размеру и «еще вполне носит характер натурального хозяйства, ибо все те продукты, которые это хозяйство дает — хлеб и скот, — все это идет из амбара и стойла не на рынок для продажи, а в кухню для потребления»<sup>1)</sup>. Каким образом могли существовать, бороться со своими сеньерами за независимость, развиваться и процветать средневековые города при хозяйственной замкнутости поместий, — достаточно лишь поставить этот вопрос, чтобы бросилась в глаза совершенная фантастичность всей этой концепции.

Изучая средневековое поместье, мы уже видели, как далека от исторической действительности та хозяйственная картина, какую рисовало воображение ученых в угоду этой концепции, отправляясь от данных Капитулярия о виллах, совсем ее не подтверждающих, и в каждом хозяйственном шаге и самого землевладельца, и зависимых от него крестьян мы чувствовали, а временами и отчетливо видели влияние города и его хозяйственных интересов, вне которых было бы мало понятным многое из того, что сообщают нам источники о хозяйственной жизни и барского, и крестьянского двора. Волею творцов вотчинной теории город и деревня средневековой Европы были на целые столетия раз'единены и обречены на изолированное существование. Возникнув, по их представлению, из поместья, из крепостной деревни, какой представлялось им средневековое поместье, город в дальнейшем как будто все силы свой направил на освобождение от крепостных уз, на то, чтобы изгладить из памяти свое деревенское, в их представлении крепостное, происхождение и стать полной противоположностью крепостной деревни. Сделав город антитезой средневековой деревни, убежищем свободы и признав за ним огромную освободительную роль в социальной истории средневековой Европы, в процессе освобождения крестьянской, едва ли не сплошь крепостной, в их представлении, массы, приверженцы вотчинной концепции совершенно не заметили той хозяйственной роли, какую средневековый город с самых ранних времен играл в жизни средневековой деревни. Это тем более удивительно, что экономическая точка зрения, можно сказать, давала тон

<sup>1)</sup> Ф. Кнапп. Рабство и свобода в сельском труде (в сборнике „История труда“. Изд. М. И. Водовозовой. СПб, 1897, стр. 317).

в их исторических построениях, приводя их иногда к чистейшему экономизму. Очевидно, непоколебимая вера в натурально-хозяйственную замкнутость средневековой вотчины делала их совершенно непроницаемыми для впечатлений иного характера.

Нам нет надобности после всего сказанного нами в предшествующих главах останавливаться на выяснении того, в какой мере может быть речь об антиномичности города и деревни средних веков, как мало противопоставляемая представителями вотчинной теории средневековому городу деревня похожа на ту, какую рисуют нам писцовые и всякие иные документы, если их читать не находясь под гнетом навязчивых идей и не закрывая глаз на все то, что свидетельствует о большой доле самоопределения и самоуправления, присущей средневековой деревне и после того, как руководящая роль в ней перешла к сеньеру, о социальном разнообразии ее населения и о преобладании в нем свободных элементов, о большой мере экономической свободы и у его несвободных элементов, о господстве в ней права и закона, регулирующих жизнь и повинности зависимого от сеньера населения деревни и ставящих весьма определенные границы его власти и его правам на труд и на продукты труда всех ему подвластных.

Раз'единив город и деревню экономически, вотчинная теория тем настойчивее подчеркивала их родственную близость во всех других отношениях, выводя и самый город, и его население, и его учреждения и правовые нормы, и его промышленность и торговлю, и его цеховой строй и даже его «городское хозяйство» из крепостной вотчины и ее организации, и, как ни сильны были удары, нанесенные этой концепции в работах Белова и его единомышленников, все же история средневекового города еще и до сих пор не освободилась из-под ее гнета, в особенности его социальная и хозяйственная история. Не говоря уже о том, что и в настоящее время далеко еще не оставлена мысль искать корни и зародыши городского ремесла и его цеховой организации на барском дворе крепостного поместья [Бюхер не видит оснований сомневаться, что «способ производства и в городской промышленности непосредственно примыкает к способу производства подвластных барскому двору и работающим в доме заказчика и у себя на дому ремесленников»<sup>1)</sup>. Eberstadt<sup>2)</sup> и

<sup>1)</sup> К. Вюхер. Возникновение народного хозяйства. Пер. под. ред И. М. Кулишера. I II. 1907.

<sup>2)</sup> Pr. Eberstadt. Der Ursprung des Zunftwesens. 1900. Его же. Magisterium und Fraternitas. 1897.

Walther Müller<sup>1)</sup> не сомневаются и в происхождении цехов из организаций крепостных ремесленников барского двора, существование которых также не вызывает у них никаких сомнений, чего нельзя сказать о Seeliger'e<sup>2)</sup>, также считающем ремесленников более ранней эпохи людьми носвободными, но цеховую организацию признающем возникшей исключительно на городской почве], на постановке самых основных проблем, связанных с генезисом города и городского строя, еще сильно чувствуется влияние вотчинной концепции, о чем весьма определенно свидетельствует и самый факт отнесения начала городского развития к XI — XII веку, и склонность трактовать хозяйственную жизнь и хозяйственный строй средневекового города как нечто простое и несложное, целиком вмещающееся в узкие рамки городского округа. В этом отношении генетическая схема Бюхера, выводящая «городское хозяйство» непосредственно из до неузнаваемости стилизованного вотчинного хозяйства, превратившегося у него в домашнее замкнутое хозяйство, все еще продолжает давать себя знать, несмотря на все высказанное против нее в научной литературе.

Только после того, как мы совершенно и окончательно освободимся из-под влияния вотчинной концепции, прямого и косвенного, все еще продолжающего тормозить свободное наблюдение и изучение явлений средневекового хозяйственного и социального развития во всей широте и разнообразии их комбинаций, форм и соотношений, только тогда возможно будет вполне адекватное уразумение и изображение всего того, в чем выражается основное существо хозяйственной и социальной структуры средневекового города, а также всего того, что составляет основное содержание процесса его эволюции. В этом отношении средневековый город находится в том же положении, что и средневековая деревня, и, изучая эту последнюю, мы уже имели возможность видеть, как далеко от представлений, созданных вотчинной концепцией, все то, что дает нам свободное от их влияния изучение источников, рисующих хозяйственную жизнь и хозяйственный строй средневекового поместья.

---

<sup>1)</sup> W. Müller. Zur Frage des Ursprungs der mittelalterlichen Zünfte. 1910.

<sup>2)</sup> G. Seeliger. Handwerk und Hofrecht (напечатано в Hist. Vierteljahrschrift B. XVI (24). 1913. 4 Heft, 472—519.

Историю средневекового города следует начинать гораздо раньше, чем это делали до сих пор, находясь во власти представлений, связанных с вотчинной концепцией, рисовавшей средневековую Европу до самого XII века сплошь покрытой хозяйственно замкнутыми поместьями, а также с не менее глубокие корни пустившим взглядом на общий ход культурного развития Европы, согласно которому между развитием древней и новой Европы лежит пропасть, образовавшаяся в результате катастрофы, вызванной германскими нашествиями, разгромившими Римскую империю, а с нею и древнюю культуру. Римские города, согласно этому взгляду, были разрушены, сами германцы к городской жизни склонности не имели (так понята была фраза Тацита в 1-й главе его *Германии*, что германцы не живут в городах и не любят жить скученно, примыкающими друг к другу дворами), чисто аграрные интересы определяли всю их хозяйственную жизнь, не выходящую из рамок чисто потребительного безобменного домашнего хозяйства, доставлявшего все необходимое для удовлетворения их несложных потребностей, — не удивительно, что в течение целого ряда веков, пока такие условия продолжали существовать — а это было вне сомнения, — средневековая Европа обходилась без городов, которые и не могли возникать при этих условиях, и не представляли никакой необходимости. Удивительно то, что этот взгляд в той или иной формулировке мог удержаться до настоящего времени, разделяемый в общей форме и теми исследователями, которые нанесли вотчинной концепции самые тяжелые удары и тем не менее остались верны из ее же недр вышедшему представлению, что городская история начинается лишь с XII века, до того времени невозможная ввиду слишком слабого, по общему мнению, развития промышленности и обмена во всю эту более раннюю эпоху.

В одной из предшествующих глав нами была изложена новая концепция соотношения между древним миром и новым, ставшая возможной после огромной работы, проделанной специальными исследователями римско-германской старины, и представляющая средневековое развитие как продолжение поздне-античного, осложненного новыми культурными элементами, привнесенными в него германцами. В связи с ней и историческая судьба римских городов, основанных на германской почве, не говоря уже о других, представилась в ином виде. Остается, конечно, вне сомнения, что рим-

ский муниципальный строй не мог удержаться в новой политической обстановке, и попрежнему не может быть речи о связи между ним и городским строем средних веков; но подобно тому, как с разложением центральной государственной организации Римской империи не перестало существовать ее население и его социальный и хозяйственный строй,—и постепенное перерождение и исчезновение учреждений, характерных для муниципального строя империи, не влекло за собой исчезновения самих городов (если только они не были разрушены во время военных столкновений между римлянами и германцами) и населявших их социальных групп с их хозяйственными и другими культурными, жизненными интересами.

Не отрицая того, что во время военных столкновений много погибло и людей, и культурных благ, и что общий уровень культуры в государствах, основанных на территории империи, заметно понизился, на первых, по крайней мере, порах, тем не менее нельзя представлять себе сложный и длительный процесс возникновения новой европейской, и прежде всего средневековой, культуры в терминах едва ли не внезапной катастрофы, разгромившей сложную культурную жизнь со всеми ее веками и тысячелетиями добывавшимися достижениями и на развалинах ее водворившей беспросветное варварство первобытного общежития и заставившей Европу опять начинать с азов свое культурное развитие; нельзя, следовательно, думать, что и промышленность, и торговля, существовавшие в Римской империи и имевшие своими средоточиями города, были уничтожены с ликвидацией имперской государственной организации: римские города, как и римские поместья, продолжали существовать и в так называемых варварских королевствах, тем более, что и сами германцы далеко не были тем, чем их так долго изображали, и промышленность и торговля играли у них далеко не последнюю роль в самую раннюю пору их существования, о какой только дошли до нас какие-либо известия.

В старых римских городах промышленность и торговля не переставали существовать и в самые тревожные моменты их истории, и среди их весьма разнообразного населения наряду с церковными и светскими землевладельцами и их несвободными держателями и слугами и воинами (*milites*) мы встречаем и свободных ремесленников и купцов, причем купцы уже занимали тогда особые кварталы, а также свободных и несвободных наемных рабочих, которые находили заработок главным образом у торговцев, нуждающихся в них как в необходимой для их дела рабочей силе. Не удивительно, что

именно в старых римских городах впервые возникло и развилось то право немецких купцов, которое впоследствии, уже в X веке, жаловалось верховной властью новым городам со ссылкой на место его возникновения и первоначального применения (Кёльн, Майнц, Вормс, Страсбург, Констанц, Регенсбург, Аугсбург, Трир, Камбрэ).

Но не одни старые римские города были точками отправления средневекового городского развития. Зародышей его следует искать и на чисто германской, равно как и на доримско-кельтской, почве. Центральные пункты племенных территорий и их округов, существовавшие с незапамятных времен (о них мы имеем сведения уже от Цезаря и Тацита и др. древних писателей) и служившие в качестве укрепленных мест в случае опасности вражеского нашествия убежищами для окружного населения, а также центрами племенного и окружного управления (здесь собирались народные собрания для суда и других государственных надобностей), были в то же время средоточиями хозяйственного оборота и рынками, что не может нас удивлять, раз мы освободились от старых представлений о натурально-хозяйственном самодовлении и об исключительно земледельческом характере хозяйства германцев чуть ли не во все продолжение средних веков.

И старые римские города, и города, образовавшиеся из племенных и окружных центров, в меровингскую и каролингскую эпохи были центрами управления, светского и церковного, олицетворявшегося в графе и епископе, имевших здесь свою резиденцию. Это были королевские города, *civitates publicae*, не только в том смысле, что они являлись центрами государственной организации, но и в том, что эта государственная организация и то публичное право, на которое она опиралась, распространялось и на них самих, и, в частности, тот суд, которому было подсудно разнообразное по своему составу население этих городов, был судом государственным и осуществлялся от имени короля графом, созывавшим для этого регулярные и экстренные судебные собрания горожан. Королю принадлежали в этих городах и другие регалии, как право устраивать рынок, взимать пошлины и право монеты, и только впоследствии, путем иммунитетных пожалований те или иные из этих прав, а то и все они, могли переходить в частные руки, и в городе торжествовал сеньериальный режим в его подлинном виде, со всеми его публично-правовыми особенностями, далекий от того крепостного вотчинного порядка, который был конструирован представителями вотчинной теории и являлся Прокрусто-

вым ложем не в меньшей мере для города, чем для деревни, откуда, по их мнению, он в город и перешел. И, возникнув на основе публичного права, охранявшего публичный мир (рах publica), особенно нуждавшийся в охране там, где было сравнительно широкое соприкосновение разнообразных интересов, как частных, так и государственных, где на сравнительно узком пространстве жило рядом столько разнообразных общественных групп, и где было такое живое общение, хозяйственное и всякое иное, с внешним миром, город и в дальнейшем не утрачивал по самой социальной природе его присущего ему характера публично-правового образования, в чьих бы руках ни находилась власть над ним, и через посредство каких бы органов она ни осуществлялась.

В эпоху Каролингов один арабский путешественник насчитал в стране франков около 150 городов, и главным из них он называет Париж. Несомненно, городская жизнь к этому времени достигла широкого развития, и, в частности, весьма большую роль играли уже тогда города в качестве центров обмена, куда на регулярно устраиваемые рынки соседние землевладельцы и земледельцы привозили свои сельскохозяйственные продукты, как это мы знаем из писцовых источников поместного происхождения, а также из каролинских капитуляров. Из этих последних мы узнаем и о внешней торговле, принявшей тогда весьма значительные размеры и, в частности, о торговле с севером в гаванях Северного и Балтийского морей и с славянами и аварами в городах на востоке страны <sup>1)</sup>.

### III

*ремесло*

Промышленность в форме ремесла обслуживала разнообразные потребности широких кругов населения, распадаясь на целый ряд отраслей и являясь профессией как свободных, так и несвободных слоев, как городских жителей, так и деревенских. Если в крупных поместьях могли быть свои собственные ремесленники, крепостные и свободные, жившие на барском дворе или сидевшие на своих наделах, за которые они несли свою ремесленную службу, работая у себя ли на дому, или в соответствующей мастерской на барском дворе (если она там оказывалась), то они удовлетворяли

---

А. Dopsch. Wirtschaftliche und soziale Grundlagen der europäischen Kulturentwicklung, т. 2-й, и его же Die Wirtschaftsentwicklung der Karolingerzeit.

лишь часть (и едва ли значительную) потребностей землевладельца, который более значительную их часть удовлетворял, покупая многое ему необходимое на рынке. То же следует сказать и о сеньерах, духовных и светских, имевших резиденцию в городах и устраивавшихся здесь на такую же широкую ногу, как и в деревне, с многочисленной «фамилией» (familia) собственных сапожников, портных, столяров, слесарей, булочников, пивоваров, токарей и иных министералов, как их именует уже известный нам Капитулярий о виллах. И они действительно были министералами, эти крепостные ремесленники, работавшие для надобностей барского двора и большей частью, если не всегда, и жившие здесь, получая провиант (provenda) из барских амбаров, и их, принадлежащих к служебному персоналу барского двора, следует определенно выделить из всей массы крепостных ремесленников поместья, живших на его территории или за ее пределами и не связанных служебными узами с барским двором.

Изучая поместный строй средневековой Европы, мы уже не раз указывали на то, как много места он оставляет свободной хозяйственной деятельности зависимого и в том числе и лично несвободного, крепостного населения поместья, связывая рабочие повинности и платежи крепостных, к тому же введенные в определенные рамки, с их держаниями и оставляя в сущности вне хозяйственной эксплуатации всех тех из них, кто не имел держаний. Для этих последних, как и для держателей мелких наделов (а таких малоземельных крестьян в средневековой деревне было, как мы знаем, очень много), ремесло являлось одним из главных ресурсов, и они и занимались им наравне со свободными ремесленниками, которых тоже не мало было среди безземельного и малоземельного свободного населения поместий, и едва ли чем отличались от этих последних по своему фактическому положению, на которое не оказывало влияние их правовое положение. И те, и другие выступали и как самостоятельные мелкие предприниматели, изготавливавшие свои изделия из собственного материала и собственной мастерской (по терминологии Бюхера, это и есть ремесленники в собственном смысле, Handwerker, иначе Preiswerker), и как ремесленники, работавшие на заказ с материалом от заказчика (следовательно, в качестве Lohnwerker, по терминологии того же Бюхера), у себя ли на дому (такая разновидность ремесла носит название Heimwerk), или в доме заказчика (эта разновидность именуется Stör).

Когда у представителей вотчинной теории идет речь о крепостных ремесленниках, то они всех крепостных ремесленников поместья отождествляют с ремесленниками-министериалами барского двора, о которых только что была речь, и то, что они читают, например, в *Capitulare de villis* об этих последних (а там, как мы видели, о них только и говорится), они относят ко всем крепостным ремесленникам, на всех их распространяя те фантастические утверждения, которые они отсюда вычитывают, вкривь и вкось толкуя, например, те параграфы этого памятника, в которых встречается слово *magister* или слово *officium*, и понимая их как недвусмысленные указания на то, что среди крепостных ремесленников существовала организация по специальностям, из которой путем постепенного развития образовались средневековые цехи, столь характерные для городского строя средневековой Европы. Разбираясь в данных *Capitulare de villis*, мы имели случай убедиться, до какой степени фантастичны подобные утверждения, как далеки они от того, что говорят эти данные, и как они извращают прямой и совершенно ясный смысл того, что они говорят. Если вообще крепостных, занимающихся ремеслом, было немало в каждом крупном поместье, то крепостных ремесленников-министериалов, обслуживавших нужды барского двора, не могло быть и не было слишком много, во всяком случае не могло быть столько, чтобы могла быть надобность и возможность организовать их по группам, о чем мы к тому же не имеем никаких сведений в источниках. Средневековые цехи есть чисто городское образование, и ставить их в генетическую связь с крепостной вотчиной в такой же мере не возможно, как и все другие учреждения средневекового города.

#### IV

Средневековое городское развитие отличается богатством и разнообразием своих конкретных форм в зависимости от исторических, географических, хозяйственных, политических и всяких иных условий, в которых оно протекало. Индивидуальная история каждой из стран Западной Европы наложила индивидуальный отпечаток и на городское развитие каждой из них, и, говоря о немецких, французских, английских, итальянских городах средних веков, мы имеем в виду не просто чисто внешний признак отношения их к Германии, Франции, Англии, Италии, но те особенности внутреннего строя и внешней судьбы городов каждой из

названных стран, которые объясняются своеобразием общего и, в частности, политического развития каждой из них.

Но и в пределах каждой из этих стран городская жизнь развивалась далеко не в одинаковых формах. Наряду с городами, обслуживавшими продуктами своей промышленности лишь ближайшую округу, из которой они получали с'естные продукты и значительную часть необходимого для них сырья, мы видим города с широкими хозяйственными связями, ведшие обширную торговлю своими промышленными изделиями, которые находили сбыт на всем протяжении страны и далеко за ее пределами, а рядом с ними городские поселения — и таких было очень много, — которые мало чем отличались в хозяйственном отношении от деревень и жители которых, занимаясь ремеслом и торговлей, не оставляли и земледельческого хозяйства (такие города в немецкой исторической науке обозначаются термином *Ackerbürgerstädte*). Каждому из этих хозяйственных типов города соответствовала своя социальная структура, более сложная и расчлененная в городах с широкими хозяйственными связями и более простая и сравнительно мало дифференцированная в городах двух остальных типов, особенно названного последним. Само собою разумеется, что и политическое положение их было соответственно различно: у городов с широко развитой промышленностью и с широкими торговыми отношениями, с богатым классом промышленников и купцов было больше шансов добиться независимости от городского сеньера, а иногда и почти полной политической самостоятельности, чем у городов, не располагавших таким социальным весом и принужденных довольствоваться сравнительно скромной долей политического самоопределения и самоуправления.

Богатство и разнообразие индивидуальных форм и разновидностей их, в которых мы наблюдаем средневековое городское развитие, не может закрывать от нас и тех общих черт, какие в более или менее отчетливом виде заметны в структуре и эволюции каждого средневекового города и дают нам возможность говорить о средневековом городе, как о некоем идеально-типическом образе в его статическом и в его динамическом состоянии. В каких бы условиях и при каких бы обстоятельствах средневековые города ни возникали, о каждом из них можно с большой уверенностью утверждать, что он прошел три стадии в своем политическом развитии, начав с монархического, сеньериального режима, а затем через режим аристократический перейдя к режиму демократическому, но при

всех этих режимах оставаясь со своим особым судом и своим особым правом, со своим финансовым и со своим общим управлением, со своим рынком, со своими мерами и весами и своею монетою и не переставая быть территорией публичного, но отнюдь не вотчинного права. Вел ли город свое происхождение из римских или из древне-германских корней, или же он возник как город силою учредительного акта в более позднее время, получив сразу, в готовом виде то, что составляло существо города как особого общественного образования и что в городах старинных сложилось медленно и постепенно, — это дела не меняло.

Переход от одного режима к другому означал переход власти над городом от одной социальной силы к другой, влекший за собою возобладание интересов той из них, которая оказывалась благодаря этому у власти. Переход этот совершался самыми различными способами в зависимости от индивидуальных условий каждого отдельного случая, и открытые столкновения и революционные взрывы являлись при этом скорее сравнительно редкими исключениями, чем общим правилом, как думали когда-то, особенно представители французской исторической школы, связанной с именем знаменитого историка городского развития средневековой Франции Огюстена Тьерри. Та социальная группа, к которой перешла власть в городе в результате столкновения или соглашения горожан с сеньером города, интересы которой и привели к этому столкновению или соглашению, состояла из верхнего слоя городского населения, из самых богатых и влиятельных людей города, основой благосостояния и влияния которых была земельная собственность и участие, прямое или не прямое, в торговых предприятиях.

Землевладельцев мы находим в городах и меровингской, и каролингской эпох. Крупнейшими среди них были король, граф, епископ, монастырь; землевладельцами были и военные вассалы их, составлявшие гарнизон города и необходимую для надобностей внутреннего управления военную силу; возможно, что городскими землевладельцами могли быть и министериалы, должностные лица графа, епископа и аббата расположенного внутри города монастыря, необходимые и для управления городом. Но всеми ими не исчерпывается состав группы городских землевладельцев. В нее входили и горожане, не связанные ни с каким должностным в том или ином смысле положением, совершенно частные люди, и среди них было не мало горожан в собственном, экономическом

смысле, людей, занятых ремеслом и в особенности торговлей. Эти последние могли приобретать городскую недвижимость или увеличивать ее на те средства, какие давала им торговля. С течением времени состав землевладельческой группы в городах средневековой Европы менялся, эволюционировал, и мы видим повсюду городской патрициат, все более и более проникающийся сознанием общности своих интересов и организующийся в настоящий правящий класс города.

По мере того, как города развивались и усиливались в своем качестве и значении центров промышленности и торговли, и власть переходила к самим горожанам, старинные элементы высшего городского класса, например, военные землевладельцы или министриалы, ассимилировались с его чисто городскими в экономическом смысле элементами или сменялись этими последними тем или иным путем, и городской патрициат, каким мы находим его, начиная с XI—XII века, представляют собою городскую аристократию, состоящую из землевладельцев, живущих рентой и при желании увеличивающих свои доходы участием в торговых предприятиях, в которые они помещали свои капиталы, ссужая ими их организаторов и активных участников, и из купцов, которые обыкновенно соединяли в одних руках оптовую и розничную торговлю и впоследствии также могли отойти от дела и жить рентой с нажитого торговлей капитала и с земельной недвижимости; в городах, где была развита промышленность, работавшая на вывоз, например, шерстяная промышленность, не в пример огромному большинству отраслей средневековой промышленности невозможная без расчленения производства на тесно связанные между собою операции и потому ведшая неизбежно к расширению производства, а также к соединению нескольких предприятий, до тех пор самостоятельных, под руководством капиталиста-предпринимателя (текстильная промышленность как раз и есть колыбель так назыв. *Verlagssystem*, кустарной промышленности, той системы производства, при которой крупный предприниматель — капиталист — снабжает сырьем или капиталом мелких производителей, превращая их таким образом в работающих на заказ ремесленников, в *Lohnwerker*, по терминологии Бюхера), если до тех пор они были самостоятельными экономически ремесленниками (*Handwerker* в собственном смысле, по терминологии того же Бюхера), в таких городах очень, а то и самое видное место в рядах городского патрициата принадлежало таким крупным промышленникам.

Переход от аристократического режима к режиму демократическому совершался или постепенно, путем уступок и соглашений до тех пор безраздельно господствовавшего класса с новой общественной силой, какую мало-по-малу стали городские ремесленники, или в результате революционного взрыва, восстания этих последних, что бывало в тех городах, где промышленность была особенно развита, и расхождение интересов общественных групп было особенно велико.

## V

Когда говорят и пишут о средневековом городе, то обыкновенно имеют в виду город с теми его особенностями, какие характерны для него в эпоху господства в нем ремесленной демократии с ее цеховым строем, охватывавшим самые различные стороны ее жизни и сообщившим ей весьма своеобразный отпечаток, и с ее тяготением к хозяйственному партикуляризму, выражавшемуся и в той или иной мере осуществлявшемуся в так называемом «городском хозяйстве (Stadtwirtschaft)»; предшествующие же фазы его развития при этом, можно сказать, совершенно оставляются без внимания, что отчасти объясняется тем, что самый богатый и колоритный материал источников относится к этому именно периоду в истории средневекового города; да и все самое ценное и оригинальное, что дал средневековый город европейской культуре, несомненно, относится именно к этому периоду.

Цех Цеховая организация ремесла восходит своими корнями еще к первому периоду в истории средневекового города, когда в нем был еще в полной силе сеньериальный режим, когда обладателем публичной власти в городе был городской сеньер, ведавший через посредство своих должностных лиц, своих министерялов, всеми отраслями городской жизни и городского управления и в том числе и рыночной и промышленной полицией, преследовавшей как цели фискальные, так и цели регулирования обмена и ремесленного производства в интересах общественных. В этих целях ремесленники каждой отрасли промышленности были организованы в группы, и во главе каждой из этих групп, так называемых officia, был поставлен особый magister, чиновник, который и должен был наблюдать за тем, чтобы ремесленники каждой данной отрасли не нарушали постановлений, касающихся их ремесла, и штрафовать нарушителей их по приговору, созываемых для разбора правонарушений собраний членов группы.

Магистров этих назначал какой-либо из министриалов сеньера, в ведение которому сеньер в свое время передал всех ремесленников города, сделав таким образом его самого магистром всех их. Необходимость назначать для каждого ремесла особого магистра возникла, несомненно, в связи с хозяйственным развитием городов и с увеличением их ремесленного населения и с появлением все новых и новых ремесленных отраслей. Следующим шагом в развитии ремесленных организаций было назначение магистров отдельных ремесел из среды самих ремесленников каждой данной отрасли, что делало более действительным контроль их над ремеслом, раз контроль этот переходил к специалистам, знающим все детали техники и быта данной специальности.

Между тем эти организованные сверху, чисто механически сплоченные ремесленные группы мало-по-малу превращались в живые общественные организмы, все более и более тесными узами профессиональных, религиозных и всяких иных интересов связывавшие своих членов и укреплявшие в них чувства товарищеской солидарности и стремление к независимости и самоопределению. Не удивительно, что все это не могло не отразиться и на их правовом положении, и мы видим, как назначение магистров городской властью сменяется выбором их самими ремесленниками.

Не переставая быть общественным учреждением (*officium*, по-немецки *Amt*), органом городского управления, объединения ремесленников постепенно превращаются таким образом в автономные корпорации и начинают все более и более определенно проявлять монополистические тенденции и в связи с этим стремление к замкнутости в отношении ко всем, кто не состоял в родственных отношениях с членами объединения. Тенденции эти стали более всего осуществимы с переходом господства над городом к ремесленной демократии. Если прежде обязательность для ремесленника входить в ту или иную группу являлась логическим следствием необходимости подчинить всех ремесленников города контролю городской власти, то теперь она получала совсем иной смысл: только те ремесленники имели право продавать на местном рынке свои изделия или работать на заказ, которые были членами существующих уже цехов — ведь мы уже имеем тут дело с настоящими цехами, — все более и более принимавших характер замкнутых корпораций; поэтому, если прежний порядок приводил к тому, что все ремесленники города были распределены по суще-

ствовавшим в городе объединениям (officia), то Zunftzwang выросших из officia цехов лишь закреплял монопольное положение членов существовавших уже корпораций и обеспечивал замкнутость этих последних в отношении ко всему остальному ремесленному населению города, лишая его представителей возможности добиться самостоятельного положения, являвшегося теперь привилегией членов цеха, цеховых мастеров, которые одни могли иметь собственные мастерские и одни могли быть полноправными участниками в местном рыночном обороте.

В таких общих типических очертаниях представляется нам генезис и эволюция цехового строя<sup>1)</sup>. Из этого вовсе не следует, что все в конкретной исторической действительности существовавшие цехи проделали эту эволюцию; что все они сначала были созданными сверху объединениями ремесленников (officia) и лишь постепенно превратились в автономные корпорации, преследовавшие прежде всего цели обеспечения хозяйственных интересов своих членов, монополизировав местный рынок в ущерб интересам оставшихся за пределами цеховой организации ремесленников. Огромное большинство средневековых цехов возникло позже, но уже готовым образцам и по собственной инициативе ремесленников, и городской власти оставалось лишь регистрировать их и утверждать их уставы; но если мы хотим выяснить генезис цехового строя как социальной формы, мы должны восходить к более ранним временам и там искать исходных пунктов длительного процесса, приведшего к возникновению этого учреждения. Это же надо иметь в виду, когда идет речь и о возникновении средневекового городского строя вообще: конкретные средневековые города возникали в разное время и в разных условиях, получая в очень большом числе случаев уже готовое городское право и уже готовые учреждения, но генезис и эволюция этого права и этих учреждений, это — сложная и трудная проблема, для разрешения которой также необходимо обращаться к истории самых старых городов средневековой Европы.

## VI

Если возникновение городского строя, как и возникновение цеховой организации городской промышленности, теряется в сумраке исторической дали, то тот хозяйственный распорядок, за

<sup>1)</sup> Эта концепция генезиса цехового строя развита Keutgen'ом в его книге *Aemter und Zünfte*, вышедшей в 1903 году.

которым утвердилось в исторической науке название «городского хозяйства» (die Stadtwirtschaft), сложился в средневековом городе уже в более позднее время, когда господами положения уже стали ремесленники, организованные в профессиональном смысле и имевшие возможность проводить в жизнь свои классовые интересы через посредство правительственных учреждений города, которые находились теперь в их руках. Это «городское хозяйство» в очень различной мере было реальностью в городах средневековой Европы, менее всего находя себе место в городах с развитою, работавшей на широкий вывоз промышленностью и с широкими торговыми связями и более всего оказываясь на твердой почве в городах с узким кругом сбыта произведений своей промышленности, редко выходявшего за пределы прилегающей к городу сельской территории, конечные пункты которой находились от него на расстоянии нескольких верст (а таких городов было огромное большинство).

Категория «городское хозяйство», как известно, пущена в широкий научный оборот Карлом Бюхером, для которого (как и для его предшественников, не мало сделавших для выяснения особенностей хозяйственного строя и хозяйственной жизни средневекового города) точкой отправления служили хозяйственные отношения городов именно этого хозяйственного типа, этих мелких провинциальных центров промышленности и торговли, снабжавших всем существенным местную округу и получавших от нее тоже в достаточном количестве и съестные продукты и сырье для своих промышленных надобностей. Уже давно было показано, что категория эта в том виде, в каком она вышла из рук Бюхера, далеко на адекватна исторической действительности, что хозяйственные отношения и в таких провинциальных городах были значительно сложнее, чем их изображает Бюхер, к тому же совершенно игнорирующий существование городов с широкими хозяйственными связями, для которых категория «городское хозяйство» была бы подлинным Прокрустовым ложем. Нельзя отказать конструкции Бюхера в больших эстетических достоинствах, в отчетливости и в строгой выдержанности стиля, завоевавших ей широкую популярность в ученых и просто образованных кругах. Но как и всякая попытка все сложное и многообразное конкретное содержание того или иного круга жизненных явлений истолковать с точки зрения одного определенного принципа, которая, чем выше она по своим логическим и эстетическим достоинствам, тем дальше от самой жизни, тем больше ее стилизует, и конструкция Бюхера выдвигает на первый план и

резко подчеркивает те черты хозяйственной жизни средневекового города, которые укладываются в его построение, и оставляет в тени и даже вовсе игнорирует все то, что с ней не согласуется.

Город и прилегающий к нему округ, и притом каждый город, представляется Бюхеру в экономическом отношении вполне замкнутым целым, «является автономной хозяйственной единицей, внутри которой вся экономическая жизнь от начала до конца протекала совершенно самостоятельно». «Не все города имели одинаковое значение, но все они в свое время были (или по крайней мере старались быть) средоточиями хозяйственных округов и вели столь же самодовлеющую жизнь, как раньше поместья». «Сколько бы ни говорили против выведения городского строя из вотчинного, мы все же можем понять и объяснить хозяйственный строй города лишь как дальнейшее развитие поместной организации». «Рабочий барского двора, производящий необходимые в хозяйстве предметы, превратился в работающего по заказу потребителя ремесленника, который с течением времени обзаводится не только собственной мастерской, но и собственными орудиями производства». «Замкнутое домашнее хозяйство (а таким Бюхер считает вотчинное хозяйство, видя в нем «вполне самодовлеющий хозяйственный организм») в своем дальнейшем, продолжающемся столетия развитии переходит в хозяйство непосредственного обмена, производство для личного потребления заменяется производством непосредственно на потребителя. Этот период развития мы назвали эпохой городского хозяйства потому, что в наиболее типичной форме он обнаруживается в средневековых городах германских и романских стран». Потребителем городских ремесленных изделий является крестьянское население прилегающего к городу сельского округа, которое с своей стороны снабжает горожан естественными продуктами и необходимым для городской промышленности сырьем. «Горожанин и крестьянин находились таким образом в отношении обоюдных заказчиков: в том, что производил один, нуждался другой, причем большая часть этих меновых сделок совершалась без посредства денег или таким образом, что деньгами пользовались только для уравнения разницы в ценности». «Эта система непосредственного обмена проводится во всех мельчайших деталях, хотя и с различными местными особенностями, во всех средневековых городах».

Естественно, что при таких условиях торговля в настоящем смысле слова должна находить для себя мало места в средневековом городе. И Бюхер это и утверждает, говоря, что в городах суще-

ствовала оседлая розничная торговля, но что ею занимались «все те лица, которые продают по мелочам (Pfeilwerte) для бедных людей», не имевших средств покупать все необходимое в большом количестве на базарах и ярмарках непосредственно от иногородних торговцев. Оседлых купцов, которые занимались бы постоянно и исключительно оптовой торговлей, большинство городов не видало в своих стенах до самого конца средних веков, так как «оптовая торговля была исключительно кочевая, рыночная и ярмарочная», и она снабжала «лишь теми предметами, которые не производились в пределах городской округи». И Бюхер насчитывает всего пять таких предметов: пряности и южные плоды, сушеную и соленую рыбу, являвшуюся тогда предметом широкого потребления, меха, тонкие сукна, для северо-германских городов также вино, а для некоторых частей Германии также соль.

На городском рынке имели право сбывать свои изделия лишь ремесленники данного города. Потребность же в таких изделиях, какие не производились в данном городе, обыкновенно удовлетворялась на ярмарках, на которых только и приходили в соприкосновение городские рынки. Правда, допускались и на городской рынок иногородние изделия; но появление их здесь было поставлено в условия исключительные, резко подчеркивавшие всю экстраординарность их появления и имевшие в виду парализовать возможность нарушения ими интересов, которые обеспечивал обычный порядок замкнутого хозяйства. В силу так называемого гостинного права приезжавшие в город продавцы иногородних изделий могли продавать их лишь оптом и в определенное время, и каждый шаг их подвергался бдительному надзору со стороны городских властей, с большим недоверием относившихся к ним и все меры принимавших к тому, чтобы возможно более ограничить свободу их действий и в то же время извлечь из них максимальную пользу для города. Некоторые города обладали так называемым складочным правом (Stapelrecht), в силу которого они могли требовать, чтобы торговцы того или иного города, отправляясь со своими товарами в какую-либо местность, обязательно заезжали предварительно к ним и в продолжение нескольких дней продавали их здесь, подвергаясь всем ограничениям и стеснениям гостинного права.

Элемент принуждения в деле обеспечения городского потребителя необходимыми для него продуктами широкое применение находит в отношении к крестьянскому населению прилегающей

к городу сельской округи. Крестьянское население этой округи обязано было везти свои сельские продукты на городской рынок и только здесь их продавать, и ни в каком случае не допускалась продажа их по дороге в город скупщикам, которые могли бы сами предлагать их городским покупателям, но уже по более высокой цене. Крестьяне обязаны были исключительно на городском рынке покупать необходимые им ремесленные изделия и изготовляемые в городе напитки (пиво, водку), и город в силу так называемого права заповедной мили (*Bannmeilenrecht*) мог даже запретить жителям своего округа заниматься некоторыми из тех ремесел, которыми занимались в городе городские ремесленники (пивоварением, винокурением, тканьем тонких сукон). Отношение между городом и прилегающей к нему сельской территорией носит, как видим, принудительный характер; город господствует над сельской территорией, потому что, только подчинив ее себе, он может обеспечить себе хозяйственную независимость, экономическое самодовление, характерное для «городского хозяйства».

Характерной для «городского хозяйства» не в меньшей мере является и строжайшая регламентация всей хозяйственной жизни города. Но, прежде чем перейти к этой стороне «городского хозяйства», остановимся на сделанной нами со слов Бюхера характеристике его основ.

Уже до Бюхера немецкими экономистами — историками Бруно Гильдебрандом и Шенбергом — еще в шестидесятых годах прошлого столетия основные черты хозяйственного строя средневекового города были характеризованы вполне отчетливо и определенно. Гильдебранд констатировал как «характерную для средних веков» «наличность бесчисленного множества замкнутых в себе и самодовлеющих жизненных крутов». По его словам крайне слабое развитие внутренних сношений в стране (*des öffentlichen Verkehrs*) приводило к тому, что каждый, даже самый маленький город с его ближайшею округой в несколько миль (*mit dem sie umschliessenden Raag Meilen*) замыкался в особую промышленную область, в которой старались удовлетворить собственными средствами по крайней мере самые необходимые потребности. «Каждый город, — говорит Шенберг, — представлял собою особый и замкнутый в себе хозяйственный организм, который в себе самом, сообразно со своими особыми отношениями регулировал производство, распределение и потребление благ, цены и сбыт. Незначительные средства сообщения, немногочисленные, к тому же еще

в высшей степени ненадежные и небезопасные транспортные пути, при недостатке производительной, самостоятельно действующей силы капитала, с трудом пробивавшаяся крупная индустрия,— уже одни эти условия делали невозможным возникновение современного нам производства, выходящего за пределы городской территории. Хозяйственной и политической самостоятельностью и замкнутостью городов объясняется также возможность и осуществимость столь отличной от теперешней хозяйственной политики городских властей»<sup>1</sup>).

На основе этих утверждений, не внося в них никаких поправок, но лишь имея в виду сообщить им большую детальность, конкретность и убедительность, и строит Бюхер свою концепцию городского хозяйства, вдвигая ее при этом, в качестве одной из ступеней, в свой эволюционный ряд. Если для Гильдебранда и Шенберга хозяйственная замкнутость и самодовление города и прилегающего к нему округа объясняется «крайне слабым развитием внутренних сношений в стране», «в высшей степени ненадежными и небезопасными транспортными путями» и слабым развитием капитала, то для Бюхера, который даже, можно сказать, не упоминает о приводимых ими основных, на их взгляд, причинах этой замкнутости и самодовления, эта замкнутость и самодовление средневекового города и подвластной ему сельской округи есть лишь продолжение замкнутости и самодовления средневекового поместья: ведь для него хозяйственный строй города есть лишь дальнейшее развитие поместной организации.

Нам нет надобности, после всего сказанного в предшествующих главах, еще раз указывать на то, что хозяйственная замкнутость и самодовление вовсе не свойственны средневековому поместью, хозяйство которого ставило себе цели, далеко выходящие за пределы непосредственного удовлетворения потребностей в сельскохозяйственных продуктах владельцев поместья и его семьи, и преследовало коммерческие цели, отправляя свои продукты на местные и более далекие рынки, снабжая ими прежде всего городское население; нет нам надобности еще раз повторять и то, что уже было сказано нами о полной несостоятельности вотчинной концепции генезиса городского строя средневековой Европы; укажем лишь на то, что не соответствует действительности, в частно-

---

<sup>1</sup> Георг фон Белов. Городской строй и городская жизнь средневековой Германии. Перев. Е. Петрушевской. Приложение 1, стр. 134—136.

сти, и утверждение Бюхера, что городской ремесленник — не кто иной, как превратившийся в городского ремесленника рабочий барского двора и потому и после этого продолжающий оставаться работающим по заказу потребителя чуть ли не до второй половины XIV века: не говоря уже о том, что ремесленники поместий и ремесленники барского двора, как мы видели, далеко не одно и то же, и что наряду с работой на заказ из материала заказчика (Lohnwerk) и среди сельских ремесленников, на что тоже уже было указано, едва ли не во все известные нам эпохи существовало и самостоятельное ремесло, работавшее из своего материала как на заказ, так и для продажи (Handwerk, Preiswerk), и городские ремесленники, выходявшие из разных слоев сельского населения (городское население всегда питалось притоком все новых и новых сил из деревни, всегда знали обе эти формы ремесла, как об этом совершенно определенно свидетельствуют документы и, наконец, самое существование городского рынка и регулирующих обмен постановлений городских властей.

Совершенно отрицая хозяйственную замкнутость и самодовление средневековых поместий, как несовместимые со всем тем, что мы знаем об их хозяйственной жизни, мы не можем того же сказать о замкнутости и самодовлении средневекового города, не можем так же решительно отвергать их потому, что в известной мере они представляют собою совершенно бесспорный факт. Правда, и Бюхер не считает их абсолютными и приводит список предметов, которые приходилось городам получать извне (мы его привели выше). Но уже Беловым было показано, что список этот слишком не полон, и он дополняет его целым рядом других предметов, которыми была занята оптовая торговля в средневековой Европе (пиво, вино, дерево, поташ, деготь, смола, воск, зерновой хлеб, шерсть, красильное вещество вайда, оружие и металлические товары, бочки для упаковки сельдей, шляпы, четки из янтаря с берега Балтийского моря и проч.), и приходит к выводу, что «и в средние века (и уже на более ранних ступенях) обмен между местными центрами составлял конститутивный элемент в хозяйственной жизни», что хотя «для средних веков является в высшей степени характерным, что отдельные города в такой большой мере довлеют себе, но тем не менее существует несколько хозяйственных центров, из которых прямо или не прямо черпают все города, а затем существуют менее значительные центры, от которых опять во многих отношениях зависят группы менее значительных

городов». Белов «готов назвать городское хозяйство средних веков системой непосредственного обмена, в известной мере производства непосредственно на потребителя (der verhältnsmässigen Kundenproduktion), потому-то эти отношения в нем имели гораздо больше места, чем в новое время», но находит, что разница может быть лишь относительной»<sup>1</sup>).

И нельзя не согласиться с этими выводами Белова, являющимися результатом очень углубленного изучения хозяйственной жизни средневековой Европы. Не отрицая известной хозяйственной замкнутости средневекового города, мы не можем признать правильным то объяснение, какое дает ей Бюхер, вводя городское хозяйство в свой эволюционный ряд в качестве второй, следующей непосредственно за замкнутым домашним хозяйством стадии экономического развития. Но едва ли можно признать достаточно убедительными и те соображения, какие приводят Гильдебранд и Шенберг, ссылаясь на слабое развитие внутренних сношений, незначительные средства сообщения, немногочисленные, к тому же еще в высшей степени ненадежные и небезопасные транспортные пути, как на условия, приведшие к этой замкнутости. Да и ссылка на «недостаток производительной, самостоятельно действующей силы капитала» и «с трудом пробивавшуюся крупную индустрию» не представляется нам очень убедительной. Как ни несовершенны были в средневековой Европе транспортные пути, тем не менее и тогда, как мы только что видели, существовали достаточно широкие торговые связи, и список товаров, двигавшихся по этим несовершенным транспортным путям, оказывается весьма внушительным; очевидно, и капитал не так уж был недостаточен, если могла тогда существовать столь развитая оптовая торговля. Следует обратить внимание и в этой связи еще и на то, что ведь средневековым поместьям несовершенство транспортных путей не помешало быть далекими от замкнутости и самодовления, что бы ни говорили приверженцы и эпигоны вотчинной доктрины, и самыми широкими узами быть связанными с рынками.

Замкнутость, весьма притом относительную, средневекового города, очевидно, надо признать явлением специфическим, имеющим свои особые причины. Можно ли говорить о несовершенстве

---

<sup>1</sup>) Белов. Городской строй и городская жизнь средневековой Германии. Приложение I. О теориях хозяйственного развития народов вообще и о городском хозяйстве немецкого средневековья в особенности.

транспортных путей как о причине замкнутости городского хозяйства, когда замкнутость эта была целью, к которой сознательно стремились сами средневековые города, ставившие всякие препятствия друг другу на пути к взаимному хозяйственному общению и если и допускавшие его, то лишь с очень большими оговорками, весьма стеснительными для его участников? Очевидно, эта хозяйственная политика закрытых дверей — а ведь это была именно хозяйственная политика, а не вне зависимости от сознательной воли людей существовавший объективный факт, естественный и необходимый результат принудительных внешних условий — соответствовала чьим-то интересам внутри города, городу ли в целом, или же той или иной социальной группе среди его населения. Таким образом, вопрос о причинах той хозяйственной замкнутости, какая в известной мере существовала в средневековом городе, должен быть перенесен на другую почву, и в настоящее время, по инициативе Белова, на эту почву и поставившего его в своей известной работе «О теориях хозяйственного развития народов вообще и о городском хозяйстве немецкого средневековья в особенности» (напечатанной в 86 томе журнала «Historische Zeitschrift» за 1901 год и в исправленном и расширенном виде перепечатанной им в его книге Probleme der Wirtschaftsgeschichte, выпущенной в 1920 году), вопрос этот именно с этой историко-социальной точки зрения и начинает разрабатываться в научной литературе.

«Один из способов понять возникновение системы городского хозяйства, — говорит Белов, — это обратить внимание на те средства, с помощью которых города стремились к достижению целей своей хозяйственной политики. Мы имеем при этом в виду гостинное право (Gästerecht), складочное право (Stapelrecht), право заповедной мили (Bannmeilenrecht), законодательство против скупщиков». Права эти рассматривались лишь как «правовое признание отношений, которые вызвал естественный ход обмена» (по выражению одного из немецких историков сороковых годов прошлого столетия), а между тем «соответствующие известия документов относятся к более позднему времени. О существовании складочного права, о подчинении городом сельского округа в промышленном отношении, об обязанности крестьян доставлять свой зерновой хлеб в город и т. д. в первый период истории немецких городов мы узнаем чрезвычайно мало. Старше постановления гостинного права и законодательства о скупщиках. Но их деталь-

ная разработка принадлежит также к более позднему времени». Приводя затем ряд фактов из истории складочного права, Белов приходит к выводу, что «складочное право создается не в согласии с до тех пор существовавшими фактическими отношениями, но в противовес им», что «ко времени, когда началась городская хозяйственная политика, не только существовала юридически бóльшая свобода, но и фактически обмен двигался в сравнительно более широких рамках, чем в период уже развившейся городской хозяйственной политики».

«Сказанное нами о складочном праве применимо и вообще к системе запираания дверей перед чужими, перед «гостями». Гостинное право «является характерным показателем стремления затруднить обмен». «Повидимому, ограничительные постановления, которые мы обыкновенно встречаем в период городского хозяйства в качестве положений гостинного права, в более раннее время еще не действовали. Возьмем, например, известное положение, что гость может продавать лишь оптом: нет сведений, чтобы оно действовало в X и XI столетиях. Нет свидетельств и в пользу того, чтобы до установления этого правового принципа чужие фактически продавали лишь оптом». Белов считает «несомненным, что средневековое гостинное право возникло не в качестве простого правового признания фактически существовавших отношений», и находит возможным «сделать лишь некоторые догадки о том, из каких кругов исходит движение в пользу гостинного права». Возможно, что уже городские сеньеры (древнейшие известия о гостинном праве относятся еще к эпохе сеньерального городского режима) под давлением занимавшегося торговлею и ремеслом населения начали издавать постановления в этом смысле, имея в виду обеспечить местному ремесленнику возможность добывать средства, необходимые для существования (Nahrungsspielraum). При этом «следует делать различие между стремлениями всех горожан и стремлениями отдельных промышленных кругов. От XII столетия мы имеем ясные свидетельства о появлении цехов. При основании их играет роль намерение отстранить чужих. Несомненным является то, что исключение чужих было делом уже существовавших цехов». Следует, по мнению Белова, считаться с цеховым движением и при объяснении того, как произошло подчинение городом близлежащего сельского округа.

Наряду с сознательной политикой городов Белов называет и естественные условия в качестве фактора, создавшего систему

средневекового городского хозяйства, но только называет, не входя в рассмотрение их роли в более конкретных терминах. Отметим еще его соображение в связи с взглядом Шенберга на недостаток капитала, как на одну из причин, создавших городское хозяйство (другую основную причину Шенберг, как мы знаем уже, видит в недостаточности средств сообщения). Белов думает, что «недостаток капитала в очень большой мере содействовал торжеству цехового строя, но капитал был бы применен промышленным трудом в большем масштабе, чем он был фактически применен, если бы этому не противодействовали с величайшей энергией цехи».

Таким образом, не являясь неизбежным результатом общих внешних условий, хозяйственная замкнутость средневекового города была сознательно поставленной целью, к которой стремилась хозяйственная политика города, руководившаяся интересами определенного социального слоя городского населения, организованных в цехи городских ремесленников, которые всеми способами, какие только могли оказаться в их распоряжении, старались удержать за собою и расширить источники своих жизненных средств, отстраняя от них всех, кто были не они, как своих конкурентов и врагов. Мы присутствуем здесь при жестокой борьбе за существование, которую ведут друг с другом средневековые города, и чем больше возникает городов, тем интенсивнее становится эта борьба, и тем резче она сказывается на хозяйственных порядках тех из них, которым удалось уцелеть. «Когда страна покрывалась городами, — скажем словами Sieveking'a, автора очень интересной статьи «Die mittelalterliche Stadt» (Средневековый город)<sup>1)</sup>, каждый город старался вырвать у другого часть его торговли. Между городами поднялась борьба, возникла конкуренция, которая часто кончалась лишь с уничтожением (mit der Zerstörung) соперника. А там, где никто не мог уничтожить другого, там каждый старался обеспечить для области, над которой он господствовал, особые выгоды. Чужой должен был платить более высокие пошлины, его торговля была подвергнута ограничениям: он мог продавать свои товары только оптом и только горожанам (an Bürgern). Свои (die Einheimischen) удержали для себя выгоду сбыта в розницу и посредничество в обмене гостя с гостем. Как раз в эпоху, когда оборот развивался все интенсивнее, прекращались более далекие торговые

<sup>1)</sup> Напечатана в Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, II, Band, 2 Heft, 1904.

поездки для многих городов. Регенсбуржцам венцы старались затруднить доступ к нижнему Дунаю, а майнцам кельнцы — доступ к нижнему Рейну. Преимуществом приморских городов было то, что в отношении к ним было труднее провести такие заградительные меры (Sperrmassregeln)».

Таким образом, замкнутость средневековых городов была результатом более позднего развития, явилась на смену более свободному обороту, перед тем господствовавшему. Мы уже видели, что она не была и не могла быть полной и в тех городах, в которых она более всего могла вообще быть осуществимой, в городах, которые Макс Вебер называет промышленными городами (Industriestädte) или внутри страны расположенными городами (Binnenstädte), в отличие от ведших широкие торговые сношения приморских городов, которых было огромное большинство. Не была и не могла быть полной и хозяйственная зависимость от города прилегающего к нему сельского округа, которая ведь являлась фундаментом хозяйственной замкнутости города, который только путем подчинения сельской территории мог обеспечить сбыт изделий своего ремесла и снабжение себя с'естными продуктами и необходимым для своей промышленности сырьем, и тем приобрести ту или иную меру хозяйственной независимости. Как ни значительна могла быть власть города над своим сельским округом, все же ему не удалось подавить в нем всякую самостоятельную хозяйственную жизнь и стать для него единственным хозяйственным средоточием. «В узкие рамки бюхеровского, так называемого городского, хозяйства никогда не могла быть втиснута вся хозяйственная жизнь горда, — говорит Sieveking, — и там, где к этой цели ближе всего подходили, это означало не движение вперед, но захирение развития (eine Verkümmerng der Entwicklung)», и специальные исследования экономической истории отдельных городов средневековой Европы вполне подтверждают правильность этого общего наблюдения.

Хозяйственная замкнутость и самодовление города, далеко, впрочем, не полные, и, как их опора, господство города над прилегающим к нему сельским округом являются бесспорно основными особенностями «городского хозяйства» средневековой Европы. Но ими не исчерпывается все содержание этого понятия. Не менее характерной является для средневекового города в период господства в нем «городского хозяйства» и его внутренняя хозяйственная политика, направленная к осуществлению той же основной цели, какую преследовала и его внешняя политика, руководившаяся, как

мы видели, прежде всего и главным образом интересами городских организованных в цехи ремесленников, которые стремились обеспечить за собою местный рынок путем устранения иногородних конкурентов. О внегородских конкурентах внутренняя городская политика городских властей не думала, но она была озабочена тем, чтобы обеспеченный за цеховыми ремесленниками городской рынок крепко держали эти последние в своих руках, отстраняя от него возможных конкурентов как из жителей находившегося под властью города сельского округа, так и из среды самих горожан, из среды стоявших за пределами цеховой организации городских ремесленников, а также тем, чтобы по возможности в равные условия поставить всех цеховых ремесленников в отношении к городскому рынку, самым решительным образом устраняя конкуренцию членов цеха и ставя препятствия всяким попыткам с их стороны к расширению ремесленного производства за пределы мелкого предприятия, стремясь в самом зародыше подавлять зачатки капиталистического развития. Уже известное нам право заповедной мили (*Bannmeilenrecht*) должно было разрешить первую задачу, запрещая жителям прилегающего к городу сельского округа заниматься ремеслами, которыми занимались городские ремесленники (пивоварением, ткачеством и т. п.); вторую задачу старались разрешить с помощью совершенно по-новому истолкованного теперь старого *Zunftzwang*'а, обязанности для каждого городского ремесленника входить в соответствующую организацию (*Amt*), созданную, как мы знаем, городским сеньером для контрольных и фискальных надобностей; мы уже знакомы и с этим новым пониманием *Zunftzwang*'а, превратившим цех в замкнутую корпорацию, члены которой одни имели право иметь мастерскую и сбывать свои изделия на городском рынке, закрытом для всех, кто не мог стать членом цеха, куда пускали только сыновей и зятьев цеховых мастеров.

Антикапиталистические тенденции внутренней хозяйственной политики города находили свое выражение в целом ряде постановлений, направленных против всего того, что могло создавать для отдельных членов возможность подниматься над другими. Поэтому запрещалось цеховому мастеру иметь у себя больше определенного числа подмастерьев и учеников (в большинстве случаев не больше двух подмастерьев и одного ученика), а также иметь больше одной мастерской (если не везде это было правилом, то во всяком случае во многих городах), чтобы цеховой мастер не мог превратиться в простого предпринимателя, лишь организатора производства, веду-

щегося исключительно чужими, зависимыми руками; для того, чтобы поставить членов цеха в одинаковые условия не только в смысле производства, но и в смысле быта, воспрещалась всякая конкуренция между ними с помощью неумеренной рекламы, бросающейся слишком в глаза выставки своих изделий в окнах мастерской (выставлять их разрешалось только в одном окне), отбивания покупателей теми или иными способами у своих товарищей; запрещалось также продавать предметы не своего изделия.

Нечего и говорить, что никаких элементов идеологии в этой борьбе городских властей с капиталистическими тенденциями хозяйственного развития искать не приходится. Эта хозяйственная политика в такой же мере далека от социализма, как от капитализма, против которого она принимает столь энергичные меры, и если уж называть ее каким-нибудь ходячим именем, то ее можно квалифицировать как политику мелкобуржуазную в самом прямом и неприкрытом никакими отвлеченными соображениями смысле этого слова. Ее еще называют политикой среднего сословия (Mittelstandpolitik) и много ей похвал воздают, в особенности в немецкой научной литературе, как раз за то, что она была политикой среднего сословия, защищала интересы ремесленников-мастеров, «поднимала сословие ремесленников, открывала ему дорогу к почету, образованию и власти», поднимала ремесло до высоты искусства, и указывают при этом на то, что ведь «ремесленникам, как главным представителям национального труда в городах, средние века были прежде всего обязаны расцветом своей культуры» (Белов). Так как политика эта проводилась и в интересах цехов, и через их посредство, то все, что ставится ей в заслугу, переносится на цехи, «великую социальную заслугу» которых видят «в создании и сохранении зажиточного ремесленного среднего сословия».

Очерченная нами внешняя и внутренняя хозяйственная политика средневекового города, имевшая столь яркую социальную окраску, и ее достижения в виде хозяйственной замкнутости и самодовления средневекового города (далеко не полных, как мы видели) и подчинения им прилегающего к нему сельского округа, а также монополизации городского рынка организованными в цехи городскими ремесленниками, стремившимися к равенству в использовании этой монополии, несомненно самое характерное в картине «городского хозяйства» средневековой Европы и всецело продукт городского развития и тех условий, в которых оно протекало,

той борьбы за существование, какую пришлось вести городам друг с другом, и той внутренней, чисто социальной борьбы, которая происходила внутри каждого из них из-за обеспеченного в результате внешней борьбы городского рынка. Но в хозяйственной жизни средневекового города в период «городского хозяйства» мы наблюдаем еще и такие явления, которые не были продуктом городского развития, но в условиях городского развития нашли лишь благоприятную почву и для своего собственного развития.

Мы имеем в виду целую систему мероприятий для проведения широкого контроля над городским обменом. Мы уже упоминали о борьбе городских властей с искусственным повышением цен на городском рынке, вызываемым тем, что доставлявшиеся на городской рынок подгородними крестьянами сельские продукты еще до прибытия их в город перекупались спекулянтами и продавались ими в городе по более высокой цене, или скупкой их с тем же спекулятивными целями на самом рынке. Торговля должна была производиться открыто, на рынке, под наблюдением присяжных маклеров (*Unterkäufer*) (из горожан), которые должны были строго следить за неукоснительным выполнением участниками обмена изданных городскими властями торгово-полицейских распоряжений. В частности, они следили за тем, чтобы продавцы не обмеривали и не обвешивали покупателей и пользовались обязательными городскими мерами и весами и продавали свои товары по справедливой цене (*justum pretium*), не гонялись за несообразным со стоимостью товара и его доставкой барышом; если это было ремесленное изделие, то справедливой его ценой была плата, в которую входила стоимость сырого материала, из которого оно было сделано, и плата за труд его изготовления, которая бы позволяла ремесленнику поддерживать приличествующий ему культурный уровень (*standard of life*, как говорят англичане) (насчет того, кому какой культурный уровень приличествовал, в средние века держались весьма определенных взглядов). Нередко города устанавливали таксы, прежде всего на жизненные продукты.

Контроль над обменом и его регулирование, как мы сказали, не есть исключительно городское явление: средневековые города лишь продолжали и разработали те мероприятия, какие мы находим уже в законодательстве Каролингов, которым приходилось бороться с недобросовестностью и спекулятивными манипуляциями торговцев хлебом и другими продуктами (в особенности в голодные годы) в общеимперском масштабе, а также заботиться о мерах и

весах, равно как и о монете, продолжая в свою очередь идущую из старины традицию, оставившую совершенно определенные следы в законодательных памятниках древнего мира. Конечно, в условиях «городского хозяйства» регулирование рыночного оборота должно было получить соответствующую основным его интересам постановку и сделаться таким образом органической частью, составным элементом «городского хозяйства», этой своеобразной формы хозяйственной жизни, которую едва ли где можно найти с такими определенными очертаниями и с такой выдержанностью стиля, с какими она выступает перед нами в городах средневековой Европы (в тех из них, где были соответствующие хозяйственные и иные условия) на известной ступени их хозяйственного развития.

## VII

«Городское хозяйство» средних веков не осталось лишь фактом средневековой хозяйственной действительности и целью хозяйственной политики определенного круга городского населения, оказавшегося у власти в определенный момент городского развития, но стало и предметом внимания теоретической мысли своего времени, рассматривавшей и явления хозяйственного порядка со стороны их соответствия или несоответствия религиозно-этическим принципам. В трудах величайшего богослова средневекового католицизма Фомы Аквинского (1227—1274) (главный из них *Summa Theologica* — настоящая энциклопедия своей эпохи) обстоятельному рассмотрению подвергнуты и взаимоотношения людей, возникающие на почве хозяйственного оборота, и изложена целая система хозяйственной этики, которая имела руководящее значение во все продолжение средних веков. Нам еще придется касаться ее, по крайней мере некоторых из ее положений, в настоящий же момент мы ограничимся рассмотрением того, что является предпосылкой всей этой системы, тех мыслей Фомы Аквинского, которые относятся к самым основам общественного существования и к некоторым основным установлениям хозяйственной жизни. В этих мыслях своих Фома Аквинский находится под сильным влиянием Аристотеля, в комментариях к Политике которого они, главным образом, и излагаются им, но достойно внимания, что, комментируя Аристотеля, он на место древне-греческого *πόλις* незаметно для себя ставит средневековый город с характерными для его хозяйственного строя особенностями.

«Человек от природы общественное существо» — повторяет вслед за Аристотелем Фома Аквинский и затем дает этому положению свое собственное обоснование. Для человека существование обществом потому абсолютно необходимо, что работа одного человека недостаточна, чтобы создать все, что ему для человеческой жизни необходимо, и только разделение труда в смысле разделения занятий, образования профессий одно может сделать возможным достаточное удовлетворение его потребностей. Как в отдельном теле, так и в человеческом обществе каждый член имеет свою особую задачу. Природа дает каждому отдельному человеку лишь одну должность (*officium*). Само божественное провидение назначает каждому отдельному человеку особую профессию (*officium*), давая каждому определенную склонность к какой-нибудь деятельности; оно создало различные сословия и так распределило между людьми принадлежность к ним, чтобы нигде в общественном организме не могло быть недостатка в необходимой для целого работе. Таким образом, каждый имеет свое призвание, свою обязанность, свою службу (*ministerium*), свою должность, чтобы служить целому.

В отличие от Аристотеля, который для каждой формы совместного существования людей (семьи, рода, государства) указывает особый мотив, Фома Аквинский для всех их видит лишь один хозяйственный мотив — невозможность для человека вне совместного существования с другими людьми, вне общества в достаточной мере удовлетворять свои жизненные потребности, и поэтому в его глазах самой совершенной формой общественного существования является та, которая в самой большой мере обеспечивает достаточное удовлетворение жизненных потребностей человека.

Такой самой совершенной общественной формой Фома Аквинский считает город (*civitas*), так как, по его мнению, он выполняет хозяйственные, на его взгляд основные, цели каждой формы общественного существования самым совершенным образом. Жить в городе для человека является поэтому естественным и необходимым, от природы он есть существо городское («*sequitur, quod homo sit animal naturaliter civile*»), и если есть люди, которые не живут в городах (*non civiles*), то это те, кто по воле судьбы или изгнан из города, или по бедности (*propter paupertatem*) поставлен в необходимость возделывать поля или стеречь животных.

Так как в городе должно находиться все, что необходимо для удовлетворения жизненных потребностей человека, то «он поэтому состоит из многих улиц, на одной из которых занима-

ются кузнечным мастерством (*exercetur ars fabrile*), на другой ткацким мастерством (*ars textoria*) и т. д. Отсюда ясно, что город есть совершенная форма общественного существования (*communitas perfecta*).

Для того, чтобы город был действительно совершенной общественной формой, необходимо, чтобы он был основан на плодородной почве. Ведь тот город в более полной мере обладает самодовлением (*sufficientiam*), прилегающий к которому округ (*cui circumiacens regio*) обладает всем необходимым для жизни, чем тот, который вынужден приобретать это от других посредством торговли. Таким образом, для города является более достойным (*dignior ergo est civitas*), если он все необходимое имеет в изобилии из собственной территории (*ex territorio proprio*), чем если он имеет все через купцов (*quam si per mercatores abundet*); к тому же это представляется и более безопасным, потому что в зависимости от исхода войны и вследствие необеспеченности дорог легко может случиться задержка в доставке провианта, и таким образом город может оказаться в затруднении благодаря отсутствию съестных припасов». «Лучше, следовательно, чтобы у города было изобилие жизненных продуктов из собственных полей, чем чтобы город был всецело предоставлен купцам (*sit totaliter negotiationibus exposita*)». Но и совсем обходиться без купцов город не может, «потому что не легко найти такое место, в котором было бы в таком изобилии все необходимое для жизни, что он бы не нуждался ни в чем, что можно было бы привезти из других мест»; кроме того, городу необходимо вывозить в другие места свои излишки (*quae in eodem loco superabundant*). «Отсюда следует, что совершенный город должен умеренно пользоваться услугами купцов (*unde oportet, quod perfecta civitas moderate mercatoribus utatur*)».

Другим чрезвычайно важным условием, необходимым для того, чтобы город соответствовал своему назначению — быть самой совершенной формой совместного существования людей, является возможность для каждого живущего в городе человека находить здесь достаточные средства к существованию, соответствующие его положению и сословию, к которому он принадлежит, и на городских властях лежит обязанность заботиться о том, чтобы каждому была обеспечена эта возможность <sup>1)</sup>.

---

<sup>1)</sup> Max Maurenbrecher. Tomas von Aquino's Stellung zum Wirtschaftsleben seiner Zeit. 1898.

Мы видим, таким образом, что «городское хозяйство» средних веков не только стало объектом теоретической мысли, ему современной, воспроизведшей его самые характерные черты с полной отчетливостью, но и нашло в лице одного из самых выдающихся представителей ее своего идеолога, возведшего на высоту самой совершенной формы общественного существования средневековый город с его «городским хозяйством» и характерным для него хозяйственным самодовлечением. Но теоретическая мысль оказалась и в практическом соприкосновении с «городским хозяйством», внося свои этические директивы в сутолоку хозяйственной жизни средневекового города, стремясь подчинить стихийность хозяйственного оборота требованиям справедливости и высшим духовным интересам.

Тот же Фома Аквинский, как было упомянуто выше, дал нам в своих трудах целую систему хозяйственной этики, не оставшуюся без воздействия на реальную хозяйственную жизнь средневекового города. Особого внимания требовал в глазах средневековых моралистов обмен, как та область хозяйственных отношений, где больше, чем в какой-либо другой, могло быть поводов и искушений для действий, нарушающих веления нравственного закона.

В более раннюю эпоху нередко раздавались голоса, решительно осуждавшие всякую торговлю, как дело по существу греховное и потому совершенно недопустимое, видя в ней лишь стремление к обогащению, явно опасное для души и к тому же направленное на присвоение того, что дано богом людям для общего пользования. Ко времени, когда жил и писал Фома Аквинский, такое резко отрицательное отношение к торговле сменилось более терпимым. Но торговля все-таки продолжала находиться под большим подозрением, и, не имея возможности отрицать ее общественную необходимость, современные ему моралисты очень были озабочены тем, как бы нейтрализовать ее опасные для общества стороны, и для этого старались разобраться в том сложном явлении, какое она собою представляла, и выделить из составляющих его элементов то, что подлежало безусловному осуждению, а также и то, что имело в их глазах право на существование, но поставленное в определенные рамки. Фома Аквинский именно такой анализ торговли и производит со всей тщательностью изощренного в тончайших разграничениях схоластического мыслителя и приходит к выводам, оправдывающим торговлю, но ставящим ей определенные условия, нарушение которых лишает ее права на законное существование.

В торговых сделках участники их должны руководствоваться словами Христа: «Во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними» и поэтому должны поступать так, чтобы сделка была одинаково выгодна обеим сторонам, что возможно лишь тогда, когда каждый из контрагентов получает равную ценность. Фома Аквинский думает, что каждая вещь имеет свою определенную «справедливую цену» (*justum pretium*), т. е. «то, чего она стоит», и эта «справедливая цена» обязательна и для продавца, и для покупателя. Она определяется, по его мнению, ценностью вещи, которая имеет объективный характер, не зависит от воли покупателя и продавца и связана с самой вещью; поэтому ее можно установить с достаточной определенностью, что и лежит на обязанности государства, городских властей, цехов, так как трудно рассчитывать на то, чтобы сами участники торговых сделок назначали «справедливые цены» на то, что они желают продать или купить.

Еще и другое условие, обязательное для того, кто занимается торговлей, и при этом Фома Аквинский имеет в виду уже не столько ремесленников, продающих свои изделия, и крестьян, сбывающих в город продукты сельского хозяйства, а настоящих купцов, посредников между производителем и потребителем. Вот это условие: купец не должен видеть в торговле лишь средство к наживе; она должна лишь обеспечивать ему все необходимое для жизни; стремление к барышу может быть оправдано лишь в том случае, если при этом имеется в виду какая-нибудь заслуживающая уважения цель. «Заниматься торговлей для приобретения необходимых жизненных средств, — говорит Фома Аквинский, — всем можно (*omnibus licet*); но заниматься торговлей из-за барыша (*propter lucrum*), если только он не предназначается для какой-либо благородной цели (*ad aliquem honestum finem*), само по себе занятие позорное (*est turpe*)». В другом месте он выражает ту же мысль более пространно: «Ничто не мешает предназначать прибыль для какой-нибудь необходимой цели (*ad aliquem finem necessarium*) или даже благородной (*vel etiam honestum*), и, таким образом, торговля станет дозволенной (*et sic negotiatio licita redditur*). Так бывает, когда кто-нибудь предназначает умеренную прибыль (*lucrum moderatum*), которую добывает, занимаясь торговлей, на содержание своего дома или же на помощь находящимся в нужде; или же когда кто-нибудь занимается торговлей для пользы общества (*propter publicam utilitatem*), для того, именно, чтобы отечество не оставалось без необ-

ходимых для жизни вещей, и стремится к прибыли не как к самоцели, но как к плате за труд (*et lucrum expetit non quasi finem set quasi stipendium laboris*)».

Если тот, кто произвел данный предмет, под справедливой его ценой должен понимать такую его цену, которая возмещала бы стоимость сырья и давала бы такое вознаграждение за труд, затраченный на его обработку, которое бы давало ему возможность вести образ жизни, соответствующий тому сословию, к которому он принадлежал, то для купца справедливой ценой, которую он может брать за свой товар, была та цена, которая слалась из справедливой цены, уплаченной им производителю его товара, и той прибыли, которая тоже являлась в сущности вознаграждением за затраченный им труд, обеспечивающим ему необходимый по тогдашним понятиям для людей его сословия жизненный комфорт. Нечего и говорить, что спекулятивная торговля, состоящая исключительно в погоне за барышом и прибегающая для этого к искусственному повышению рыночных цен путем всякого рода манипуляций в виде перекупки предметов на пути к рынку или скупки их на рынке и т. п., встречает у Фомы Аквинского самое решительное и безусловное осуждение. Оправдывая торговлю, отвечающую тем требованиям, какие он к ней пред'являет, Фома Аквинский, как мы уже видели, отводит ей тем не менее очень скромное место в совершенном городе с характеризующим его «городское хозяйство» хозяйственным самодовлением (*sufficientia*): «нужно, чтобы совершенный город умеренно пользовался услугами купцов»<sup>1</sup>).

И из этого краткого изложения воззрений Фомы Аквинского на те моральные требования, каким должен подчиняться хозяйственный оборот, с достаточной, как нам кажется, ясностью вырисовываются антикапиталистические тенденции всей этой доктрины. Каким бы видом хозяйственной деятельности ни занимался гражданин совершенного города, деятельность его прежде всего должна быть необходимой для существования и благополучия того общественного целого, к которому он принадлежит, а ему лично должна давать лишь то, что необходимо ему для того, чтобы он мог удовлетворять все свои жизненные потребности в той мере, в какой удовлетворение их признается общественным мнением приличествующим членам того сословия, к которому он принадлежит. Никакому накоплению

---

<sup>1</sup>) У. Дж. Эшли. Экономическая история Англии в связи с экономической теорией. Перев. Н. Муравьева, под ред. Д. М. Петрушевского. 1897.

капитала и никакой капиталистической организации производства или обмена не оставляется здесь никакого места. К тому же и развитию ссудного капитала ставились самые решительные, чтобы не сказать совершенно непреодолимые, препятствия безусловным осуждением и запрещением взимания процентов, как противоречащего божеским законам (ссылаясь на заповедь Христа: «Взаймы давайте, не ожидая ничего») и идее справедливости, которая должна быть руководящим принципом, по учению Фомы Аквинского, в хозяйственном обороте (деньги сами по себе бесплодны, как учил Аристотель, и поэтому несправедливо требовать за пользование ими уплаты плода, каким является рост, процент).

Как близко все эти идеи средневекового мыслителя соприкасаются с хозяйственной практикой средневекового города, доходя иногда до полного совпадения с основными пунктами и тенденциями хозяйственной его политики эпохи господства организованных в цехи ремесленников и созданного ими и для своих надобностей «городского хозяйства». Если здесь ясно отражение хозяйственной действительности средневекового города и ее тенденций на теоретической мысли, занятой морально расценкой явлений хозяйственного оборота в его существе, то не менее ясным представляется и воздействие теоретической мысли на практические задачи, которые ставила себе имевшая совершенно определенный социальный уклон хозяйственная политика средневекового города этой поры и в этико-экономической доктрине богословов и моралистов искавшая для себя теоретической опоры и моральной санкции для своих чисто материальных интересов, точнее говоря — для интересов господствовавшей в городе в данный момент общественной группы, и эту опору и эту санкцию ей тем легче было найти, что эта слагавшаяся столетиями этико-экономическая доктрина, развивавшаяся совершенно независимо от интересов в известный момент городского развития достигшего господства общественного класса, была проникнута идеями, которые оказались так поразительно близкими как раз этому общественному классу, вернее сказать, так поразительно легко приспособляемыми для обоснования и защиты его чисто материальных, хозяйственных интересов. Простая ли это историческая случайность, или мы имеем тут дело с явлением более сложного порядка и более глубокого значения? Это последнее предположение нам представляется более правдоподобным.

И идея справедливости в роли основного принципа экономической этики, с которым должны сообразоваться все хозяйственные действия человека в области хозяйственного оборота, и вытекающая из нее идея «справедливой цены», и отрицательное отношение к торговле, поскольку она преследует цели обогащения тех, кто ею занимается, а не является лишь общественно необходимой функцией, и безусловное осуждение и запрещение взимания процентов, — все эти основные пункты, развитые в этико-экономической доктрине Фомы Аквинского, не представляют собою его собственных мыслей, самостоятельно добытых в результате собственного размышления над явлениями хозяйственной жизни, его окружавшей. Можно подумать, что они целиком взяты им у Аристотеля из его «Этики» и «Политики», которые он тщательно изучал и комментировал. Фома Аквинский иногда просто излагает соображения Аристотеля по тому или иному вопросу (например, по вопросу об обмене), называя при этом Аристотеля и приводя иногда его собственные слова.

Но нельзя сказать, что идеи эти он впервые узнал от Аристотеля. Уже с первых веков христианства складывались воззрения на хозяйственную деятельность человека, вводившие ее в очень узкие рамки добывания средств, лишь необходимых для существования, и резко осуждавшие все виды стяжания в интересах обогащения, как греховные и несовместимые с высшими духовными интересами человека, и среди этих воззрений идея «справедливой цены», подозрительное, а иногда и совершенно отрицательное отношение к торговле и безусловное осуждение ссуды под проценты уже получили вполне определенную формулировку и приобрели то значение, какое они имели и в дальнейшем. Возможно, что воззрения эти отразили на себе и взгляды древних мыслителей. Во всяком случае между ними очень много общего, что еще более становится ясным из того, что пристальное изучение *Этики* и особенно *Политики* Аристотеля дало возможность Фоме Аквинскому сообщить этим воззрениям лишь более отчетливую форму и тем сделать их еще более убедительными.

Отцы христианской церкви и великие представители языческой мысли оказались солидарными в своих основных взглядах на хозяйственную деятельность человека, на те принципы, которыми он должен руководствоваться в ней. И Аристотель, и учитель его

Платон в равной мере были воодушевлены стремлением внести в деловые, хозяйственные отношения людей высшие нравственные начала, чтобы облагородить их, очистить от господствующего в них эгоизма и своекорыстия. Они требовали, чтобы хозяйственная деятельность не ставила себе других целей, кроме удовлетворения разумных потребностей человека, и чтобы, вступая друг с другом в меновые отношения, люди заботились не только о своих собственных интересах, но и об интересах тех, с кем они в эти отношения вступали, руководствуясь честным стремлением к справедливому уравниванию притязаний обеих сторон.

Аристотель <sup>1)</sup> строго разграничивает два вида хозяйственной деятельности: экономику, которая имеет в виду приобретение средств, необходимых для существования семьи и государства, и хрематистику, задачей которой является обогащение, наживание денег; если экономика заслуживает, по его мнению, похвалы, то хрематистика, которая обыкновенно является в форме торговли, по самой природе своей не знающей пределов в своей погоне за барышом, в своем стремлении к обогащению, и в форме ростовщичества, ссуды денег под проценты, «по справедливости вызывает порицание», как вид приобретательской деятельности, противоречащий природе: ведь здесь сами деньги становятся целью приобретения, тогда как они существуют лишь для облегчения обмена, имеющего в виду исключительно приобретение благ, необходимых для удовлетворения разумных потребностей. Аристотель и внешнюю торговлю допускает лишь при условии, что она будет лишь снабжать государство необходимыми продуктами, которых оно само не производит, а излишки его собственных продуктов будет вывозить за границу, не ставя себе при этом целей наживы.

Столь же отрицательно относится к деньгам, торговле, а также и всяким другим видам хозяйственной деятельности, поскольку они ставят своей главной задачей обогащение, и Платон, который считает самым почтенным, гарантирующим чистоту нравов занятием земледелие; остальные же виды хозяйственной деятельности имеют в его глазах право на существование лишь в той мере, в какой они необходимы для удовлетворения самых настоятельных потребностей. Число людей, занимающихся торговлей, должно быть как можно менее значительным, и они должны придерживаться принципа «справедливой цены», которая должна определяться «истин-

---

<sup>1)</sup> Политика Аристотеля. Перевод С. А. Жебелева. М., 1911.

ной ценностью» предметов, объективно существующей и потому доступной определению; государственная власть при содействии сведущих людей из торгового и промышленного мира и должна устанавливать справедливую цену предметов и следить за тем, чтобы никто не выходил за ее пределы.

Если уж торговля не может не существовать, то она должна быть лишь общественной функцией, своего рода службой, и самое большее, на что может рассчитывать занимающийся торговлей, это умеренная прибыль, которая бы давала ему средства, необходимые для существования его как представителя необходимого для государства торгового класса. Для того, чтобы предотвратить всякую возможность для торговли ставить себе другие цели, стать средством к обогащению, Платон требует исключения благородных металлов из внутреннего обращения и введения местной монеты, а также запрещения покупок и продаж в кредит; ссуда под проценты вызывает у него такое же непримиримо резкое отношение к себе, как и у Аристотеля.

В такие условия поставленная хозяйственная жизнь уже не могла тормозить достижения государством тех целей, осуществление которых оно должно было ставить себе, являясь высшей формой общественного существования. Ведь государство, так учит Аристотель, возникнув для удовлетворения жизненных, самых настоятельных потребностей людей, существует затем для того, чтобы создавать условия для жизни прекрасной, согласной с высшими духовными интересами, — «государство возникает ради жизни, существует же ради прекрасной жизни», εἰς τὴν (Политика, I, 1, 8). На нем лежат заботы о добродетели граждан, о развитии в них лучших сторон их духа, а не только об их материальном благополучии и об охране их личных прав. «Государство не есть общение на одной территории, оно не создается в целях охранения прав личности или ради удобств взаимного обмена. Конечно, все эти условия должны быть налицо для того, чтобы могло существовать государство; но даже и при наличности всех их вместе взятых, государство еще не создается: оно появляется лишь тогда, когда образуется общение между семьями и родами ради благой жизни, в целях совершенного и самодовлеющего существования... Таким образом, целью государства служит благая жизнь, и все упомянутое создается ради этой цели; само же государство представляет собою общение родов и селений ради достижения совершенного самодовлеющего существования, которое, как мы утвер-

ждем, состоит в счастливой и прекрасной жизни, так что и государственное общение — это нужно подчеркнуть — имеет в виду проявление прекрасной деятельности, а не просто только совместное жительство» (Политика, III, 5, 13—14).

Лишь устранив из хозяйственной жизни общества все то, что способствовало развитию в людях корыстолюбия, стремления к безграничному накоплению богатства в ущерб интересам ближнего и всяких других видов эгоизма в его самых противообщественных формах и подавлению лучших сторон их духа, государство, по мысли Платона и Аристотеля, могло осуществлять эту свою основную задачу — быть «государством по истине, а не на словах только». Но все то, что оно устранило, это идеальное государство, как раз и было самым основным в хозяйственном строе современного Платону и Аристотелю реального греческого государства и прежде всего тех самых Афин, которые и были родиной развиваемой ими этико-экономической доктрины.

Афины четвертого века, говоря словами Пельмана<sup>1)</sup>; «представляли собой обширный мировой рынок, где на основе развитого денежного хозяйства расцвели истинно интернациональные торговые отношения, складочное место, куда стекались продукты едва ли не всех известных тогда стран, денежный рынок, где концентрация капитала сделала такие успехи, что значительные торговые капиталы раздавались отсюда в кредит по всем странам восточного бассейна Средиземного моря, вплоть до самых отдаленных заморских местностей». «Богатая промышленная жизнь греческого мира, развившаяся во многих отраслях в крупную капиталистическую индустрию и массовое, почти фабричное производство», постоянно нуждалась в чужом капитале; не удивительно поэтому, что «в промышленных и торговых государствах типа Афин мы находим... такую развитую систему банков и кредитных учреждений, которая внушала к себе полнейшее деловое доверие. Взимание процентов соответственно этому было настолько общепотребительным и распространенным явлением, что давно уже признано было законодательством без всяких ограничений».

Учение Платона и Аристотеля является сплошным протестом против этой капиталистической или, по терминологии Аристотеля, хрематистической культуры, самым решительным и бесповорот-

---

<sup>1)</sup> Р. Пельман. История античного коммунизма и социализма. Перев. под ред. проф. М. И. Ростовцева, стр. 105—107.

ным отрицанием самых основ этого хозяйственного строя, который представлялся им противоестественным, вовсе не вытекающим из разумных потребностей людей, противоречащим их высшим духовным интересам и глубоко безнравственным, который привел их к резкой социальной дифференциации, углубляя до крайних пределов бездну, разделяющую богатых и бедных, расчлняя государство на два враждебных лагеря, на два государства, ведущих друг с другом ожесточенную, проникнутую непримиримой ненавистью и озлоблением, зверски беспощадную войну. Такая квалификация хрематистической культуры была подсказана скорбной летописью социальных конфликтов, которыми так была богата история греческого мира четвертого века, да и более ранних эпох.

Только совершенно очистив хозяйственную жизнь общества от хрематистических тенденций, только подчинив ее нравственным началам, олицетворяемым идеей справедливости этой общественной по преимуществу добродетели (*κλινωικη αγαθη*) только заставив людей довольствоваться малым, тем, что необходимо для удовлетворения разумных потребностей, и для этого вернуться к простоте и чистоте первобытных отношений, философская мысль надеялась восстановить и упрочить социальный мир, а вместе с тем восстановить в его истинном значении и государство, как высшую форму общественного существования людей, обеспечивающую им достижение высших идеальных целей.

Если Платон представляет себе нормальный государственный порядок, делающий возможным прочное обеспечение социального мира и всех его благ, в форме социалистического государства, требующего полного подчинения индивидуума и в хозяйственной сфере государству и его непререкаемым велениям и им раз навсегда установленному общественному порядку, исключаящему частную собственность и свободный хозяйственный оборот, то Аристотель находит возможным не идти так далеко по пути преобразования общественных отношений и оставаться на почве существующего общественного строя, быть ближе к действительности, и в этом отношении его утопия (а ведь мы не можем иначе назвать его построение), в отличие от утопии Платона, воспроизводящего в сильно подчеркнутом виде особенности общественной структуры спартанского, по существу феодального государства, представляет собою стилизацию типичного греческого *πλμια*, которому и в действительности далеко не чужда была идея хозяйственной замкнутости и самодовления (*αυτρκια*), которая за-

нимает такое видное место в размышлениях Аристотеля и является для него основной чертой нормального государства.

«Государство должно иметь возможно больший переизбыток населения в целях самодовлеющего его существования, но этот переизбыток должен оставаться легко обозримым» — читаем мы в 7-й книге *Политики* (4, 7), а в следующем параграфе той же книги, разбирая вопрос о территории государства, Аристотель говорит: «Что касается свойств, каким она должна удовлетворять, то, очевидно, всякий одобрил бы такую территорию, которая гарантирует государству наибольшее самодовление. Этому условию удовлетворяет, конечно, такая территория, в которой произрастают всякого рода продукты, так как самоудовлетворение и заключается в том, чтобы все имелось, чтобы ни в чем не было недостатка» (5, 1). Только то, что на территории государства не может быть произведено и что необходимо для удовлетворения разумных потребностей населения, может быть предметом заграничного ввоза, который, однако, как и вывоз за границу излишков собственных продуктов, никаким образом не должен быть поставлен на коммерческую ногу, быть источником обогащения ни для отдельных лиц, ни для государства, которому не подобает принимать участие в таких корыстолюбивых стремлениях» (5, 5).

Хозяйственное самодовление (*αὐτάρχεια*) государства не есть лишь плод политико-философских размышлений Аристотеля, теоретический постулат его теоретической концепции, но представляет собою самую реальную проблему города-государства античного и, в частности, греческого мира, временами стоявшую перед греческим полисом в качестве проблемы, от разрешения которой зависело самое его существование как самостоятельной политической общины. И не удивительно: ведь хозяйственная независимость полиса являлась необходимым условием его политической независимости и могла быть достигнута в полной мере лишь с помощью хозяйственного самодовления и замкнутости в отношении к внешнему миру. А между тем уже с конца VIII века до нашей эры началось великое хозяйственное движение в эллинском мире, стоявшее в связи с огромным приростом населения, приведшим к более интенсивной эксплуатации родной почвы и к обширной колонизации западного и восточного побережья Средиземного моря. Развивается широкий хозяйственный оборот между всеми частями так широко раскинувшегося греческого мира. Междугородской обмен, прежде ограниченный специальными предметами,

начинает распространяться и на предметы повседневной надобности. Экономическая независимость полиса все более и более исчезает. Дальнейшее развитие хозяйственной жизни в том же капиталистическом направлении еще более подрывало эту хозяйственную замкнутость полиса, угрожая тем самым и его политической независимости.

Для того, чтобы уцелеть и сохранить свою независимость, полису было необходимо избрать один из трех путей: или вступить в договорные отношения с другими полисами, экономически связанными с ним, и таким образом установить между собой и ими политическое равновесие, или вступить с ним в открытую борьбу и в случае удачи подчинить их себе и завладеть их хозяйственными преимуществами, или, наконец, при невозможности идти одним из двух указанных путей, всю свою энергию направить на борьбу с хозяйственным развитием и с помощью насильственных мер, переходящих в самую жестокую экономическую тиранию, поставить себя вне зависимости от междугородского оборота.

Встав на этот третий путь, полис должен был проводить соответствующую этой основной задаче хозяйственную политику, основными пунктами которой являлось выселение чужих, запрещение вывоза хлеба, стеснение хозяйственной свободы отдельного лица, запрещение торговать не-местным жителям, введение местной монеты, насильственное культивирование в крупном масштабе внутри городского округа необходимых в интересах местного потребления отраслей производства, уничтожение или выселение за пределы городской области излишков населения, которое не должно превышать ту его норму, какая находилась в соответствии со средствами его прокормления, доставляемыми местным сельским хозяйством.

Эта картина «городского хозяйства» станет еще выразительнее и полнее, если мы прибавим, что полис и всегда стремился «частичной замкнутостью или насильственным регулированием торговли и хозяйственного оборота вообще направлять хозяйственную жизнь в интересах собственных граждан», что «задача полиса, как кормильца и опекуна своих граждан, состояла в том, чтобы всеми способами оказывать им покровительство и поощрять их в их качестве производителей и потребителей 'предпочтительно перед всеми не-гражданами»; даже в Афинах «мы встречаемся с радикальнейшими способами вмешательства государства, например, в образование цен, которые могли брать продавцы за хлеб, с законами

против скупщиков, со складочными правами, с принуждением продавать только на рынке, с запрещением вывоза важных для государства или для потребления или для производства предметов, с ограничением права покупки домов и земли»<sup>1)</sup>).

Аристотель, как видим, остается на почве «городского хозяйства» со всеми его основными особенностями — замкнутостью и самодовлением и принудительным регулированием хозяйственного оборота; только цели, какие он ставит «городскому хозяйству», не вполне совпадают с теми, какие имеют в виду руководители политической и хозяйственной жизни реального полиса: он, как и они, стремится изъять хозяйственную жизнь полиса из общего широкого хозяйственного оборота, изолировать полис в хозяйственном отношении в интересах его благополучия, чтобы спасти его от грядущих ему опасностей. Но в то время как власти реального полиса видят эти опасности в утрате политической независимости, которая может грозить ему в случае утраты им хозяйственной самостоятельности, вполне возможной и даже, может быть, неизбежной, если он будет вовлечен в водоворот общего широкого потока междугородской и международной хозяйственной жизни, для Аристотеля эти опасности были иного, нравственного порядка, органически связанные, по его представлению, с хозяйственным оборотом вообще и особенно с широким развитием денежного хозяйства, капиталистической промышленности и торговли; для него и строгая регламентация внутренней торговли имела, как мы видели, такое же значение, как и замыкание полиса в отношении к внешнему миру, преследовала те же нравственные задачи, тогда как для городских властей она являлась лишь средством обеспечения чисто материальных интересов потребителей.

Не удивительно, что, комментируя Политику Аристотеля, Фома Аквинский, может быть, незаметно для самого себя, превратил, как мы видели, греческий полис Аристотеля в средневековый город со всеми основными особенностями его «городского хозяйства», в преобразованном, конечно, нравственно очищенном, но от этого не утратившем своих основных очертаний виде. И Аристотель, и Фома Аквинский являются в равной мере идеологами городского хозяйства, подводящими под него моральную базу и тем санкционирующими его в глазах как всех тех, кому были дороги интересы просветленного высшими нравственными нача-

<sup>1)</sup> Kurt Riezler. Ueber Finanzen und Monopole im alten Griechenland. 1909.

лами общежития (вспомним Аристотелево  $\epsilon\upsilon\ \acute{\zeta}\eta\prime\upsilon$ ), но также и всех тех, чьи самые жизненные, материальные, хозяйственные интересы были органически связаны с «городским хозяйством» в его конкретной реальности.

Нам представляется, что здесь именно следует искать объяснения той связи, какая существует между этико-экономической доктриной Фомы Аквинского, воспринятой и дальше разработанной последующими представителями средневековой мысли, богословами и канонистами, и практикой городского хозяйства средних веков с его «справедливой ценой», с его подозрительным отношением к торговле, борьбой со спекуляцией, с его стремлением к замкнутости и с его ожесточенной и упорной борьбой с католическими тенденциями городской промышленности и торговли.

Генезис господствовавшей в средневековой Европе этико-экономической доктрины дает нам ключ к пониманию этой связи. Возникнув на почве города-государства античного мира, в обстановке и ему присущего «городского хозяйства», временами вынужденного напрягать все свои ресурсы в борьбе с напиравшей на полис стихией капиталистического развития, грозившей и его политической независимости и в то же время вносявшей в общество элементы морального разложения, доктрина эта перешла затем в новую Европу, встретив созвучный отклик у христианских моралистов, столь же отрицательно относившихся, хотя и с точки зрения потусторонних интересов, к погоне за материальными благами, и в трудах Фомы Аквинского была воспроизведена во всей своей полноте и была целиком применена им к отношениям, сложившимся в средневековом городе, тем с большей легкостью, что отношения эти во многом были тождественны с теми, на почве которых возникла эта доктрина в древней Греции, и которые также представляли собою «городское хозяйство» со всеми характерными для него тенденциями, хотя и с иной социальной структурой.

Удалось ли и этими идеологическими ресурсами вооруженной системе «городского хозяйства» справиться со своей основной задачей — сохранить хозяйственную независимость средневекового города и обеспечить хозяйственные интересы правящего сословия цеховых мастеров от тех опасностей, которые нес с собой широкий поток общего хозяйственного развития с его капиталистическими тенденциями и связанным с ними отрицанием узких хозяйственных

форм, равно как и хозяйственного партикуляризма, к которому город стремился?

В известной мере хозяйственный партикуляризм был присущ всякому средневековому городу во все периоды его существования, как и древне-греческому полису, можно сказать, по самой природе его, и в этом смысле можно говорить о «городском хозяйстве» во все периоды средневековой истории. Партикуляризм этот был основой, на которой развилось то воинствующее «городское хозяйство», о котором была речь выше, и которое служило той броней, которой средневековый город стремился защитить себя в борьбе за существование, какую ему приходилось вести с другими городами, и оградить себя от враждебной стихии капиталистического развития, напиравшей на него со всех сторон. Как ни суровы были меры, которые принимали городские власти для обеспечения интересов «среднего сословия» (вспомним «Mittelstandpolitik»), и как ни настойчивы они были в их проведении в жизнь, но обуздать, сделать себе послушной могучую стихию естественного хода вещей им не удалось. Как ни боролись цехи против нарождавшейся крупной промышленности, промышленность эта неуклонно прокладывала себе путь, не отрицая формы мелкого ремесла, но заставляя ее служить интересам крупного предпринимателя, превращая ее в свое техническое средство, и те города, которым удалось наперекор стихиям достигнуть самых больших успехов в своей охранительной политике и осуществить в возможной полноте основные принципы своего «городского хозяйства», естественно, оказались позади общего хозяйственного развития и пришли в полный хозяйственный упадок. Как и стены с башнями и бойницами, которыми ограждали себя средневековые города от военной опасности, так и весь арсенал мер, которыми было вооружено их «городское хозяйство», спасал лишь до поры, до времени. Тяжелая артиллерия и неудержимый поток капиталистического развития в одинаковой мере были для них непреодолимы.

---

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО  
МОСКВА—ЛЕНИНГРАД

ИНСТИТУТ К. МАРКСА и Ф. ЭНГЕЛЬСА при ЦИК СССР  
ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ИСТОРИИ ПРОЛЕТАРИАТА И  
ЕГО КЛАССОВОЙ БОРЬБЫ

Под общей ред. Д. РЯЗАНОВА.

ПЕЧАТАЮТСЯ:

**Е. Тарле.** Рабочий класс во Франции и первые времена машинного производства.

Содержание: Введение. Значение темы для истории рабочего класса в Европе. Глава I. — Французская промышленность в 1814—1831 гг. Глава II. Материальное положение рабочего класса. Глава III. Борьба против машин. Глава IV. Рабочее движение в провинции. Глава V. Рабочее движение в Париже. Глава VI. Политическое настроение рабочего класса. Глава VII. Рабочие организации и товарищества. Глава VIII. Рабочий класс во время июльской революции и в первые месяцы после нее. Глава IX. Лионское рабочее восстание 1831 г. и его всемирно-историческое значение.

**Ф. Энгельс.** Положение рабочего класса в Англии.

Содержание: Е. Косминский. Об источниках „Положения рабочего класса в Англии“. — К рабочему классу Великобритании. Предисловие (к американскому изданию). Предисловие ко второму изданию. Введение. I. Промышленный пролетариат. II. Крупные города. III. Конкуренция. IV. Ирландская иммиграция. V. Выводы. VI. Отдельные отрасли труда. VII. Другие отрасли труда. VIII. Рабочее движение. IX. Горнопромышленный пролетариат. X. Земледельческий пролетариат. XI. Отношение буржуазии к пролетариату. — Дополнение к книге „Положение рабочего класса в Англии“. — Дополнение к тексту „Положение рабочего класса в Англии“ из американского издания 1884 г.

**А. Матъез.** Борьба с дороговизной и социальное движение в эпоху террора. Авторизованный перевод с рукописи, с предисловием автора к русскому изданию.

Содержание: Введение. I. Жиронда и дороговизна. II. Бешеные и дороговизна жизни.

ГОТОВЯТСЯ К ПЕЧАТИ

**М. Домманже.** Виктор Консидеран. Очерк из истории фурьеризма.

**Д. Коол.** Вильям Коббет. Из истории рабочего движения Англии в первую четверть XIX в.

**Г. Жаффе.** Рабочее движение в Париже во время французской революции 1789—1791 гг.

**В. Марук.** Июньские дни 1848 г.

**П. Фридолин.** Восстание Чьомпи. Из истории итальянского рабочего движения в XIX в.

**Фридланд.** Ж.-П. Марат, как публицист и революционер.

**С. Красный.** О. Бланки.

**Д. Кончаловский.** Братья Гракхи. Из истории социального движения в древнем Риме.

ЗАКАЗЫ НАПРАВЛЯТЬ В ТОРГОВЫЙ СЕКТОР ГОСИЗДАТА РСФСР

Москва, Ильинка, Богоявленский п., 4, тел. 1-91-49, 5-04-56 и 3-71-37.

Ленинград, „Дом книги“, проспект 25 Октября, 28, телефон 5-34-18

Гор. отделы и отделы и магазины Госиздата РСФСР

улица Карла Маркса, ЦЕНТР, ГОСИЗДАТ „КНИГА—ПОЧТОЙ“

высылаются во всех издательствах немедленно по получении заказа почтовыми посылками или бандеролью наложенным платежом. При высылке вперед всей стоимости заказа (до 1 рубля можно почтовыми марками) пересылка бесплатно. Каталоги высылаются по требованию бесплатно.

СОУНЬ ИМ. В. Г. БЕЛИНСКОГО  
<http://book.ugraic.ru/>

СОУНЬ ИМ. В. Г. БЕЛИНСКОГО  
<http://book.ugraic.ru/>

СОУНЬ ИМ. В. Г. БЕЛИНСКОГО  
<http://book.uigaic.ru/>

СОУНЬ им. В. Г. Беллинского  
<http://book.ugaic.ru/>